

ANNALES INSTITUTI PHILOGIAE SLAVICAE
UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS
DE LUDOVICO KOSSUTH NOMINATAE

SLAVICA

XIII.

ADIUVANTIBUS

J. DOMBROVSZKY, E. NIEDERHAUSER

REDIGUNT

ENDRE IGLÓI, FERENC PAPP



DEBRECEN, 1974

**СОТРУДНИКИ
НАШЕГО ТОМА**

ЛАСЛО ДЕЖЕ

доцент, заведующий кафедрой
общего языкознания
(Венгрия, 4010 Дебрецен)

ЭРЖЕБЕТ КАМАН

доцент при кафедре русской филологии
Университета им. Л. Этвеш
(Венгрия, Будапешт V, ул. Пешти
Барнабаш 1)

НИНА Д.-КИРАЙ

(см. Slavica VIII)

ЛАСЛО ЛИБЕР

ассистент при кафедре русской
литературы
(Венгрия, 4010 Дебрецен)

ПАЛ ЛИЛИ

ассистент при кафедре русского языка
(Венгрия, 4010 Дебрецен)

ПАЛ МИШЛЕИ

(см. Slavica XI)

ИШТВАН МОЛНАР

ассистент при кафедре русской
литературы
(Венгрия, 4010 Дебрецен)

ЗОЛТАН НЕМЕТ

старший преподаватель пединститута
при кафедре русской филологии
(Венгрия, Ниредьхаза)

ЭСТЕР ОЙТОЗИ

(см. Slavica XII)

ЯН ОРЛОВСКИЙ

(см. Slavica XI)

ДЬЁРДЬ СЕГЁ

преподаватель средней школы СРР
Клуж, ул. Республики 46)

Н. ШЛИТСКАЯ-ЯНОШКА

(см. Slavica XII)

ЛАСЛО ЯГУСТИН

(см. Slavica XI)

SLAVICA XIII.

ANNALES INSTITUTI PHILOLOGIAE SLAVICAE
UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS
DE LUDOVICO KOSSUTH NOMINATAE

SLAVICA

XIII.

ADIUVANTIBUS

J. DOMBROVSZKY, E. NIEDERHAUSER

REDIGUNT

ENDRE IGLÓI, FERENC PAPP

DEBRECEN, 1974

Синтаксис сложного предложения урбарильных записей XVIII в.

(Сложноподчиненные предложения)

ЛАСЛО ДЭЖЕ

Важными источниками исторической диалектологии Закарпатья являются урбарильные записи 1770-х годов, составленные в 200 селах Восточного и Среднего Закарпатья (в бывших комитатах Мараморош, Угоча и Берег), они содержат ответы крестьян на вопросы об экономическом положении села, о крепостных повинностях и др. Урбарильные записи хранятся в Государственном Архиве в Будапеште, часть их была издана автором (Памятники деловой письменности Закарпатья [Урбарильные записи] Будапешт 1965) и некоторые А. Петровым (Материалы для истории Угорской Руси. т. V. С-Пб. 1908). Правописание и фонетика урбарильных записей рассмотрены в нашей статье «О языке урбарильных записей 1771—1774 гг.» (Studia Slavica XI, 71—94), а морфология рассматривается в статье «Морфология закарпатских урбарильных записей XVIII в.» (Slavica 10, 83—98). Синтаксису простого предложения посвящена наша статья «Синтаксис простого предложения закарпатских урбарильных записей XVIII в.» (Науковий Збірник Музею Української культури в Свиднику № 4, кн. I, стр. 293—308). Данные современных говоров учтены только при явлениях, релевантных с точки зрения исторического развития, при этом мы пользуемся и нашими данными, собранными из диалектологических текстов.

Сложные предложения с придаточными подлежащего

В препозитивном придаточном предложении в роли союзного слова может выступать местоимение *кто* (*тко*): *tko szóbé Tapsu vubráv takój vúd dvók vólúv 4. f. v. a pisőj 2 f. v. platété muszéty Almamező 3, vud koho sztrizsena upade dvaczata vucza, toj za szir a za vounu 24. Xr. Platiti muszity Zbuna 7, kto sztrizsenu vuczdu daje, toj za szir a za vounu 24. Xr. platity Új Rosztoka 7*, в первом примере с указательным словом *такий*, а во втором с *мой*. Довольно часто наблюдается и *котрый*, которое имеет то же самое значение, и которому в главном предложении может соответствовать указательное слово: *ta pozad*

*holodu kotery uteče tot musity try mariase ... platity Veléte 3; kotri Panstsinu szluzsity, toj kazsdi treti tizsdeny ... vudrobiti muszity, a kto Tapsu daszty, toj vud dvoch volu 4. Fl. ... na rok platity Új Rosztoka 3, vud kotroho joszagu gyisma ne upade, toj za dujnu vutzu ... po 6. ... polozsiti muszity. Pereszitova 7. В последнем примере указательное слово ставится с целью ясного определения функции местоимения *kotрый* и содержания придаточного предложения. Указательное слово однако может опускаться: *Kotri dva Voli maje dvo-ma a kotrėj csotéré csotérma ... orati muszély Felső Verecke 6, tam kotrij sto maje na prodazá iz Dobrim hűdom moze prodati Dubróka 4. Неточным способом указания надо считать употребление частицы *ma* в начале главного предложения: *a kotory neymayet desaty ta cotirima cechamy soktowany wiplacovaty kazdy ul pcoły Kis Tarna 7.***

Придаточные предложения, подчиненные главным предложениям с глаголом страдательного залога, обладают союзами дополнительных придаточных предложений и показывают большое разнообразие в употреблении союзов, мы приводим лишь несколько примеров: *kase sza os давними caszi na szvoju potrebu palenku variti, taj insi napuj dersati szlobudno bulo. Polyana 4, isz beszidi prinoszity sza se ... insij napui szlobodno bilo dersati Uklina 4, toto, sto tam ta y nazad ideme u panstinu sza nam ne prijimaje Tyuska 6, Věrch tóhó ják u Contractyи vúlózsénó abđ kásdój Vólóvđ 6. zólótéh pissój 3. zólóté, a želyár 2. zólótėj pánsztvu plátev, Kanóga 7. В приведенных примерах реальные предложения связываются союзами *ож, же, што*, а ирреальные — союзом *абы*.*

Сложные предложения с придаточными дополнительными

Мы не рассматриваем подробно подчинение посредством союзных слов, только отметим следующий пример: *kotrej ás pohinuty druhé miszto téh muszaty sztacséti, Szvavolyka 7, в котором можно видеть порядок слов живого разговорного языка.*

Союзы дополнительных придаточных предложений могут быть разнообразными. Реальные по содержанию предложения вводятся союзами *аж, ож, што, же*. Союз *аж* встречается сравнительно редко, но можно найти примеры в записях всех трех комитатов — Берег, Мараморош и Угоча: *Szehe Szela pribvatélyi ták hadajuty ás jéch Urbaria u Pansztvá je. Vereticsó 1, (то же предложение встречается и в иных записях конскриптора Мезэ). Указательное слово *так* указывает на содержание, а не на способ действия: *choszen majuty iz toho ás Polyszki vina vozjaty. Felső Verecke 4, Uszi kazsuty, азs orecsni szuty kmetyi Bukovec (Bereg) 9. В приведенных примерах придаточное предложение было постпозитивным, но если оно подчеркивается, может быть и препозитивным: *az y u sey varmegyy by bul szokás dewatinu dawaty, ne znayeme Kriva 7.***

Союз *ож* наблюдается лишь в бережских записях, но там он встречается часто. Придаточные предложения, введенные союзом *ож*, постпозитивны, и в главном предложении опускается указательное слово: *vudtűly ... hosen ne majut inszi lem tokmo oz tam szolyi mohut kupiti. Középső Viznice 4, хотя в главном предложении может стоять указательное слово, как правило, перед*

придаточным предложением: *szelo iz szvojoho Hataru nijaki choszen mose mati lem tulko toto os ovesz . . . szianti mose Szuszkó 4, kazucsi i toto, oz Pansztvu Munkacsuszkomu Hori prinalezaty, Nelipina 4*. Возможно, однако, что подчеркнутое сказуемое вместе с указательным словом ставятся во главе предложения, а состав подлежащего помещается между ними и придаточным предложением: *Szkarzatysha o tüm szoho szela Lyude oz cserez ujidni zviru, jak to cserez Medvegyi Dikiszvini a voczy veliku skodu terpiti muszat Nelipina 4*.

Союз *што* тоже часто встречается в записях всех трех комитатов. Указательное слово отсутствует в следующем примере: *vütti insi choszen ne majut lem sto szobi tam mohut szoli kupiti Klockófalva 4, culy pak sme, sto Panstwo welikomoznoye u tich selach, . . . dewatinu braty soktowane Csarnató 7, szelo . . . insi nijaki choszen ne maje tulko sto ovesz szijati mose Szolocsina 4*, оно может быть и поставлено: *priloseno toto, sto chüd ta prichud nigda sza u panscinu ne primaj(e sza) Medvedóc 6, pro to ne znajeme inaczej kazati lis tak sto za odnim lanom mose po(szija)ti na oba boki 168 vik vusza Ricska 5*, здесь указательное слово *так* указывает на содержание сказанного.

Союз *же*, встречающийся в бережских записях, может объясняться знанием конскриптора западнославянских языков, или тем, что конскриптор научился украинскому языку в таком закарпатском говоре, где *же* было распространено. Нет у нас точных данных об области распространения союза *же*. По текстам книги И. Панькевича можно установить только то, что союз *же* употребляется на западе до бывшего комитата Унг: *ta kazaç ìim, žeby ùderly toho kamín'a Комарувці (Пань. Укр. гов. 475)*. Итак, можно предположить, что западные переселенцы распространили его в Береге, по крайней мере, в его западной части: *Zakily szesze D(om)inia nateperisnyoho . . . Grofa Schömborna od komori ne peresla, tak hadajuty zse pole Urbarii povinoszt kmityszka, Nagy Lucska 2, szkazavsi i toto se pod casz kuszbi i volovij kmityy pichotoju mose odbiti Robotu Uklina 6*.

Абы является обычным союзом ирреальных придаточных предложений: *pansztvo jim ne zakuzuje abi ne vozili Váralja 4*. Кроме него употребителен еще союз *обы*: *ne tyamjat obi siv bu buv dajaki kmity* (т. е. на телеке) *Kuzmipa 8*, и к союзу *ож* может присоединиться элемент *бы*: *à tverdi zakaz je os bi iz insich misztach napüj ne kupiti Selesztó 4*, указательное слово не ставится; встречается пример и с союзом *жебы*: *A ne Contract ne pomnyátájuty zsebe jich peredak ez Pánsztvom ucsénéla, Trosztyanica 2*.

Союз *ож* и, может быть, *аж* происходят из древнерусских относительных местоимений *еже*, *яже*, но *аж* может объясняться и слиянием *а+же*. Эти старые союзы исчезли из русского и украинского языков после того, как старые указательно-относительные местоимения стали непродуктивными. Союзы *аж* и *ож* сохранялись, однако, в закарпатских памятниках XVI—XVIII вв. В русской и украинской языковых областях взамен упомянутых союзов появился союз *што* (*що*), который, опираясь на продуктивную систему местоимений, широко распространился, стал общеупотребительным, вытеснив союзы *оже*, *аже*, которые не были поддержаны системой родственных местоимений. Союз *што* получил распространение и в Закарпатье, но он не мог вытеснить *ож* и *аж*, особенно первый. В Западном Закарпатье последние два союза должны были

«бороться» и с другим соперником, союзом *же* западнославянского происхождения. Союз *же* в потоке западнославянского влияния проникал с запада на восток, чему способствовали постоянное общение и переселение в значительных масштабах. Современное распространение этих союзов не исследовано. Мы приведем примеры из текстов, опубликованных в цитированной книге И. Панькевича, чтобы составить себе картину о территориальном распределении рассматриваемых союзов, примеры на союз *što* (*ščo, šo*): *taĭ hadaĭ, šo Boh spyt, šo Boh upade u more s toĭ palanyc'ĭ*. Рахів (Пань. Укр. гов. 417); *Koly Punt'a uzdrĭĭ, što Doboš pryšoĭ, znaĭ, što za nym*. Рус Кривый (Пань. Укр. гов. 424); *I kaže oden druhomu šepče, ščo ĭe u nas česnoku* Вульхувці (Пань. Укр. гов. 433); *a žurĭat s'a, ščo ĭak'ĭ na nych strachy ĭdut*. Вульхувці (Пань. Укр. гов. 434); *hovar'ĭat s'obĭ, ščo cy budeme choť večŭr spaty*, Вульхувці (Пань. Укр. гов. 434); в последних двух примерах союз предшествует союзному слову или частице *чи*; *u ludy vydĭly, ščo ich caŕĭ hoĭly*. Буштин (Пань. Укр. гов. 440); *a ona kazala, što nyč ne vidĭla taĭ ne čula*, Нижний Быстрый (Пань. Укр. гов. 445); *Uvidĭĭ, ščo ide id n'omu čolovĭk*. Репінний (Пань. Укр. гов. 451); *a ony dumaĭĭut, ščo ona ledvy bude žyty*, Вышні Верецькі (Пань. Укр. гов. 457), *Tak ovŭn ĭak vidĭĭ, ščo ovŭn mežy katun'stvom*, Керецькі (Пань. Укр. гов. 460); *Poč'aly ĭomu kazaty sluhy, što ušytka zĕmĭa ĭoho zas'ĭĭana*. Великий Раковець (Пань. Укр. гов. 461); *kažuť, što oto kury buduť nesuč'ky*. (Пань. Укр. гов. 464); *Kaže pan, što čomu tak'ĭ kôn'ĭ holônnĭ*. Волоськое (Пань. Укр. гов. 464); *Tak kažuť, što raz zĕmĭa s'a tr'ĭasla*. Заріча (Пань. Укр. гов. 465); *Vŭn kazaĭ, što ovŭn zabyĭ u pič'*, Дунковиця (Пань. Укр. гов. 465); *To starĭ lude kazaly tam, što to ledva pamn'atauť*, Чума (Пань. Укр. гов. 468); *ale sĕs' vydyť, što to mu s'a ne ŭdaĭe*, Великі Лучки (Пань. Укр. гов. 471); *A vŭn skazaĭ, što ovŭn musyť* Страбичово (Пань. Укр. гов. 472); *ta kažĭť slovo što dašto vam treba*, Ляхувці (Пань. Укр. гов. 474). На основании приведенных примеров можно установить, что союз *што* распространен от гуцульской территории и от долины реки Русковой во всем Марамороше, употребляется в бывших комитатах Берег, Угоча, даже, судя по последнему примеру, засвидетельствован и в Унге, но там уже редок, так как его вытеснил союз *же* [(см. еще в песне: *Sy v našĭ hôs'tĭ, Ne ĭĭly ne pyly, Šo vy u našĭĭ chyžy Holos upustyly*. Суль (Пань. Укр. гов. 487)].

В отличие от союза *што*, союзы *аж*, *ож* не распространены на такой широкой территории. Пример с употреблением союза *аж*: *A sŭm doťĭ ne znaĭ, až otĕc' v'õĭkunom, lyš potomu znaky znaĭ* Торун (Пань. Укр. гов. 455), но мы нашли лишь один пример с союзом *аж*, он обычно уже вытеснен союзом *што*. Союз *што* однако «не справился» с союзом *ож*, как показывают нижеприведенные примеры из бывш. комитатов Берег и Унг: *Druh'ĭ tatary izoznaly, ož ona tam pohybĭla*, Підполозя (Пань. Укр. гов. 459), *Y vŭn duže s'obĭ podumaĭ, ož velykoĭe to dĭlo*. Великий Раковець (Пань. Укр. гов. 461—462), *A ĭak pak pŭšoĭ domŭ u kazaĭ, ož ĭak ĭich nečystoĭe tŭr'ĭalo*. Имстичево (Пань. Укр. гов. 463), союз *ож* предшествует союзному слову *як*; *Ta tot murnyk kazaĭ, oš sŭm bitangŭm dobr'ĭ žyty na svĭťĭ*, Чинадіево (Пань. Укр. гов. 470). Союз *ож* употребляется и в восточной части бывш. комитата Унг (Чередниченко 52).

Союз *же* иллюстрируется следующими примерами: *ta užeźme čuly, že naša brygada ide nazad na taliĭans'kyĭ front*. Ужок (Пань. Укр. гов. 479); *A tot džavo-*

ronok potomu ĩak uĉuĭ, že ptachy tak dosudyly. Волосянка (Пань. Укр. гов. 480); *Ĭak sa doĉuly, že ĩe takuĭ kamĭn'.* Княгинин (Пань. Укр. гов. 489); *Pšenic'u skacau aby ryp dumau, že toto s'atĭ pokacaly.* Новоселиця (Пань. Укр. гов. 496); *lem otpuř mi, že mař viřaz'a,* Дравці (Пань. Укр. гов. 500). В текстах И. Панькевича союз *же* употребителен во всех ужанских селах, где только мало примеров употребления союза *што* (см. выше).

Чередниченко отмечает, как одну из характерных черт синтаксиса сел Антоновка, Середнее, Кобиляри, Гайдош, Ореховица, Стрипа, Невицкое и Дравцы (на юго-восток от Ужгорода), употребление союза *же*, а также *ож*, редко *што* (Чередниченко 52). В западном Закарпатье, вероятно, были распространены когда-то кроме союза *же* и восточно-славянские союзы (*што, ож*), но они были более или менее вытеснены союзом *же*. Когда это произошло, не можем точно сказать. В сборнике пословиц Ивана Югасевича, невицкого дьяка, мы находим уже в 1809 г. союз *же*, например: *бери добрі до носа же мало знати не ест доста.* (Панькевич III, 52), *У фашианки якій такій фотлякъ думать, же ся ожешить, albo отдасть.* (Панькевич III, 65).

Мы сообщаем несколько данных и о современной распространенности ирреальных союзов по текстам И. Панькевича: *řto ho ne lyřyla, aby iřou na uĉas i dva dny yd Dobořevu,* Рус Кривый (Пань. Укр. гов. 424), *Kaře mizernuĭ, aby tu korova byla,* Новоселиця (Пань. Укр. гов. 436); *Zahnaly nam rušemne z Uřhorodu, abys'me iřly het.* Крива (Пань. Укр. гов. 467). Данные о союзе *абы* зарегистрированы в Марамороше и в Угоче. Кроме того, союз *абы* очень распространен как союз цели, в такой функции можно найти его и в Береге: *A prosuĭ ĭich, oby familia dala mi na sluřby, na parastaři, aby mi skorře duřu spokoily,* Страбичово (Пань. Укр. гов. 472) и тоже в Ужанщине, например: *Taĭ mi daĭ dĭdo ĭedno ĭablyko, aby verh ĭablokom.* Комарувці (Пань. Укр. гов. 477), и кажется, что в такой функции союз *абы* получил более широкое распространение.

Мы нашли пример употребления союза *штобы* только в Марамороше: *tot rĭp prosuĭ s'a ũd humena řĉoby zaĉtra ũn sluřuĭ sluřbu ys svoĭym sluhom,* Теремло (Пань. Укр. гов. 438), в функции союза цели, однако, можно найти и в бывш. комитате Берег: *tam ho posadyĭ, řtoby sydiĭ,* Великі Лучки (Пань. Укр. гов. 471). Вместо *штобы, абы*, как союз дополнительных придаточных предложений наблюдается *обы* уже в Марамороше, но очень употребителен в Береге, в Северной Угоче до Ужанщины, *обы: sy ĉotĭĭ by ty oby's' uzdorovĭĭ.* Горинчово (Пань. Укр. гов. 444), *koly řes' grof upovĭĭ tu řepĕr' oby řoho try řzĕři keb-lĭ(ĭ) zĕmlĭ ĭa z vamy zarobuĭ zaĉtra.* Великий Раковець (Пань. Укр. гов. 461), *ovĭn zabyĭ i piĉ, oby bĭlře ne brala na s'a kořu.* Дунковиця (Пань. Укр. гов. 467), *ovĭn skazaĭ luĉom, oby zn'oho zverhly kantar* Страбичово (Пань. Укр. гов. 472); *ta roskazaĭ, oby kařdyĭ tam pluvaĭ do ĭĭĭ chyři.* Комарувці (Пань. Укр. гов. 477). В бывш. комитате Унг *жебы* распространилось как союз дополнительных придаточных предложений: *ta kazaĭ ĭim, řeby ũderli toho kamĭn'a* Комарувці (Пань. Укр. гов. 475), *ta hvaryt myř řomu, řeby ny zařo ne imyĭ lyř za kantar,* Люта (Пань. Укр. гов. 485), *A ĉ'olovĭk kazaĭ svoim dĭtom, řeby poĉovaly s'a porĭd postĭl.* Пастілки (Пань. Укр. гов. 491), *nakazaĭ kumovi, řeby toty boĉkory tak u por'ĭatku trymaĭ,* Невіцке (Пань. Укр. гов. 499); *a pozvidaĭ sa sonca, ře*

c'om ono do pôludn'a ide do horы a odpôludn'a u dôlú, Валашкувці (Пань. Укр. гов. 510).

Союз со значением «што» связывает и такое дополнительное предложение, которое вводится вопросительно-относительным местоименным наречием в роли союзного слова: *kmetyum panscina lem iz toho sztojalala (sic!) ze koli nasto rozkaza(li) konecsno muszili dokuntsati, kotora szlusba i robota iz maj tverzsoho Pana csaszto cserez Rúk na bulse jak na csotiri miszaci Ne vujsla* Lukova 3, подобные предложения из современных говоров: *Un choŕyŕ znaty, ščo kotryŕ ŕakoho šerc'a cy bude un ŕeho s'a boŕjaty*. Бичкув (Пань. Укр. гов. 429), *I tak imyŕ kazaty, ludem, ščo ščo chočete, toto vam daŕu*, Вульхувці (Пань. Укр. гов. 433).

Сложные предложения с придаточными определительными

А) Подчинение посредством союзных слов

Предложения, связанные союзным словом *што* одинаково могут относиться к предмету или лицу: *rity... ne mageme okrem dvorisca, sto gest pod sellom Veléte* 5, *Zoludnij Lyiszok szvuj lem takij májuty sto acséj szorok szvinyi vuderzati mohuty*. Mászárfalva 4; *okrem yednoho gazdy, sto chodit y zwoly piso chodime Veléte* 6, *Szino sto na nich sza rodity gyila statku dobroje jest Ruszkóc* 4, *Usitku robotu sto potrebujuty kolo gazdovszta muszaty robiti Váralja* 6, *Pushti Teleki u szim szeli sto szuty, nitko ne znaje, vud koho szuty Lisani Zbuna* 8. Приведенные придаточные предложения были постпозитивны или находились внутри предложения и в большинстве случаев следовали за определенным словом, но они могли быть отделены несколькими словами, как в последнем примере. Если определенное слово отделяется определительным придаточным предложением от остальной части главного предложения, то вторая часть главного предложения начинается и с указательного слова: *Szinokoszi sto malo imajuty kruzi totoze mlakovaty* Lukova 4.

Союзное слово *котрый* очень часто встречается. Его употребление может быть разное и зависит от развитости подчинительной конструкции. Определяемое слово может стоять рядом с союзным словом: *U Munkacsúszkich Viniczach kotriji obivatelyi chotyaty i dosztihavuty pinyazi mohuty szobi zarobiti Váralja* 4, *Kotorij maj Lyüpsiy Telekovij Gazda csoterinaczaty Posonszki miri zerna mozse poszjati Mászárfalva* 5, *Kotri Luki majuty (okrem mlaki:) majze, na Rohovu marhu, dobroje szino Rogyat, Mászárfalva* 4. В этих примерах придаточные предложения были препозитивными, только в первом предложении перед придаточным предложением стоял обособленный член предложения. Кроме того, первому предложению можно приписать условный оттенок. Такую кон-

струкцию часто находим в записях на церковных книгах: *который священник будет на tych книгах или дякъ будет отпраовати за tych людей повинен гос бга просити*, Давидово 1695 (Панькевич I, 176), *А который будет священник альбо дяк на них читати, повинень будет просити Гсда Ба за Грица Варадского*, Варадка 1679 (Яворский 205).

В другом типе придаточных предложений с союзом *котрый* определяемое слово наблюдается и в главном, и в придаточном предложениях: (платит) *ták é ná druhi ricsi zá kotri Ricsi pláteté prechodéty na kásdoho Gazdu. . . Posnyákfalva 7, szelo. . . za contractom Panszcsínu ne robilo ale za posztavlenim obicsajom kotri obicsaj posztanoviv sza pered 30 roki Podhering 2, Na knyascsiní szédját é za kotru knyáscsénú platyaty na rük 11 Rf. Felső Verecke 7, i tak za obicsaju Panszcsínu muszity szluzíti kotri obicsaj vüd triczaty roküv pocsavsza Szolyva 2, Szelo. . . gyila kontraktu Panszcsínu ne robilo ale za Posztanovlennim obicsajem, kotri obicsaj pered triczat. . . Roki posztanovlenni jeszt Kis Belebele 2, Iz toho dereva single roblyaty, kotrich singli choszen dobri beruty. Zsdenyova 4.* Последняя конструкция зарегистрирована и в записях на церковных книгах: *Сію книгу купилъ рабъ бжїи Анд. . . Комошняникъ ѱвоимъ братаничомъ ѱоаном ѱвоим сумісникомъ луков исвоими женами за которую книгу дали золотихъ пятнацять. 1749. Брестів (Панькевич III, 20); сію, книгу. . . купивъ рабъ бжїї, марції, нудпалоскїї. . . за которую книгу давъ злотых угорских в і Подполозье 1711 (Саханев 89).*

Следует отметить и такой пример, в котором местоимение *котрый* и существительное выступают в придаточном предложении, а соответствующая часть главного предложения связывается с существительным и с союзным словом придаточного предложения только по смыслу, и данное сложное предложение можно было бы делить на два предложения: *Zémüscséná opjat Pánszkék ovécz na 44. v flor. vukhodéty, kotrá summá ná szelyi leséty, á kásdoho hodu ná kmiczkőj Jószág sza rozmituje. Szkotárszka 7.*

Союзное слово *котрый* может стоять в придаточном предложении, а определяемое слово — в главном предложении. Придаточное предложение может следовать непосредственно за определяемым словом, но между ними могут быть и разные члены предложения, в некоторых примерах при определяемом слове наблюдается и указательное слово: *maje zemly orucsii Darabi 3. U kotrich poszijati mose Mirki Posonszky N^o 6. Uklina 5, Vodi takoi kotrubi, hajovami hori dolu voziti mohli ne majuty Plavia 4, Munkacsüszi vinniczi blizko szuty na Kotrich mohuty biti vina sto rogyaty sza. Kendereske 4, Orucsiji Nivi na dvoch sztranach szuty kotrijí na velikich hrunkach u kaminyu duzse püdlji Bilaszovica 4.*

Относительное предложение можно уточнить, определить указательным словом, например, в следующем предложении, которое имеет довольно неточную структуру, указательное слово *todi* придает условный характер придаточному предложению: *Kasdi Gazda kasdoho roku püd csasz valcsagu kotri bi iz nich bülse zvinyi dersali todi hogy iz sztari hogy iz malich poroszata Deszatinu Pansztvu dati muszity Selesztó 3.*

Союзное слово *külko* помещается в препозитивном придаточном предложении подлежащего, введенном союзным словом *котрый*, а в главном предло-

жении ему соответствует указательное слово: *tülko: Kotri külko volu maje, iz tülko muszity Pansztvu orati za szim dni Új Rosztoka 6*, а в следующем примере *külko* в постпозитивном предложении: *Oranya... tülko volmi csinyáty, külko sza u kotroho vunachodity, Paskóc 6*.

Б) Подчинение посредством союзов

Иногда постпозитивное определительное придаточное предложение вводится союзом: *Májut u szúm chotari kaszalovi jak perse popiszánno, ale dákoli upáde táki tsas oss poviny i travu, i kossennoje isznesze Bubuliska 4*. По содержанию придаточное предложение может быть нереальным: *Vodi takoi sebi hori dolu hajovami vozoti (sic!) mali (sic!) neje Polyana 4, Czi jeszt toi zvicšaj, Zsebi jeden kozsdii kmity szvojomu Panu Orecsnomu, lebo Pansztvu dajakii podatok inssij daval Nyéresfalva B*.

Сложное предложение с придаточными места

Придаточные предложения места довольно редки. Мы представим препозитивное придаточное предложение с союзом *de*: *A de Urbarii albo Contractu neje jaka kmiczka albo zsilyarszka Dacska Kis Melnicna B*.

Сложные предложения с придаточными временными

Урбарияльные записи обладают довольно разнообразным составом союзов одновременности.

Союз *докля* наблюдается в постпозитивном придаточном предложении, и в главном предложении на него указывает словосочетание *tak dluho*: *a koly na orania ideme cetiry, piaty, y sisty gazdy yspraznuty sia tak dluho dokla derzity orania Csarnatő 6, ai druhoje naszinya nigda szja ne urodit, dokla szja ne pohnoit, Závidfalva 4*, данный союз может стоять в препозитивном предложении, а в главном наблюдается указательное слово *домы*: *dokla robota dersity doty sluzime Veléte 3*. Союз *докля* встречается и в современных говорах (Верхратский I, 125).

Союз *докуль* может встречаться в препозитивном предложении, а в главном нет указательного слова: *My kmity P. Thor. Gyorgyia sluzime cerez lito panskou strawu useliaky roboty piso, kotora robota dokuly dersity, y bulsy ne robime Veléte 3, za rozkazom musime služity piso dokul robota derzity. Veléte 3*.

Союз *доку*, или *доки*, может стоять в препозитивном придаточном предложении, а в главном — обобщающее указательное слово *всехда*: *y doku dersity robota wsechda musime wopulnyaty piso Veléte 3*, но его можно найти и в постпозитивном предложении, а в главном находится указательное слово *доми*: *Paszoviscse ugyan doszity je aj lem u jari I lem doti doki lyitni teplí csazsi*

ne hamujuty Selesztó 4. Подобные примеры зарегистрированы из современных говоров, в первом придаточное предложение препозитивно, а во втором — постпозитивно, и в главном предложении стоит указательное слово *dotu*: *Доки буде по дівчати, Они будуть любити* Густ Бронява (Врабель 24); *Та dotu ня дівкы люблять, доки ремінь повный, Густ Бронява* (Врабель 67; ср. еще Верхратский I, 125).

Можно найти и союз *докуд*, который мы встретили и в Няговских Поучения, в главном предложении стоит указательное слово *dotyl*: *dotyl ich ne puszcsajut, dokud druhi ich ne poreminyut*. Nagy Lányfalva 6.

Союз *коли* встречался часто и в старших памятниках, и в урбарияльных записях. Придаточное предложение может стоять и препозитивно: *Koly mayete prodazny riču... mozeme prodawaty* Kriva 4, и попозитивно: *4 hrosi dosztavajete koli vud komoru szuly... vezeme* Alsó Apsa 4, хотя оно может быть и внутри предложения: *panscižni koly rozkazuyet panstwo zwoľny, a koly u piso musime od ponedilka as do soboty cerež lyito dokončuvaty* Kirva 6. Надо отметить еще союз *вудколи*: *kotri usitki obicsaj vud tohdi lem sza pocsaľ, vudkoli Grof Schönborn Dominij biruje*, Kis Almás 4.

Союз *кой* встречается в мараморошских, нижнеапшинских, в бережских записях, хотя не очень часто: *koj edeme na panstyinu taj koj edeme názad, nam kotri ne tuj, aj ende szluzsem ne priimaje sza u panstyinu* Alsó Apsa 6, *ale koj komora birovala lechsa bila Panstina jak teper*. Nagy Lohó 2. Судя по текстам Панькевича, оно довольно обычно и в современных говорах, ниже приведем несколько примеров из текстов Панькевича и Врабеля: придаточное предложение может стоять и препозитивно, и постпозитивно: *kojem išôy dolú, ta tak hejby n'a púdruvalo*. Крива (Пань. Укр.гов. 467); *Кой му было сорок годов, тогды го женила* Густ Бронява (Врабель 7), *Ужени ня, люба мамко, кой ти люди кажутъ*: Густ. Бронява (Врабель 7), *A žyd, coi chôitŭ vesty rabinu, ta orchar-kaly c'ilyŭ vŭz*. Горинчево (Пань. Укр. гов. 444). (Ср. еще Лизанець 90.)

Союз *як* тоже выступает в роли временного союза и может вводить препозитивное предложение: *jak nasztáv Dvŭrnicsiti pán Hodermárszky, dav usitku Dniu popiszati Szerencsefalva* 3, *Jak Familia Groffa Schönbora u szék Dominéák jálá panovati szlobudno bóló kogy páncsénu préjáté chógy na Tapsu sztáté, Drahúsó* 3, союзу *od mogdu* предшествует словосочетание *ud mogo часу*, а за придаточным стоит указательное слово: *ud toho caszu jak pan Hodermarszki Dvŭrnikom nasztav od tohdi tyaža szlužba nasztala* Kendereske 3. В следующем предложении значение союза имеет условный оттенок, придаточное предложение помещается внутри главного: *u zimy pak z wolmy yak dobra doroha ideme na tizden* Csarnató 3.

Среди союзов, вводящих такие придаточные предложения, действие которых предшествует действию главного, надо отметить *коли*, который мы встретили выше в препозитивном предложении: *koli szvinyi uszitki policzat szja, potŭm vŭt uszich hogy iszdohne muszaty platiti kmity tot*, Misztrice 7. Кроме него можно найти *докля*: *ai druhoje naszinya nigda szja ne urodit, dokla szja ne pohnoit, Závidfalva* 4.

Препозитивные придаточные предложения, действие которых следует за действием главного предложения, связываются с главным предложением раз-

ными союзами: *zakily: Zakily szesze Dinia (=Dominia) na teperisnyoho... Grofa Schönborna od komori ne peresla, tak hadajuty zse pole Urbarii povinoszt kmityszka*, Nagy Lucska 2, *dokü: dokü Smolczer Praefectusam ne bol Tápsasi Lem 12nűv szlusele*, Posnyákfalva 6. Союз *покля* может стоять и в таком придаточном предложении, которое препозитивно, и в таком, которое помещено внутри главного предложения; в обоих случаях в главном предложении не хватает указательного слова: *Lis tolko sto promine y deszat hodu ta y buse poklya sza urodi Tyuska 4, kcsemu majse kasdoho hodu vagy u jari vagy u oszenyi poklya jestye ne prisztihne, zmrzne*, Ricska 4 (ср. Верхратський I, 125).

Союз *коли* наблюдается и в такой форме, к которой прибавлена частица *аж*: *tot piso yz gazdy woly maguscimy bez radu odbuvaget, as koly winnity ne zberuty, y ne zakopluty* Kis Tarna 3. Союз *коли* употребляется и без *аж* в той же функции в следующем примере из говоров: *No koly uže pűšly, a tkačű uže ne bylo* Буштин (Пань. Укр. гов. 440).

Сложные предложения с придаточными причинными

Союз *чом*, употребление которого столь характерно для синтаксиса Няговских Поучений, довольно часто встречается в урбарияльных записях. Можно найти союз *чом* и в угочанских, и в бережских записях, и это указывает на то, что он был распространен во всей восточной части Закарпатья. Союз *чом* может стоять в постпозитивном предложении без указательного слова: *aly otawy kosity ne moz u chotariu com sowaniste, y ritkoyu torowu rodyascy kosalowu suty* Csarnató 5, *a zsito, ni psenicza szja nigda ne urodit, csom zemlya hlinovata, i cserlenicza* Misztice 4, и с указательными словами *за то* и *про то*: *vűtti zato nijaki nijaki (sic!) hoszen ne majuty csom gyila palinya najati szuty* Lécfalva 4, *ale pro to vűtti saden hoszen ne majuty csom gyila palenya najati szuty* Pleszkó 4. Значение обоих указательных слов одинаково, как это явствует из их употребления в сходных текстах, даже в одной из записей конскриптор употребляет оба их по ошибке: *ale pro to za to vűtti zadni hoszen ne majuty, csom gyila palenya najati szuty* Plavia 4.

Союз *бо* мы находим в записях всех трех комитатов, в постпозитивном придаточном предложении: *kolo cantractussi ne szluzseme, bo u tum nyicsaha ne znajeme* Alsó Apsa 2, *y zito ne rodyascy bo piscennoja zemlia* Kriva 4, *Jak uže povideno Kmetyszky povinoszti ne pri Contracty bo iz panom nijákij Contract ne mali* Sztánfalva 2.

Данный союз встречается и в форме *ибо*: *ale pro toto vűtti nijaki choszen neberut ibo vinniczi robiti ne privikli* Dubina 4.

Интересно отметить, что в мараморошских верховинских записях союз *бо* не засвидетельствован, а вместо него стоит *кчему*, неизвестный другим памятникам. Такое явление, однако, объясняется индивидуальным словоупотреблением конскриптора.

Примеры союза *кчему* ограничены лишь мараморошскими верховинскими записями, но там этот союз наблюдается часто, он вводит постпозитивное предложение, а в главном может быть указательное слово *прото*: *maj buse po cso-*

tirma vulami oreme, kcsemu zemlya u nasz ritka Iszka 6, hataru... maj plochu majeme, kcsemu po pud poloninu je, ta y zemlya piskkovata Iszka 5, ne znajeme kazati... druhe y proto, kcsemu tuj teleki nej szut odnaki Rikita 5.

Другой союз *чим*, происходящий из вопросительно-относительного местоимения, является сравнительно малоупотребительным. Он встречается в марамошошских, угочанских и бережских записях одинаково и вводит препозитивные и постпозитивные предложения: *a čym dosity zemly ne mayeme prynuzayeme sia na czuzom hotariu siaty Veléte 4, Csim Hutari jim duzse mali, pasztuvnik a Toloka duzse tyiszna Lóza 4, Csim toti szelyani ni Urbarij, ni contracti, ne mali Panszcinu lem tak sluzili, koli na stobulo potribno, Misztice 3, ne znajeme, csem ta szesz szela na taki teleke ne vudmiranaje Alsó Apsa 5.*

Общеупотребительные союзы *аж*, *ож*, *што*, *же* могут выступать и в роли причинного союза без указательного слова, а при более развитом подчинении им соответствуют указательные слова. В записях можно найти примеры всех четырех упомянутых союзов. Союз *аж* встречается сравнительно редко: *Zemlyi orucse ponezse u vuszokom miszte u szkalach szuty ne duzse chūsne buvajuty, azs na nich szami ovesz a hrecska sza rodity, Zsdenyova 4, marha ne pro to... zhibla, stobi bol jiszti ne daval jij ale, as betesna bola Tyuska 7.* Остальные три более обычны. Союз *ож* встречается и в препозитивном предложении без указательного слова: *taj os daleko szuty csaszko sza hnoiti mohuty, Olenovo 4,* и в постпозитивном предложении с указательным словом *за мо*: *Chogy u szim hatari Bukovi Lgisz nahodity sza taj csaszto rodity sza Bukov... zato vüdti nijaki haszen ne beruty csom malo szvinyi dersaty, taj zatoto os za kasdu szv(i)nyu platiti muszaty Dominij 9 graj(...)ri Szidorfalva 4.* Следующее постпозитивное предложение имеет значение причины: *szelo... Panszcsinu... ne robity iz pricsini toi, os na csotiri milyi zemlyi vüd Munkacsova je, Paulova 3,* хотя по форме оно определяет лишь слово *причина*. Союз *ож* встречается и в современных говорах: *I duže s'a žuryt, ož ne hoden von ity ys chaš's'č'i.* Великий Раковець (Пань. Укр. гов. 460).

Союз *што* часто наблюдается в урбарияльных записях. Он может встречаться в препозитивном предложении, а в главном нет указательного слова: *Pocsali praviti nejaki Gazdove Viniczi ale sto nijaki choszen nebrali z nich, polisali. Nagy Lányfalva 4,* но чаще находим такие постпозитивные подчинительные конструкции, на которые в главном предложении указывают местоимения *про мо*: *Szeszi pusztari pro to, sto po odni vimarli, po odni rozisli sza ale ne pro panu, ale pro to sto tisznota na nich prisla pusztarami sztanuli Ricska 8, за мо*: *Mykmityi... za to, sto bizownoho radu ustanowlennia roboty panskoye ne ye, aly kulko triba... musime odbuwaty Kis Tarna 3, Veliku ponoszu majeme jestye i na Bokovszku hromadu za toto, sto Bukovczi nasu hasztyu duse kazat Ricska 9, no за того*: *dvi negyeli jim po za toho, sto daleko chodjat engeduje Hidegpatak 6* (последнее придаточное предложение помещено внутри главного); *через того*: (земли) *cserez tota suty sovánni. Sto ná horách szuty Postyákfalva 4, ледвы того*: *ta dólýív posov ledvõ tóho stó iz brátom szá ne müh tókmété Hukliwa 8.* Союз *umo* (*бы*) может вводить нереальное придаточное предложение, и глагол ставиться в условном наклонении: *marha ne pro to... zhibla, stobi bol jiszti ne daval jij ale, as betesna bola Tyuska 7.*

В угочанских записях употребление союза *же* является такой особенностью, которую следует приписать конскриптору, но в бережских записях можно предположить и то, что еще сохранился в языке крестьян, переселившихся с запада. Союз *же* вводит постпозитивные придаточные предложения, в главном предложении указательное слово может быть опущено: *Kokotta teleke... pusztarom stanul, ze gazda umer* Csarnató 8, но оно ставится: *ale vedlutoho že jim zemlya tvrdoj naturi i kaminna, dvoma vulmi darmo ne mos oráti nigda*. Lukova 4.

В следующем примере союзом *же* связывается причинное придаточное предложение, хотя по форме оно считается определительным: *(telek) ispustosiw sia, y stoy príčiny ze u bolacku gazda umer* Veléte 8, *y tim y nam chliba zahledati ne dayut komorsky, y stoy príčiny, ze yesme yz druhoj varmegyi* Veléte 4.

Союз *як* засвидетельствован и в функции союза причины. Он вводит препозитивное придаточное предложение, а в главном наблюдается указательное слово: *Jak Hamra zelyizma tak daleko je, i za to szesze szelo nijaki hoszen mose mati* Ploszkó 4.

Союз *поневач* словацкого происхождения и в нижеприведенном примере он связывает придаточное предложение, помещенное внутри главного предложения, а указательное слово стоит во второй части главного: *iz hür ponevacs Hori na Dominiu Munkacsüvszku prinalesaty zato iz Horach dismu miszto devjatini dati muszity*. Paulova 7.

Союз *понеже* наблюдается и в записях, и в Печатном Урбаре, его можно найти и в постпозитивном предложении: *szino... na tutsinya marzi ne valosnoe ponezse zemlya ne dobra, i hitvannaje* Závídfalva 4, и в препозитивном, в главном предложении указательное слово *за томо*: *Понеже кметі дармо будуть дерева мати, за томо мусить каждый кміть, . . . , едну сягу своему Пану привести дерева* ПУ 3 XIII.

Сложные предложения с придаточными цели

Следует отметить употребление союзов *обы, абы*: *Massiko Pavel, i Mas-siko Andrej oba 8. mariassy* (т. е. платят) *obi visslo 8. flor V. i pül Nagy Lányfalva 9. ср.* с примерами из современных говоров: *Ta budeš nas vesty na s'u horu vysoku, oby moja famylija vidila jaku ty robôtu ys svojimu voly poklay do šist' hodyn rano*. Великий Раковец (Пань. Укр. гов. 462, и ср. Чередниченко 53); *Ani vinici bliszko ne je, abi mohli dajaki Hrüss zarobi(ti) napotrebu szvoju* Lukova 4.

Сложные предложения с придаточными условными

Сперва мы рассмотрим придаточные предложения, выражающие реальное условие.

Союз *аж* является довольно употребительным: *dajeme... kmin as je* Bukovec (Máramaros) 3, *ovesz i bez hnoju rodit sza ale inse nics, as lis ne pohnojime* Kelecsen 4, *dekotery z nas may male zemly birujet, de kotery ničeho yak zemly tak kosalowj ás ne kupity* Kis Tarna 5.

Союз *коли* наблюдается тоже часто, он распространился и в комитатах Берг и Мараморош. Он может вводить одинаково препозитивные и постпозитивные предложения: *koli ne zimuje, po seszt mariasi platit* Iszka 3, *koli jeden Gazda Deszaty vagy dvaczaty maje todi Deszatinu dati muszity* Lécfalva 3, *zarobiti tuj nicehe ne museme, koli lis na Uhorstinu na ideme na zarobki* Tyuska 4, хотя придаточное предложение помещается и внутри главного: *Pod csasz strongi szoho szela Birü kodi maje Vüczí, tochdi 1. fl. Nyemeczki ta 42 xr. a koli ne maje, tochdi zasz 1. fl. Nyemeczki ta 33 1/2 fl. Dominij platiti muszity.* Nagy Tibava 3. В главном предложении или не было указания на придаточное, или наблюдались указательные слова *mogdu (tochdi), modu (todi)*.

К числу более редких союзов относится *kodi*, которое встретилось и выше: *Pod csasz strongi szoho szela Birü kodi maje Vüczí, tochdi 1 fl. Nyemeczki, ta 42 xr. (platiti muszity)* Nagy Tibava 3, *Püd csasz sztrongi Biru szoho szela kodi maje vüjczy todi muszity dati jeden nyimeczki zoliti.* Plavia 3, и еще дальнейший пример: *kodi bukov sza rodity mnoho todi misi plogyat sza Szolyva 4.*

В Няговских Поучениях встречается союз *если, если*, а в записях засвидетельствовано *ели*, которое возникло из *e*, сохранившееся из *есть* после отпадения *-ть*, и из частицы *ли*: *Kto pak Panstinu chocs(.) szluzsiti, toj jeli volovi dvoma volm(.)... kazsdi Treti tiz(.)deny dokoncsiti je Povinen.* Zsdenyova 3.

В бережских записях очень часто можно встретить союз *кедь* словацкого происхождения: *kegy lem izs szvoji dobroji gyáki dásto ne dászty, szilo ne voszmuty, i ne vuhrozáty.* Kis Falud 7, *kegy pohnojity, kapusztá i inse dosztravi valósnoje urodilo bu sza Mászárfalva 4.* В современных говорах тоже наблюдается *кедь* в бывших комитатах Берг, Угоча, Унг: *K'éd ŷna taka pryide to naj pryide do mene ŷ šatú i ne ŷ šatú, na furmanc'í i ne na furmanc'í.* Комарувци (Пань. Укр. год. 475), *k'éd'sese ne zrobyš, to voly út tá vóz'mu a tebe dam zahubyty.* Великий Раковець (Пань. Укр. гов. 461). В словаре I тома труда И. Верхратского можно найти примеры из Виноградова, Камянского, Обавы, Заречья (Верхратский I, 224).

Большинство союзов, вводящих придаточные предложения нереального условия, совпадает с теми, которые связывают предложения с реальным условием, только к союзу прибавляется элемент *бы*. Союз *ажбы* встречается обычно в мараморошских и бережских записях, и введенные им предложения могут быть препозитивными или постпозитивными: *Szesze szelo pozzad velékéch hűr ta kaminyá maje vűrnici Ubóhi ... ta ás bé horászd nahnojilé e pűdlóje jaróje žsito sza rodélo.* Beregóc 4, *ás bo horaszt pochnojéli é járnoje pűdloje zsito dorobili na dva Teleki Lázárpataka 4, ta e pseniczy be rodele, asz be eszme sziale* Alsó Apsa 4.

Союзы *коли бы, кедь бы* тоже наблюдаются в записях: *Majut Varos Mukacsuv na milyu zemlyi, prodati bi mohli, koli bi poneszli dasto, ale zse nemajut sto nics ne noszjat.* Balázsfalva 4, *Pasi na tůlko malo majuty u hatari, ažs, kolibi szuszidszki szela u szvojich hataroch marhi paszti ne lisili, szeszi kmetyi bi ne hodnj buli marhu derzsati* Új Rosztoka 4, *Pasi gyilja szvojoho sztatku za doszty ne mavuty a kegybi u szuszidszkim chutari sza ne paszli nigda bi ne mohli doszta marhi derzsati.* Bablyuk 4, *Iz Maramorisa... mogy mavuty voziti kegy bi usztihali cserez panscsinu Váralja 4, iuselyaku Jarinu kegy bi horászd pohnojili*

urodilobi Misztice 4, Szoho szela kmetyi kedbi kotri iz nich Vúczy dersal abi jehó Vuczi na 20. Ujsli dujni Tohdi pud casz sztrungi jednu Dujnu vúczú iz I jahnyatom u Dezatinu Dati muszity. Kis Bisztra 3, Iz Maramorisa mohli bi szobi dajaki pinyazi zarobiti kegy bi dosztihali abo szochtovani buli voziti szúly. Klucsarka 4, mohlibi i otavu na nich urobiti kegy bi jim chütár Tyiszni ne buv Ruszkóc 4.

Надо отметить еще употребление союза *кобы* в некоторых бережских записях в препозитивных и постпозитивных придаточных предложениях: *kobi mali sto prodati prodali bi, ale nemajuth sto prodati Misztice 4, szijanya bez hnoju bi sza rodilo ko bi zemlu horazd obrobovali, Lóza 4*, ср. с примером из современного говора: *кобы нам, Бiһ потiһ chót krychtu рыбы imyту, ta byla by serenč'a*. Имстичево (Пань. Укр. гов. 463).

Сложные предложения с придаточными следствия

В роли союза следствия выступают общие объяснительные союзы, которые обслуживают несколько видов предложений. К ним относится *аж*, при котором нет указательного слова: *Zemlyi oracsi (sic!) . . . duzse púsztni szuty, azs nics inoho lem szami ovesz a hrecsku rogyaty. Új Rosztoka 4*. Другим союзом является *што*, которому в главном предложении раньше предшествовало указательное слово *так*, потом из них возник сложный союз *так што*, который встречается в записях комитатов Мараморош и Берег и вводит постпозитивное предложение: *u maj szkoro nasz pusztyaju, tak sto caszom lis za szim negyel robime Ricska 3, voda jím skodu csinety ták sto é szino ezkosenoje zábere, a travu zámuléty, Vorotnica 4*, последнее предложение близко к сложным предложениям с придаточными образа действия.

Сложные предложения с придаточными образа действия

Общие объяснительные союзы могут ввести те придаточные предложения, которые содержат сведения об образе, степени действия, выраженного в главном предложении. В урбарияльных записях зарегистрировано употребление следующих союзов: *аж, ож, што, же*, то есть всех тех, которые применялись и для связывания остальных придаточных предложений.

Союз *аж* вводит постпозитивные придаточные предложения степени, в главном предложении ему соответствуют указательные слова, *так* или *натiлко*: *Kotra zvirina tak uzse sza naplodila, azs pered sisztyma roki hodnoho gazdu Csekan Jaczka, Litusz Bunyak Stefanovu gazdinyu u poludnyi nedaleko szela midvigy ubil do szmertyi. Jalova 4, Pasa u hotari duzse ritka gesty na tülko, azs u szuszidszkih hataroch marhu honyiti muszjaty, Verbjas—Petruzovica 4, Pasi na tülko malo majuty u hatari, azs, kolibi szuszidszki szela u szvojich hataroch marhi paszti ne lisili, szeszi kmetyi bi ne hodnj buli marhi derzsati, Új Rosztoka 4.*

Союз *ож* наблюдается в бережских записях, он может служить для связывания таких придаточных предложений, в которых говорится о способе дейст-

вия, и тогда в главном предложении выступает указательное слово *так*: *Zvicsainu Panscsinu tak Udkupiti privikli oss kmity volovi iz 4. vulmi 8 zolotich vonasuv. . . dati muszitty*, Kis Bisztra 3. Если выражается степень действия, в главном предложении имеется указательное слово *натулко*: *a teper tota Dacska na tulko zochablana je os kasdoho roku ne proszitysza*, Kis Tibava 3, а если определяется степень качества, выраженного прилагательным, прилагательному предшествует указательное местоимение *такий*, согласованное с существительным: *zemli orucsi kameniszti maloje taj duse sovanni, taj taki sovanni os taj dobri ovesz sza nerodity Nagy Bisztra 4*.

В следующем примере союз *што* стоит в придаточном предложении образа действия: *котору у voly maget ta wolmy panciznu odbuwayet tak aly sto koly na wisznu persoge wudeme as do zniw bez prestannia woly na pancizny zustawayut Kis Tarna 3*. Нет указательного слова в первом из примеров из современных говоров: *i vún s'a vybray, púšôy u chašču, što u žoni ne kazaу нуč*. Новоселица (Пань. Укр. гов. 435), а во втором встречается *так*: *Potomu žyla tak, što uže ne chodyla po s'vitu*. Заріча (Пань. Укр. гов. 465).

Союз *же* связывает следующее придаточное предложение, которое показывает степень прилагательного *мокрый*, стоящего в главном предложении, а указательным словом является *так*: *Zemlyi orucsi. . . tak mokri se pro mokrotu nincs sza nerodity*, Szolocsina 4 (ср. *Zemli. . . taki sovanni os dobri ovesz sza nerodity*, Nagy Bisztra 4).

Если при определении образа действия главного предложения выражается и нереальный момент (в данном случае приказание), в придаточном предложении применяется союз *абы*: *Pánsz(tv)a tákém dála szpószábom, abe pánstsénu ták odroblyáv. . . ják druhi kmetyi*, Vorotnica 2.

В записях часто наблюдается *як*, первоначальный союз придаточных предложений образа действия: *Jak u tretym Punkti povili tak Panscinu szlužili Lukova 6, Szesze szelo Nagy Lohó, ják dosszu nigda Urbarium ne malo tak i teper ne maje Nagy Lohó 1*. Союз *як* употребляется и тогда, если сравниваемые предметы и др. не равны: *ale koj komora birovala lechsa bila Panstina jak teper, Nagy Lohó 2, zá mensu platnyu ják csucsi preemájuty*, Vorotnica 4.

Сложные предложения с придаточными уступительными

В роли уступительных союзов могут выступать разные фонетические варианты союза *хотя*. В том числе следует отметить форму *хотяй*, возникшую из *хотя* путем прибавления *й* (союз *хотяй* употребляется уже в НП): (сенокосы) *chotyaj Dobri Dvarasz szakosziti nemohuty Csabina 4*. Более краткая форма *ходь* встречается чаще: *Kusznicz cserez velikoje kaminya malo szuty, Hogyi vüd poveni szlobudni, ale dva raz koszitysza nemohuty Colánfalva 4, Chogy u szim hatari Bukovi Lgisz nahodity sza toj caszto rodity sza Bukov Ponevacs zato vüdti nijaki hoszen na beruty csom malo szvinyi dersaty, taj zatoto os za kasdu szv(i)nyu platiti muszaty Dominij 9 graj(. . .)ri Szidorfalva 4*.

Следует отметить еще союз *хибали* (*хыбали*), который имеет значение «если только. . . не»: *Nijakej Urbarii ne majut, chibály bi u manasztiri bula, kolije*

Lauka 1, *Szesze szela Troszczánécza nejaku Urbáriu ne emáje pre szobi, é kásuty negdá né emále, chebá besza u Pánsztva nachodéla* Trosztyanica 1.

Словосочетание *pravda utmo* связывает уступительное предложение в мараморошских верховинских записях: *po seszt marhi upriahajeme, pravda sto y csotirma orut* Tyuska 6.

Сокращения

1. Верхратський—І. Верхратський, Знадоби для пізнання угорсько-руських говорів. Львів I, 1899; II, 1901.
2. Врабель—М. Врабель, Угорські народні співанки. Будапешт, 1901.
3. Лизанець—П. М. Лизанець, Українські говірки Затисся Виноградівського району та їх місце серед інших закарпатських говорів. Наук. Зап. (УжДУ), т. XXV.
4. Няговские Поучения. — Данные приводятся по изданию А. Петрова: Памятники церковно-религиозной жизни угоруссов XVI—XVIII вв. С.-Пб., 1914.
5. Панькевич I, III—I. Панькевич, Покрайні записи на підкарпатських церковних книгах. НЗТП VI, 129—196; Покрайні записи на закарпатсько-українських церковних книгах з додатком 4 монастирських грамот. Прага, 1947.
6. Пань. Укр. гов.—I. Панькевич, Українські говори Підкарпатської Русі і сумежних областей. ч. I. Прага 1938.
7. ПУ—Печатний Урбар, по изданию А. Петрова: Первый печатный памятник угорусского наречия. Урбар. С.-Пб. 1908.
8. Саханев—Всев. Саханев, Новый карпаторусский эпиграфический материал. НЗТП IX, 68—100.
9. Чередниченко—І. Г. Чередниченко, Деякі особливості говірок Ужгородської округи Закарпатської області, Діалектологічний бюлетень, вип. 2., К. 1950.
10. Яворський—Ю. А. Яворський, Исторические, личные, вкладные и другие записи в карпаторусских рукописных и печатных книгах XVI—XIX веков. НЗТП VII—VIII, 189—216.

**Редуцированные гласные и дифтонги в ньиредьхазском
(тирпацко-словацком) диалекте****3. НЕМЕТ**

После поселения словаками в 18 веке на Венгерской низменности распространяется т. н. «алфёльдский диалект среднесловацкого типа». Он имеет четыре подгруппы: чабайский, сарвашский, чанадский и ньиредьхазский¹. К последнему относятся хуторы (салаши) около Ньиредьхазы, деревни Надьчеркес и Калманхазы, частично город Ньиредьхазы и территория около деревни Ньиртелек. Поселение народов славянского происхождения сыграло известную роль в существовании сегодняшнего центра Сабольч-Сатмарского комитата. Владельцем города Ньиредьхазы в то время являлась семья графа Каройи. Рабочую силу стали вербовать среди словаков в Бекешском комитате на пустынные земли графа около Ньиредьхазы. Первая группа переселенцев появилась осенью 1753 г. В сознании у одного опрошиваемого (информатору 69 лет в 1970 г.) так живёт факт переселения словацких предков: »Károli gróf 'граф' боу ту а дал и задармó зем а њемау, кто . . . robiť na zemi . . . а они то потон prišli na dva raz. Prví, čo prišli, та таšli na Vel'kí Čerkés а druhí tránsport, čo prišli, та таšli на Malí Čerkés . . .«.

Группы словацких переселенцев из Бекешского комитата в 1753—1755 гг. составляют первую волну говорящих на славянском языке в Ньиредьхазе., В 1755—1760 гг. продолжалось переселение словацких семей в имения графа Ференца Каройи. По данным Яна Сирацкого² в это время в Ньиредьхазу переселяется 44 семьи из Зойома, 28 — из Боршода, 25 — из Хонта, 20 — из Гемера и Нюграда, но в это же время переселились некоторые из разных других комитатов (Сепеша, Липто, Хевеша, даже из Пештского и Толны). Позже, хотя реже, но постоянно, до конца первой мировой войны приезжали сюда на работу на земли Каройи и богатых бывших (и первых) переселенцев разные славяне: восточные словаки, поляки, украинцы (русины). Эта волна считается третьей в истории заселения земель графа. На вопрос, почему переселились сюда славяне ещё и в 19 в., другой наш информатор (ему 70 лет в 1971 г.) так ответил: » . . . та . . . tan tvrči bolo žif. Tan sa њerodiu tak kukuric, kromplé 'картофель'

¹ Pavel Ondrus: Stredoslovenské nárečia v Maďarskej ľudovej republike, 5 (SAV, Bratislava, 1956).

² Ján Sirácky: St'ahovanie Slovákov na Dolnú zem v 18. а 19. storočí (SAV, Bratislava, 1966).

jarica, čo... A tuto ľuďi trebalo, prišli sen, bo tu bolo mesto, že mali čo... robiť... Prišli..., šli..., len ňi tak čoportošan 'группами' ale edon stađe, a druhí stađe... aňi listi zo stromou...».

* * *

Изучаемый материал мы собирали в 1970—1972 гг. в пяти населённых пунктах: в городе Ньиредьхазе, в селе Калманхаза и в трёх хуторах (салашах) около Ньиредьхазы. Число лиц, давших данные к теме — восемнадцать. В большинстве случаев их возраст в среднем 70 лет: старшему из них 94 года, младшим — 45—50 лет.

* * *

I. Редуцированные

Некоторые словацкие лингвисты³ парные звуки (o'—e) считают равноценными парам (a—ä) и связывают их с вокализацией звуков (ъ) и (ь):

ä	'e	< ь
a	o	< ъ

Выпадение или преобразование редуцированных гласных коснулось всех славянских языков, но этот процесс произошёл в разных славянских языках не одновременно и дал разные результаты. До существования редуцированных гласных эти языки имели большее родство в своей конструкции, а после их изменения происходит дальнейшая дифференция. Выпадение или преобразование произошли приблизительно в 12-ом веке.

В старославянском периоде редуцированные гласные ещё сохраняли свой индоевропейский характер. Их дальнейшая судьба зависела от того, попали ли они в слабое положение (где стали редуцированными, потеряли возможность быть слогом и наконец совсем исчезли) или остались в сильном положении (где удлинились, потеряли свой редуцированный характер и стали полногласными).

Они изменились по всей территории, населённой славянами, но изменение (ъ > o; ь > e) последовательно произошло только в восточных славянских языках

В западно- и восточнословацком диалектах находим напр. только (ь > 'e; ь > e): den/3en, otéc/ocec, tenkí/cenkí, chrbet, pátek/piatek⁴. Среднесловацкий диалект показывает очень пёструю картину: deň, ofec, tenkí, chrbát/chrbet, duožd'/dážd', rož/raž, lakeť⁵.

К вышеуказанному и ниже приведённым (тирпацко-словацким) словам ньиредьхазского наречия могут служить примерами формы kodi/todi, хотя около Ньиредьхазы чаще можем встретиться со словами kedi/tedi из южно-среднесловацкого. Они являются более типичными в ньиредьхазском словац-

³ R. Krajčovič: Náčrt dejín slovenského jazyka, 51—52 (Bratislava, 1971).

⁴ R. Krajčovič: ук, раб. 50-51.

⁵ Pavel Ondrus: Stredoslovenské nárečia v Maďarskej ľudovej republike, 69 (SAV, Bratislava 1956).

ком диалекте, несмотря на то, что в алфёльдских диалектах формы *kodi/todi* имеют сильную позицию.

По мнению одного из информаторов из двух слов настоящим тирпацко-словацким словом является *kedi*. Из слов *koť/keť* мы нашли пример к слову *keť*. В известной песенке так поётся:

„Kominár, kominár, kodi si sa umívau?”

Fčera večer, sobotu, keť son ňemaŭ rōbotu‘.

Но есть и такой случай, когда в одном и том же предложении использованы обе формы:

„Spievajú, spievajú . . . po maďarski, kedi jak: kedi maďarski, kodi slovenski‘.

Другие употребляли вообще форму *kedi*, но иногда всё-таки найдём в их речи слова *,kodi‘* или *,todi‘*: *po slovenski vraveli ritmuš, pretín toto, kodi po slovenski ešte vraví; kňaz choď po sállášou na házištentistelet ‘богослужение’ na motore a kodi ak príde, pešo po blate; toďi vravíme ,ofec‘, keť sa hñevame; kodi na meno, kodi tak, kodi ak príde; a bjelili mi zme, kodi dvaciaty, kodi tricaty do dvanáctej; slovenski sa shovárime aj maďarski, kodi ak.*

Чередующееся употребление группы *kodi/kedi* или форм *todi/tedi* можно основать на языковом взаимоотношении переселенцев, попавших сюда с территории разных диалектов.

Упомянутые формы *kedi/tedi, keď (keť)* дают значительное богатство примеров: *kedi naši rodičia žili; aj kedi keď buxáme aj kedi keď jesto mulaččág ‘забава’ kedi sa poxodia viac sállášou; keď jesto sneh, ta len tedi sa robíme porjatku; keď ňebol rádió; ale tedi ešte šli xlapi; tak tedi mlatkošou; len tedi son videu cestu, keť sa zblísklo; kedi to sa zvišilo od obeda; aj tedi káždi den na obed len buob aj šodru ‘окоп’ mi doňesli; ta son kedi čo prišlo; ta len tedi sa robíme porjatku; tedi si berj díoča, keť tivo davajú; keď bolo cesta hroblavá; keď ten veľký hasen dohanou tomu vállalatu ‘предприятие’ keď mjačke jesto; keť sviňu zabijú; už ni taká porjatka, keť zem trebalo vozit; a keť mali desať deti; keď zme šli na obračku; keť son ja bou mladí človek; a keť spadlo vrefeno; keť poton bola večera; keť sa xcen žeňit; keť sa xceli vidat; keť zídeme do vároša ‘в город’ keť ideme na buse; a keť vimeňin si jed ‘билет’ keď máme čas; kurence keť sa Iahnú; keť ja som rjasou; keť sa popfli takí šhanci ‘подросток’ ale keť sin mu prekárťazovau ‘спускать в карты’ keť prevratíu sa. Но: todi víšli na sálaš bivať z vároša ‘из города.’*

К вопросу изменения редуцированных гласных ещё несколько пар слов из ньередьхазского диалекта:

otèc

Оно относительно мало употребляется, чаще всего слышим слово *,arócka‘*. Его считают более подходящим напр. в том случае, если сын обращается к отцу. Слово *,ofec‘* грубо звучит, скажем, в таком предложении: *Xibaj sen, ofec!* — По-тирпацко-словацки выражая: *,Todi vravíme ofec, keť sa hñevame. Ňexcu dať peňaze, keď iden a do vároša, ‘в город’ ta ñepov-en, že arócka, ale ofec‘*. Но если жена обращается к своему мужу со словом *ofec*, — это уже выражает ласкательность: *bou ofec, bohato; povie ho; ti, ofec!* А выражает уважение в соответствующей форме слову *,svèkor‘*: *pán ofec* или в сочетании *krsní fec*.

pátek/piatek

В ньередьхазском диалекте нет ни одного из них. При перечислении дней недели или в других случаях употребляют форму ,piatok': zajtra piatok bude.

duožd'/dážd'/daž/dáž

Только последние две формы найдены в тирпацко-словацком: xvila mračnoje, daž padá; dňeska dáž padá; dňeska kušto zme zmokli, bolo daž tu.

chrbát/chrbet

Имеем пример только к слову ,chrbát': tu mi je chrbát, na chrbte má chrbtenu; keď malvo plakalo, ňexcelo čušať, ta siuviazali na chrbát a tak s ňin robili, chođili.

lakeť/loket

Мы нашли формы lakeť/laxeť. Слово loket не считают тирпацким: ja loket ňeman, ale lakeť man; poton mi je tu laxeť.

rož/raž

В ньередьхазском диалекте формы гоž не знают. И венгерское ,gozs' редко пользуются. Оно стало употребительным только в последнее время: aňagož 'спорынья' mi uš teraz ňetermelüjeme 'не выращиваем'.

В венгерском говоре тирпаков употребляется слово ,gabona' (хлеб) со значением 'рожь' В языке, говорящих на ньередьхазском диалекте слово ,žito' значит 'рожь': rietko poschodilo tu žito; tu son predau žito; do komori son položiu žito; mamikini žito ňerodim; takvo žito už ňerodí sa. Форму ,raž' ошибочно понимают, потому что не знают её. В слове чувствуют значение, совпадающее со значением словацкого ,ražeň' (вертел): na ražne pečien slaňinu; na ražni slaňina pečená; na razni slaňinu mož piecť.

d'en/d'en

После исчезновения носовых и вокализации редуцированных в среднесловацком найдём пары (a — ä, o — 'e).

Схема их развития: ь>'e — ä; ь>o — a (д'ьнь>д'еň; в'ьнь>von).

Изменение редуцированных гласных является не одинаковым во всех диалектах, так как и согласные изменились в их соседстве. Напр. вместо подлинного d'en существует в восточно-словацком dzen, а среднесловацком d'eň. Форму, предшествующую корреляции мягких согласных (mäkkostná konsonantická korelácia⁶), возникшей приблизительно в 10 в., в словах d'en, tižd'en сохранил и ньередьхазский (тирпацкий) диалект. Всем известна приветственная форма Dobrí d'en (rán boh daj)! со значением 'Доброе утро!' и 'Добрый день!'. (Формы ,Dobruo ráno!' не знают. По мнению одного информатора: ,Ráno sa poklonín: D'obrí d'en!') Другие примеры: a to poton kisne za dva tižden nuka; o edon tižden pojđeme na dom; svadba malo jest prázni d'en, ešetleg 'может быть' na karáčon 'рождество' prví d'en; a poton ešte nebou volaní na prví d'en, ta bou na druhí d'en povolání; druhí tižden dva találati 'выигрыш' son mau na lotóve; aj tedi káždí d'en. Но: d'eň, dňeska; dobrí d'eň vinšujen; a veľa chođiu stato kórzeti orvoš 'участковый врач'... aj v noci, aj vo dňe; dňeska už ne tag... , dňeska a f'ó a serelem 'главное-это любовь' a potonsakma 'специальность' a peňaze; takí mulaččág 'забава' stoja ak súdni d'eň; pol d'ne jšvo; keľo kravi mau gazda, telo d'ni son bou u ňho.

⁶ R. Krajčovič: ук. раб, 64.

II. Дифтонги

(i a—i e)

Эти звуки фонетически имеют определённую ценность. Напр. в литературном *vidím* звук (i) является полным. Из перехода (i>î>j) звук (i) тесно прилипает к данному, гласному, сливается с ним. В лит. фôrме *v i a z a ť* к звуку (a): *v a z a ť*, в слове *do niesť* к (e): *do ň iesť*. Звуки *ě, ě>ie* (ie) и *ia* (ia) часто встречаются в ньередьхазском диалекте. (В наших примерах вообще пользуемся отметкой *ia*, *ie* но иногда употребляем и переходную форму *î>j*).

Примеры:

а) *дифтонги по месту образования:*

piatok je ňi sviatok; bjélačke budú; štiri veková; pierko s tollsárom 'с ручкой'; pluh, hriádej; dvacciaton druhon rokú; servianka alebo kabaňica; komu dáš mliekô; padajú orieške;

ja aj ti aj Károľ zme bráta; de rodičia bývali; krsná mať ide na krstienie; paletáši boli ako biróvia 'староста'; taň peknie xiže jesto; na zubi umivania pasta; štirija gazdovia bývali; ti, čo ... tirpákou ... tix vracia, čo slovenski vprav-a; vraveli mu sused-a; terás orság 'страна' robí emeleteš 'этажный' stavěň-a; také ňinemeš 'не благородный' slúke, k-e zato sadili sa; zo života mojho veľá britk-e, aľe aj pekn-e pamjatke mán:

б) *дифтонги в глаголах:*

ľuď-a jedját; dobrí ľuď-a veď-a; a cestu nevijeme; vi čo rob-evajte; a poton ta doň-esoJ mňa do bálu; sjali zme konope, konope poton dov-ezli do vodi, a večer zme sa poschodili a bjelili; nič než-adán; tu ňi, ňetlač-a kapustu; ak treba sjať aj politiku zme doň-esli do ňho; tan ovoc-e stromi r-asnú; xlap-a 'van есть' doňesjen dobrú pálenku 'самогонка'; pes hríz-e; ľava vlečije dárku.

(Jo=ö)

Бибиабальное сочетание V(J) + o характеризует юго-среднесловацкий и алфёльдский диалекты. В литературном словацком ему соответствует дифтонг (ö=uo), в котором звук (u) сильный и краткий, звук (o) краткий: *stôl* (stJol), *kôň* (kJoň), *môj* (mJoj). Старый дифтонг *uo* северо-среднесловацкого происхождения и сегодня живёт как в литературном языке, так и в диалектах. Варианты, конечно, существуют. Так в сочетании *uo* звуку *o* предшествует губно-зубный *v* напр., в юго-ноградском и хонтийском диалектах. В ньередьхазском диалекте господствующее сочетание *o>Jo/vo*: *bôb>byob*: *od obeda zvišení bJob*; *káždí deň na obed bJob aj šódru 'окорок' mi doňesli*; *na obed len bJob boJ*; *dôjst>dyošla*: *do pása mi dJošla voda, s kerěj ma edon starí člověk viť-ahnoJ*; *kôň>kvoň/kvoň/koň*: *Lacimu dali medového koňa; tan je moj kvoň; tato kJoň*; *gazda má pekn-e koňe; tláčiť s koňma*;

kôš>košiar/košiar/kvoš: *kvoš na kukuric/kvoš=венг. 'Kas, góré, kukorica-szárító 'кукурузохранилище'; kukuric vinosíme na padláš 'чердак' abo do kvoša; f kuxiňi košiar; ten košiar*;

môj>moj: *moj bičak 'ножик' je ostrí; tan je moj kvoň*;

môct/môže|>móž: *móžen icť; ak sa móžen do vároša 'в город' móžen ukázať; móžeš dať cuží jazikon távirat 'телеграф'; moj život ňemoš len takto krátko spisať*;

nôta > *nyoti/nyóti*: poton sa sami páčiJ tak-e slová a tak-e nJoti; a keď poton hrajú nJóti a oni spievali; aňi ňi smútnie nJóti son hraJ;
nôž > *nožik/noš/nože*: poton doňes-eme tak-e nože, čo kapustú ďaluju ‘шинковать’;

stôl > *stolec/stolík/styol/styó/stoŷčok*: deťeví stolec; deťičke kolo stola sedeli;
pol/pól > *pyol/pol/pól/poŷ*: za poJ rok; ot polu roka; pJol žinka peť keblóva; edon polliter barack ‘абрикосовка’; piJ son pol deci barackpálinku ‘абрикосовка’; vipiJ sa aj póldeci barackové pálinki ‘абрикосовка’; poton polu roku na Josefa pontošan ‘точно’ som prišoJ do N’iredxázu; ten boJ o poJ edonáctej;
skôr > *skŷor*: treba nohámi skJor pohínať;
tôňa > *tyoňa*: a ak sa bližila, tak fše vecá bola tJoňa;
vôl > *voŷ/voli*: ten voJ; fie voli.

Мы нашли составную часть V+o и в других положениях (особенно в окончании прилагательных): planvo diefa no: planí pes); de malvo plakalo; uš poton ňeplakalo tak malvo; dostaňen ja studenvo jest dačo; nag mňi bi doňesoJ pečenvo meso; takvo žito už ňerodí sa; vlčvo jablko; vajce je b-elvo; červenvo jablko je dobrvo; a xleba je dobrvo; akvo je diák-dóJča ‘ученица’; jesto červenvo, b-elvo, žltvo, tarkavo ‘пестрый’ aj svetlvo p-ervo; frišnovvo xlebika; slatkvvo cestvo; veľmvo slanvo; daruje peknvo staveň-a; a to mi je pametnvo; kedi takvo vraví; tato veľkvo bolo; ml-ekvo je dobrvo, teplvo, studenvo; akvo t-e p-erkvo; peknvo bolo, keď dvanác deťičke kolo stola sedeli; mezi šeckin to je najkrajšvo; každJo v-e len vraveť.

A Possible Relation between Old Germanic and Old Russian Folkloric Verse Metres

GYÖRGY SZEGŐ

1. The Germanic Material Considered

When defining the boundaries of Old Germanic Poetry, Andreas Heusler writes: "If we ask the question what poetic works are 'Old Germanic', we cannot answer it on the basis of historical data, only by means of the qualities of the works themselves. Only works with non-ecclesiastical contents and created by laymen can be regarded in the full sense of the word as Old Germanic; works, which do not imitate any Roman genre, do not take anything from books and are not destined to be transmitted by books. Alliteration, as a characteristic of their form, can be added. It is much more than just an external feature: it is connected with certain rhythms and with certain stylistic means of the language."¹

If we accept this delimitation, we must exclude from Old Germanic (in short: OG) poetry Caedmon's hymn, the Genesis, the Heliand: thousands and thousands of verses. Heusler himself seems to feel that this delimitation is too strict and adds certain reserves to make it looser. It is clear that he is mainly interested in their contents. Our chief concern, however, is the comparison of metric systems and thus our delimitation cannot be quite the same as Heusler's. We must exclude rhyming prose and Latin manuscripts from our investigation, no matter what their contents are. We are interested in staving (translated literally: stave rhyme, i.e. alliterative) poetry. Thus, much of the OG material taken into account by Heusler has to be excluded. On the other hand, staving poetry extends beyond the limits of OG times: e.g. in England (in the North) down to the 15th century, that is, much over the Old English (in short: OE) period. We shall use, however, the term OG poetry, because the bulk of it belongs to the OG period and is staving in character.

2. The Russian Material Considered

The Russian material cannot be delimited by a period of language evolution as the Germanic one. Old Russian (in short: OR) poetic monuments are very scarce. They have come down to us in later copies from copies and

¹ Andreas Heusler: *Die Altgermanische Dichtung*, Akademische Verlagsgesellschaft⁴ Berlin-Neubabelsberg, 1923, p. 6.

have thus suffered a lot of distortions. E.g., the lot of the “Song about Igor’s Campaign”, which is by far the most important of them all, is very characteristic.² The mistakes in copying distorted not only the meaning of it, but also its verse rhythm, and maybe even more. Thus the Igor Song cannot be used directly as a sure source for studying OR metre. (The same applies to other OR monuments.) Even so, however, it, is a valuable aid to confirm data obtained from other sources.

All this raises the legitimate question: if OR monuments are infinitely scanty as compared to OG ones, their versification still under discussion and frequently even their text unclear, what source for studying OR metre may there be at all?

OG monuments are available abundantly indeed. It is great luck that so many of this oral poetry was noted down, otherwise it would have disappeared without leaving any trace. OR poetry was not in such a lucky situation, it remained, however, live down to our days. So present-day Russian folklore is a very rich source. Of course, we must select: there are quite recent strata in Russian folklore which use, the metrical system of literary poetry, in Russian terms the syllabo-tonic system (sillabotoničeskoje stichosloženije). This is the Russian variant of the literary versification system used in many other Indo-European languages, too. It consists in observing the regularity of the number of syllables and imitating the classical quantitative feet by quality. We are not interested in these recent layers.

The most interesting section of Russian folklore consists, from our point of view, of the heroic songs (“bylina”). Their texts often have archaic features, but, of course, they are very far from the OR language of the Igor Song, although the distance is by no means so great as between Old and Modern English. Nevertheless, they have brought down to our days the OR metre, as it will be shown further on. There are abundantly lyrical songs as well which are based on the old metrical system. M. Halansky points out that the bylina metre is identical with the metre of the North Russian mourning songs.³

3. Conceptions Concerning the Germanic Material

We shall try to give a survey of the evolution both in Germanic and Russian metrical conceptions. We shall have to content ourselves very frequently with treating even important works second-handedly, the available bibliographical material being extremely scanty and incomplete.

Rasmus Kristian Rask (1787–1832) dealt with the Germanic metre in two of his books: “The Grammar of the Icelandic Language” (1811) and “The Grammar of the Anglo-Saxon Language” (1817). He already saw the primary part played by stress in it. He distinguished short-verses with three

² Н.К. Гудзий: История древней русской литературы.

Государственное Учебно-Педагогическое Издательство, Москва, 1953, p.112—138.

³ М. Халанский: Южно-славянские сказания о Кралевице Марке в связи с произведениями русского былевого эпоса. Т. III, Варшава, 1895, p. 794M795.

and two primary stresses. The number of unstressed syllables seemed to him not to conform to any rule. He already perceived a close connection between the poetic arts of all the Old Germanic peoples.

Karl Lachmann (1793–1851) tried to explain the OG poetry starting from Otfried von Weissenburg's verse, which has four primary accents. He read the half-verses (short-verses) of the "Hildebrand Song" and most of the half-verses of the "Muspilli" (two Old High German monuments) with four primary stresses. In his opinion, the old metre was frequently shortened in Old English and Old Icelandic to a versification with two primary stresses. In Old High German, Old Saxon and sometimes in Old English as well it was lengthened to one with several primary accents.

Müllenhoff, Heyne and Schubert then applied Lachmann's theory concerning the four primary accents to everything not without forcing matters sometimes.

Jessen transformed Lachmann's ideas into a four-measure-theory. This measure-analysis became dominating. Soon it was found, however, that it did not correspond to the essence of the old poems.

Vetter, Hildebrand and Rieger demanded and established a new way of viewing the alliterative verse, free from any preconceived opinion.

These tendencies were summed up and raised to a higher level in Eduard Sievers's works. He claimed that the alliterative verse followed rigorous laws in its structure, but at the same time it was extraordinarily free and mobile, and in Sievers's opinion it was at any rate recited and not sung. It was measureless and had a recitative-like rhythmical movement. All the four scholars reject the older trend, and incline to the opinion that the alliterative verse has possibly no metre at all and has developed directly from the syntactical units of rhythmical prose. Sievers made thoroughgoing investigations later and threw light upon the structure of the alliterative verse and went as far as to investigate its minute details.

Franz Saran⁴ classifies the types of versification according to their distance from the supposed primitive orchestral rhythm ("orchestrischer Urrhythmus"). In his opinion, metres which are near to the primitive orchestral rhythm are simpler, more transparent, it is easier to find their common pattern. As examples he quotes Homer, Otfried, Chanson de geste. Metres which are near to the accent (Saran means language stress here) can be brought into patterns with much more difficulty. Here he gives as examples the Russian bylina verse, the alliterative verse, the early Middle High German rhyming verse. We shall return to this theory further on, when dealing with similar Russian views. We think, however, that a remark would be in place at this point. Otfried's verse came after the alliterative (staving) one and is connected with it, as Saran himself pointed out when referring to Lachmann. How can a later stage of development be nearer to the original primitive state?⁵

⁴ Franz Saran: *Deutsche Verslehre*, C. H. Beck, München, 1907.

⁵ Franz Saran: *l. c.*, p. 194.

In Saran's opinion speech metre ("der Sprechmetrische Rhythmus") *does not have its origin in the language* ("liegt nicht in der Sprache". My italics — G. Sz.). He emphasizes in his accent theory that an ethos (Saran uses the term in the meaning "a subjective emotional state colouring speech") as such very rarely shows inclination to simple rhythmicity and that prose can spontaneously result only in prose rhythm and not in a verse-like one. Metre comes into being only by the compromise of accent with orchestral rhythm. Thus, Saran admits some role of the language in creating verse metre (because he speaks about a "compromise" but in his opinion the decisive part is played by music).

Andreas Heusler emphasizes, too, that the characteristic trait of OG verse is the stave rhyme. It is no ornament hanged on loosely as the endrhyme. It really bears and supports the rhythmical vault. It can be implemented only by stressed root syllables and it is not allowed to omit the syllables which bear the sentence stress: the staving syllables must vault to height as peaks. This is the first task of the Germanic stave rhyme. Thus it makes greater the difference between strong and weak syllables, and emphasizes the meaningful syllables: these have been the strong ones since the Proto-Germanic stress shift. The Germanic stave rhyme has an emphatic effect, not a melodic one, as the endrhyme.

The dynamic accent on the first syllable is a prerequisite of the stave rhyme, but it did not necessarily have to be followed by the stave rhyme immediately. The earliest evidence of any stave rhyme is the triple denomination of peoples Ingvaeones — Istvaeones — Erminones with Pliny (all the vowels stave with one another). Poetry was not likely to have created these names but it was likely to have selected them and brought them together. It is almost excluded that they stave incidentally. Soon thereafter appeared genealogical trees of princes and nobles, whose names repeated the same initial sound. (E.g. Heribrant — Hiltibrant — Hadubrant). It is not likely that the stave rhyme came into being through names or outside the verse.

Thus, the first times of the Roman empire must be considered the latest limit of formation of the stave rhyme.

The use of the stave rhyme is principally different with the Italic peoples, the late Latins and the Irish. Arbitrary accumulation of it is not the aim of OG poetry. There are very simple rules of position, arising from rhythmical structure.

The single verse or short-verse has two peaks (i.e. two primary stresses). It has as its fundamental structure ("Grundmass") two long measures or measures of four fourths:



Every measure can contain from one to about six syllables. There can also be an anacrusis extending to four or even more syllables.

The total number of syllables varies between very wide limits. The filling up with language material shows a manifold and free change from verse to

verse. This freedom is controlled by natural syllable length, and first of all, by exact concordance of the verse peaks with natural syllable strength.

The peculiarity of OG versification lies in the way it throws high the two important syllables. Heusler takes some examples from the Hildebrand Song. The sequences

ibu dir din ellen taoc (if your boldness is of use for you)
do sie to dero hiltiu ritun (as they rode to this duel)

would be given the following rhythm in a rhyming verse:

| ʀ ʀ | ʀ ʀ | ʀ̇ ʀ̇ | ʀ̇ ʀ̇ | and | ʀ | ʀ | ʀ | ʀ | ʀ | ʀ̇ | ʀ̇ | ʀ̇ | ʀ̇ |

In OG verse they have the rhythm:

| ʀ̇ ʀ̇ ʀ̇ ʀ̇ | ʀ̇ ʀ̇ | ʀ̇ ʀ̇ | and | ʀ̇ ʀ̇ ʀ̇ ʀ̇ | ʀ̇ ʀ̇ | ʀ̇ ʀ̇ |

The contrast is significant: there we have the uniform spreading of the contents over the verse; here the strong contrasts, the squeezing of what is unimportant into the anacrusis, the emphatic dwelling on what is meaningful.

The OG verse makes a further step with its "superlengths" ("Überlängen"): a long syllable or a short one when stressed and followed by an unstressed syllable (ʀ̇ ʀ̇) can dominate three or four fourths of the first measure:

miti Deotriche (with Dietrich)

| ʀ̇ ʀ̇ ʀ̇ ʀ̇ | ʀ̇ ʀ̇ |

hwer sīn fater wāri (who was his father)

| ʀ̇ ʀ̇ | ʀ̇ ʀ̇ ʀ̇ ʀ̇ | ʀ̇ ʀ̇ |

dat inan wic furnam (that the fight took him)

| ʀ̇ ʀ̇ ʀ̇ ʀ̇ | ʀ̇ ʀ̇ ʀ̇ | ʀ̇ ʀ̇ |

The later style (Heusler means the rhyming verse, probably Otfrid's) does not undertake such ventures any more; it does not know greater time values than two fourths, it must mark every accent in the interior of the verse by a special syllable. It would give the above verses the rhythms:

| ʀ̇ ʀ̇ | ʀ̇ ʀ̇ | ʀ̇ ʀ̇ | ʀ̇ ʀ̇ | ʀ̇ ʀ̇ | ʀ̇ ʀ̇ | ʀ̇ ʀ̇ | ʀ̇ ʀ̇ |

Where the anacrusis swells, its impetuosity is strengthened:

wili mih dinu spéru—wérpàn (you want to throw your spear into me)
ibu du dar enic réht hábes (if you have some right to it)

But the basic metre permits peaceful movement, as we are used to it in other metres as well:

wánt her dò ab ármè wúntàne báuga
(then he wound off his arms wound rings).

This kind of verse forms a contrast to the iamb and its relatives in two respects. Firstly, it does not implement any rhythmic figuration returning from verse to verse and the intrinsic rhythm of the prose sentence can live its own life. It is true that there is a basic metre extending through the whole of the given work, but it gives so much space that it imposes the minimum of uniformity on the changing sentence rhythms.

Secondly, the stylization of the prose rhythm does not aim at smoothing and giving harmonic suppleness but at increasing contrasts.

The stave rhyme supports the rhythmic line. More precisely: all the first verse measures with important words have necessarily the stave. In the given examples the words *ellen hiltiu*, *Deot-*, *fater*, *wíc*, *speru*, *reht* are unthinkable without staves. The reinforcement by the staves justifies the attributing of importance to these elements of the verse, for it makes it possible to give a single syllable (*wíc*, *reht*) so great time values.

It may be supposed that the stave rhyme has contributed to the creation of this kind of verse. The places of the verse which were conceded to the dominating roots, that is just to the stave-bearing ones, became principal ictuses and got the better of the others, the secondary ictuses. Thus the former metre of four short measures—the Indo-Germanic (i.e. Indo-European—G. Sz.) primitive verse (“Urvers”)—tightened to that of two long measures.

Consequently, the short-verse has two possible places for rhyme staves.

When it stands alone, without a pair, both ictuses must stave. So it is in the formula-like verses which have remained living down to our days:

lieb òder léid (to our joy or to our sorrow)
gegen Fréund und gègen Féind (against friend and foe)

In such cases the stave rhyme is mere peak-builder and ornament.

It fulfils, however, another task as well: to build groups. It is true that long-verses, i.e. verse-pairs with an own special rhythm had existed before the stave rhyme. This is shown by comparison with the Greeks, Italians, Indians. But the identical initial sounds turned out to be a good clamp. So the stave-rhyme fastens together two short-verses, it connects the opening verse (“Anvers”) and the closing verse (“Abvers”) to a long-verse.

In the long-verse the last ictus is habitually excluded from staving; the last but one staves regularly: it is called "main stave"; in the opening verse both the first and the second or both ictuses can stave: they are called "posts" ("Stollen"); this seeming freedom depends, however, on the linguistic force of the ictus syllables.

The long-verse is thus characterized, beginning from the middle, from the third ictus, by an explicitly falling accent; it has a more variable movement in the opening verse.

The new scaldic⁶ metres with more than two ictuses took over the form with two posts and the main stave: aa|ax.

OG poetry does not vary these few stave positions in a measure worth mentioning. In the poems proper the long-verse is the only period dominated by the stave rhyme; it is a mere coincidence, if several consecutive long-verses have the same stave-sound. The stave rhyme is not so apt for verse crossing as the syllabic rhyme abab; aabccb etc. Thus, it has no capacity for richer group-building.⁷

Heusler points out that the metric and syntactic group can sometimes coincide, i.e. there can be a syntactical pause at the end of the long-verse. He uses the terms of "rigorous verse style" ("strenger Zeilenstil"). In the North it developed into the free verse style "freier Zeilenstil", sentences extended over the limits of a long-verse, they could occupy two long-verses, but the syntactic pause still remained at the end of a long-verse. In West Germanic poems sentences began to extend even over the limits of a pair of long-verses. The English authors of written epic ("Buchepik") blew up the free verse style completely: they placed sentence ends with predilection at the end of the opening verse, i.e. in the middle of the long-verse. This is the "arch style" ("Bogenstil").⁸

Heusler's opinion is that a great part of staving poetry which has come down to us is unsingable on account of its inner structure. Another part would be singable but was not sung in reality. He does not admit, however, the conception, that staving versification, such as we know it, was possible only for speech and sung OG poetry had some fundamentally different forms, unknown to us. Thus he contradicts Franz Saran, emphasizing that such a principial separation of singable and unsingable versification has never and nowhere existed.⁹

Let us now make a review of the possible arrangements of the stave in the long-verse, i.e. the types of long-verses. We shall note with *a* staving ictuses, with *x* staveless ictuses and we shall underline the staves.

⁶ Heusler classifies OG poetry using two categories: 1. The Eddic (lower) genres: ritual poems, gnomic poems, charms, mnemotechnic poems, little lyrics. 2. The Scaldic higher genres: praising songs, mythic heroic songs, epos.

⁷ Andreas Heusler: *J. c. i* p. 30—33.

⁸ Andreas Heusler: *J. c. i* p. 33—35.

⁹ Andreas Heusler: *J. c. i* p. 36—39.

zewat 6a ofer wae3holm winde zefysed
 Then went over the waves driven by the wind
 flota famiheals fu 3lezelicost,
 the foam-necked ship most bird-like,
 oð 6aet ymb āntid oðres dō 3ores
 till that after the suitable space of time of the next day

These three lines from “Beowulf” (217–219) show the main and most frequent type: aaax

In line nr. 219 the staves are formed by different vowels: all the vowels may stave with one another, possibly because of a cracking sound produced by a hard starting of vowels. The consonant clusters *sk*, *sp*, *st* are treated as sound units and always stave with themselves, never with one another or *s*.

Hadubrant gimahalta,	Hiltibrantes sunu:
Hadubrant spoke,	Hiltibrant's son:

This line of the Hildebrand Song (Nr. 14.) represents type: axax, having only two staves.

dō lættun se ærist ásckiþ scrītan
 then they attacked first with ash-spears

This verse of the “Hildebrand Song” (Nr. 63.) represents type: xaax.

Some special types:

1. Double staves in the closing verse: aa aa E. g.
 dat Hiltibrant hætti mīn fater: ih héittu Hādubrant
 that my father's name was Hiltibrant: mine is Hadubrant

2. The twofold, “double-paired” stave rhyme, as alternate abab
 E. g.

spénis mih mit dīnēm wórtun, wili mih mit dīnu spéru wérpan
 You allure me with your words and want to throw your spear

into me (Hildebrand Song Nr. 40). The word *wili*, though beginning with the same consonant as *wortun* and *werpan* is no stave because it bears no ictus.

3. The twofold stave rhyme as enclosing (embracing) stave rhyme occurs more rarely: ba ab
 E. g.

lāton it thar haloian hēta lógna
 they let it be burnt in hot blaze

Heliand, Nr. 2573). Verse Nr. 18. of the “Hildebrand Song” and other similar cases do not represent twofold stave rhymes:

forn her ostar giwéit, flóh her Otachres níd
 long ago he went eastwards, he fled from Otachre's hate

This verse is not type a bab but type axax because the words *forn* and *flöh* do not bear ictuses and thus cannot be staves.

An essential characteristic of OG staving verses is the liberty of filling up with syllables all three parts of the verse (before, between and after the ictuses): the number of syllables may vary in a wide range everywhere. Especially great is the number of syllables in Old Saxon poetry. The long-verses of Old Saxon and Old English ecclesiastical poetry, which are rich in syllables, are called swell-verses. Heusler defines verses with many syllables before the first ictus through the intuitive term of "anacrusis-giants". In the "Hildebrand Song" the short-verses contain from 4 to 11 syllables, in the "Heliand" (Old Saxon) from 4 to 19. The unstressed introductory part ("Eingangssenkung") extends from 0 to 6 syllables in the "Hildebrand Song" (Old High German). Examples with 6 syllables: 35 b (the second short-verse):

- Húneo trúhtin; "dat ih dir it nū bi húldī gību".
 the sovereign of the Huns; "I give it to you now for your faith".
 54 b: brētōn mit sīnu billiu, eddo ih imo ti bānin wérdan.
 slay with his sword, or I shall perish by him.
 57. b: ráuba biráhanen, ibu dū dār ēnic réht hábēs".
 to capture the spoil if you have any right to it".

In the Old English Genesis it can extend to 11 syllables and in the Heliand even to 14. So in verse 605 b.:

saga ūs, undar huilicumu he si thesaro cunneo afōdit
 tell us wherè he can be under the saints?

Such accumulations of unstressed syllables are found mostly before the first ictus of the closing short-verse.

Andreas Heusler attributed to the staving verse—as to every verse—measures, i.e. an equal time interval between the ictuses. In his opinion these are long-measures (measures of 4/4 with a principal and a secondary accent). The long-verse has thus the pattern /*ǰxǰx/ǰxǰx/ǰxǰx/ǰxǰx/*, of course, almost never implemented in this form. (The sign x means here a syllable-irrespective of its length.) The extraordinarily wide freedom of filling West Germanic verses makes this pattern problematical from the very beginning. In order to carry out the measure principle, Heusler is compelled to solve complicated arithmetical problems and to treat syllable quantity in a way which seems to be rather forcible. He has to calculate in inner measures with time values from 4/4 (∪) to 1/8 (∩) in the Old High German verse and to 1/16 (∩) in the Old Saxon one, so that he attributes to the longest syllable a time value 16 times greater than to the shortest one. Thus, the natural length of syllables is partly overstretched, partly excessively shortened. Interior pauses are attributed to places where they simply seem to be unjustified and, inversely, pauses suggested by language and style are omitted. As a total effect, the performance of the verse becomes often hurried or dragging in comparison with the contents.

Werner Hoffmann¹⁰ points out further, to what forcible interpretation a researcher can be compelled by carrying through the measure principle in studying OG verse. He takes as an example the copulative compound *sunufatarungo* (Hildebrand Song, 4 a line). Heusler gives two alternatives, either /xL/ǣǣǣ// or /xxll/ǣǣǣ//, where the sign L means the time value of 3/4. Thus, he stretches the short vowel of the open unstressed syllable to 3/4, or supposes, in the second interpretation, a double pause (of 2/4) in the interior of a word. Heusler's supposition concerning the existence of secondary stresses in every measure is also problematical because they would sooth the strongly moved expressive rhythm pointed out by Heusler himself.

The OG verse was generally looked at as containing measure because of Heusler's great authority. Eduard Sievers did not use the supposition of measures in his fundamental work "Old Germanic Metre" (1893) but later he accepted it, too, and his great authority contributed to making the measure theory dominant.

The first to object resolutely was W. H. Vogt, but without any lasting influence.¹¹

Ulrich Pretzel¹² helped the break-through of the idea that the measure principle is inadequate for OG verse. He could show convincingly that the division of the staving verse into measures is anachronistic and does not correspond to its essence: the interval from ictus to ictus is just not equal. But then one must ask oneself and Pretzel does it as well: what makes then the staving verse to be a verse at all? Pretzel answers: "Even disregarding poetical stylization, . . . there are three other arranging factors which are ultimately rhythmical, too: 1. The syntactical binding of two speech-groups, called half-verses, to a long-verse; 2. the rigorous order in the arrangement of the stave rhymes, which themselves are no sound ornament but a rhythm-building phenomenon, as it marks out the main sense-bearing words formally and notionally and establishes the connection between the two halves of the long-verse; 3. the sense of the number two which is live from the beginning in poet and hearer alike and imprints in their mind. . .". Werner Hoffman asks the question whether the hearers could feel the twofoldness of the ictuses as a lasting verse principle, considering the great variations of the intervals between the principal stresses.

He mentions that newly Dietrich Hoffmann and Ewald Jammers¹³ advocated the opinion that OG verse was sung altogether, i.e. performed in a reci-

¹⁰ Werner Hoffmann: *Altdeutsche Metrik*, Stuttgart, 1967. p. 24.

¹¹ Walter Heinrich Vogt: *Altgermanische Durck-"Metrik"*. *Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache u. Literatur* 64, 1940. p. 124—164.

Quoted from Werner Hoffmann, *I. c.*, p. 24—25.

¹² Ulrich Pretzel: *Deutsche Philologie im Aufriss*, I. Aufl., p. 2359 ff. Quoted from Werner Hoffmann, *I. c.*, p. 24—25.

¹³ Dietrich Hoffmann/Ewald Jammers: *Zur Frage des Vortrags der altgermanischen Stabreimdichtung*. *Zeitschrift für deutsches Altertum u. deutsche Literatur*, 94. 1965, p. 185—195. Quoted from Werner Hoffmann, *I. c.*, p. 25.

tative-like manner. In this case the melody may have contributed to the verse character of the measure-free staving long-verse. Anyway, much of the problem of musical performance in OG poetry remains doubtful or needs further research, especially in details.¹⁴

4. The Evolution of the Views Concerning the Russian Material

We shall survey the evolution of these views on the basis of Štokmar's fundamental book.¹⁵ Štokmar classifies them into five categories: 1. Foot theories. 2. Tonical (accent) conceptions. 3. Theories of the folkloric "syntactical foot". 4. Musical-measuredness theories. 5. Theories negating the rhythmical organization of the folkloric verse, Stylistical interpretations.

a) Foot theories

The first to try a rhythmical analysis of Russian folkloric verses was the poet Vasilij Trediakovskij.¹⁶ He introduced first into Russian poetry the so-called syllabo-tonic system (see above, p. 00). He tried to find the well-known classical feet in the folkloric verse too. Sometimes he succeeded, e.g.

Otsta vala/lebed'/bela/ja ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ Kak ot/stada/lebe/dino/va ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘	As the white swan lagged Behind the flock of swans
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

This is a habitual trochaic rhythm (seemingly), as the alternation of trochees with pyrrhics is permitted in the syllabo-tonic system too.

U ko/lodez'a/ u stu/denova ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ Dobroj/ molodec/ sam ko/nja poil ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘	At the ice-cold well A fine brave young lad gave his horse to drink
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

These are trochees combined with dactyls (of course, again only seemingly). He found a lot of other examples, too, when a division of the verse into feet or regular combinations of feet was seemingly possible.^{17 18}

¹⁴ Werner Hoffmann: *Altdeutsche Metrik*, Stuttgart, 1967, p. 20—25.

¹⁵ М. П. Штокмар: *Исследования в области русского народного стихосложения*. Издательство Академии Наук СССР. Москва, 1952.

¹⁶ Василий Тредиаковский: *Новый и краткий способ к сложению Российских стихов*. Санкт-Петербург, 1735. p. 24—25. Quoted from Штокмар: 1. с. p. 18.

¹⁷ Василий Тредиаковский: *Сочинения и переводы как стихами, так и прозою*. Санкт-Петербург, 1752. vol. . I- p. 170—171. Quoted from Штокмар: 1. с. p. 18.

¹⁸ Василий Тредиаковский: *Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащие*. Санкт-Петербург, 1755, p. 470 Quoted from Штокмар, 1, с. p. 19.

Soon, though, it became clear, that only the lesser part of the material can be analysed by this procedure. The bulk of it proved to consist of several kinds of feet, often combined without any regularity. But if we admit that the irregular combination of different feet is enough to make a verse, then any prose period can become a verse.

D. Samsonov¹⁹ tried to solve the difficulty by introducing new feet which were not used in Russian syllabo-tonic verse: he took from classical Greek poetry the so-called first paeon —∪∪, keeping the Greek name, and he invented a foot of five syllables: ∪—∪∪, which he called the double amfibrach on the analogy of the Greek simple amfibrach ∪—∪. Both differ from the habitual feet of the syllabo-tonic system by a higher ratio of unstressed syllables.

Nevertheless, Samsonov stated that there was not a single old song and even less a bylina in which every verse consisted of an equal number of syllables and had the accents in determined places. Considering bylinas he could see a single regularity: **the unchanging number of accents per verse** (my italics—G. Sz.) and the similarity of cadence, and even these are not always observed.

Golochvastov²⁰ borrows Vostokov's theory of the logical accent which will be reviewed further. But he seems to be the first to observe the peculiarity of the folkloric accent structure. Before him folkloric texts were often analysed according to the norms of present-day literary language and colloquial speech. E.g. a verse with present-day accents and the folkloric ones:

A-j to ne ljúbo mne mestéčko pódle tebjá
 A-j to né ljubo mne méstečko podlí tobja
 (I do not like the place on your side)

The first analysis with present-day accent structure gives just prose. The second gives a "double amfibrach" and two second paeans ∪—∪.

Korš²¹ explains some of the differences of folkloric accent structure as compared to present-day speech by the phenomenon of enclisis: after a strong stress the following trochaic word loses its original accent on the first syllable and gets a secondary one on the second syllable, forming a stress group with the preceding strongly accentuated word. E.g. "ród-plémja" gets "ród-plemjà" (kin) "retivó sérce" gets "retivó sercè" etc.

¹⁹ Д. Самсонов: Краткое рассуждение о русском стихосложении «Вестник Европы», М. 1817, part XCIV, № 15—16. p. 250—251. Quoted from Штокмар, 1. с. p. 22.

²⁰ П. Д. Голохвастов: Законы стиха русского народного и нашего литературного «Русский Вестник», М. 1881, декабрь, p. 795—837. Quoted from Штокмар, 1. с. p. 32.

²¹ П. К. Симоны: Повесть о Горе и Злочастии... с приложением чтения «Повести»... акад. Ф. Е. Корша. С. Пб., 1907, p. 51. Quoted from Штокмар: 1. с. p. 32.

b) The Tonic (Accent) Conception

A. Vostokov²² directed the research of the folkloric metre towards radically new methods. He began by defining Russian stress and pointed out that every word has only one stress, no matter how many syllables it has. But he does not confine himself to word stress. He emphasizes the importance of sentence stress. He points out that there are several words which are subordinated to a main stress and calls them taken together prosodic period. He points out that prosodic periods have an upper limit of syllable number. This is a natural limit: there can be no more syllables in a period as breath permits it. This means 7, maximally 8 syllables. If this limit is surpassed, a second, feebler stress appears, and the period becomes a compound one. Vostokov points out that in old Russian songs it is not the feet or the syllables that must be counted, but the prosodic periods. On this basis he divides folk verse into two classes: 1. Lyrical or song verse. 2. Epic or tale verse (i.e. bylina verse). Their main common feature is the equal number of stresses per line. Lyrical verse (mostly) has an equal number of syllables and mostly a determined arrangement of stresses. In the epic verse the number of syllables and arrangement of stresses is variable. If in the lyrical verse the unchanging number of syllables and the determined place of accents were always observed, they could be measured by feet. However, it is not so, and therefore they must be measured with accents or prosodic periods as well.

Further Vostokov divides song verses (lyrical verses), according to their cadences (verse endings) into verses with trochaic, dactylic and tribrachic endings.

As to bylinas, Vostokov considers thirteen syllable verses with three stresses and dactylic cadence the most characteristic. He states, though, that the equal number of thirteen syllables is not observed in every verse. He tries to find rules for syllabic composition and stress arrangement. He finds that the first stress can only be one of the first five syllables. The second is separated from the first by at least one unstressed syllable, but it may be separated from it by 4, 5 or even 6. The third is on the third syllable from the end of the verse, rarely on the 4th (hyperdactylic cadence).

c) Theories of the Folkloric Syntactical Foot

From our point of view the most interesting are Sreznevskij's²³ statements. He says: "Every foot, i.e. every part of the verse marked by a separate stress and containing a certain number of syllables must be a separate part of a thought or a sentence as well; if the foot ends, the word must end, too." (By foot he understands the prosodic period.)

²² А. Востоков: Опыт о русском стихосложении. Изд. Г-е. С Пб., 1817, р. 95—96. Quoted from Штокмар, 1. с. р. 36.

²³ И. Срезневский: Мысли об истории русского языка С Пб. 1850, р. 109. Quoted from Штокмар, 1. с. р. 60.

d) The Musical-Measuredness Theories

Korš²⁴ wants to represent Russian songs in 4/4 measures, similarly to Heusler's procedure concerning OG verse. In the case of Russian folklore it is not too difficult to demonstrate the fallacy of such attempts, as the live melodies themselves prove that Russian folklore abounds in asymmetrical (5/4, 7/4, a.s.o.) measures or—as Štokmar fugitively remarks, without using the well-known folkloristic term *tempo rubato*—it has no measure at all. Štokmar shows here convincingly that West European musical measure patterns (4/4, 3/4) cannot always be applied to Russian folk-songs.²⁵

e) Štokmar's Own Views

Dealing with the correlations between text and melody, Štokmar points out on a very rich example material that both have always been continually migrating, i.e. the same text may be sung with other melodies and, inversely, the same melody accompanies new and new texts. The texts themselves change continually and are very often corrupted. The result is that stresses change their places even more freely. This fact in itself is a proof that it is not the melody that gives verse rhythm to the text as the musical-measuredness theories suppose. Inversely, the melody generally adapts itself to the rhythm of the text.

In the third part of his book Štokmar gives his own explanation of Russian folk verse rhythm, which is, in our opinion, very convincing. He does not negate the constancy of the principal stress number which was pointed out by former scholars as Samsonov (see above, p. 00), Vostokov (see above, p. 00) and others. He is concerned with the problem what factors generate rhythmical structure inside the single verse.

Verse and Language. Stress Ratio of the Popular Language

Štokmar emphasizes (1st Chapter of the 3rd Part) that any verse system, including the folkloric one, depends directly upon the phonetic character of the language in question. Its structural elements must be contained in the language in the form of certain possibilities of regularization, otherwise there would be nothing to systematize.

As it is well-known, in Russian literary (syllabo-tonic) system verse rhythm is based on simple word stress, and Vostokov points out that the basis of folk verse rhythm is group stress. Štokmar asks the question: if the prosodic period is given in the language, it must exist in the "literary" verse as well. Why, then, doesn't it supersede the word stresses in the "literary" verse? Why doesn't it appear there even as a secondary factor of the rhythm? Štokmar answers that the language of the old folk songs on the one hand and the literary and colloquial language on the other do not have the same phonetical

²⁴ Ф. Е. Корш: О русском народном стихосложении. p. 3. Quoted from Штокмар 1. c. p. 82.

²⁵ Штокмар: 1. c. p. 104.

structure. Vostokov and the other preceding scholars did not succeed in explaining the details of Russian folk rhythm because they started from the literary and colloquial language, i.e. from another phonetical basis.

Štokmar makes his idea clear starting from the "literary" (syllabo-tonic) system. He points out that literary verse reforms are always limited and directed by the phonetic system of the given language. Only those rhythmic innovations prove viable which are in a tight correspondence with the language structure or, at least, do not transgress the limits of its possibilities. Moreover, those rhythmical forms which were introduced on the basis of certain theoretical conceptions but do not correspond completely to the phonetic system of the given language are corrected by the latter, and so practice departs from theory. The theory is corrected by the appearance of the so-called licences. Černyševskij, the philosopher and literary critic, directly pointed out the peculiarities of the Russian language as the source of these "licences". Comparing the German syllabotonic versification with the Russian one he said in 1855: "Is the iamb indeed the most natural measure for the Russian language? So people think habitually; but really it is not so. The two-syllabic measures (iamb and trochee) dominate in the German versification, because the German language, generally speaking, fits by itself into the two-syllabic measures, having an equal number of stressed and unstressed syllables. In the Russian language it is not so. Our words generally have more syllables; and we stress the pronouns and particles much more rarely than the Germans. Already for this reason it may be supposed that our speech will not fit so naturally into the iambs and trochees as the Germans'... In order to see what feet fit Russian speech most naturally, we shall try to number the quantity of stresses it contains."²⁶

As a result, Černyševskij found that in Russian speech one stress falls on every third syllable as an average, i.e. the syllable-stress ratio is 3 : 1 and thus, three-syllabic measures are fitted for the Russian language, not two-syllabic ones.

If the two- and three-syllabic measures are considered in a pure form, then the latter are preferred indeed, as it was pointed out by Černyševskij. But in Russian, pure iambs or trochees were never used by anybody. In iambic verses the omission of stresses is inevitable just because of the greater number of syllables in the bulk of Russian words as compared to the German ones, as it was remarked by Černyševskij. Later statistics brought an important correction of Černyševskij's result. The ratio is not 3 : 1 but 2,8 : 1. This figure allows to explain the specific departures from the schemes. As 2,8 syllables fall on every stress, the precise observation of the scheme in the two-syllabic measures would give a considerable overloading with stresses (2 syllables for every stress) and in the three-syllabic measures a little lack of loading (3 syllables to one stress). This explains the frequent omissions of the stresses prescribed by the scheme in the two-syllabic measures (i.e. the use of pyrrhics) and the

²⁶ Н. Г. Чернышевский: Полное собрание соч., СПб., 1906, 285—287.
Штокмар: I. с. р. 234.

appearance of a certain number of stresses which are superfluous from the point of view of the scheme in the three-syllabic measures.

Štokmar applies Černyševskij's sequence of ideas to folk verse. If the greater syllable number of the Russian words as compared to the German ones is the source of a peculiar formation of the Russian verse measures, then why not suppose a priori that the Russian folk verse has a peculiar structure as compared to the "literary" one? Many scholars agree that the folk verse is abundant in unstressed syllables as compared to the "literary" system. Vostokov explains it by means of his "prosodical periods", based on sentence stresses, which are, of course, by far fewer in speech than word stresses. But it is simpler and more natural to suppose that the language itself of the monuments of Russian folk poetry has a greater number of unstressed syllables than the literary language, that its words are longer. But if this supposition is correct, its stress ratio must be different from 2,8 : 1. Štokmar did the necessary statistics and the result confirmed his supposition. Instead of 2,8 syllables for a stress he found 3,8 with the folk song and bylina material.

The causes can be divided into three groups: 1. The use of longer, archaic word forms. 2. Several words form a cluster dominated by a single main stress (which must not necessarily be a sentence stress). Such clusters are formed by enclisis or proclisis or both at the same time. 3. Another means of increasing the number of unstressed syllables is the repetition of form words and other unstressed words. Prepositions are repeated especially frequently.

E.g. Skvozj ego skvozj kudri skvozj žoltyje
(Through his through fair through locks).²⁷

The Old Russian Language as the Primary Source of Folk Speech Dynamism

Štokmar asks (3rd Part 3rd Chapter) the question, what is the difference between folk speech in the songs and bylinas and present-day colloquial speech and literary language.

One of the possible answers would be that the peculiarities characteristic of the language of the folk songs and bylinas belong only to the folk song language as such. This would imply that the differences of the folk song language from present-day colloquial speech are brought about by the reaction of the verse measure upon the language.

Štokmar does not accept this answer. He says that the phonetic structure of the language determines the versification systems and not the other way round. Thus the phonetic structure of Russian folk verse must have been general for the language in the times when its monuments came into being. It must have been the phonetic structure of the living spoken language of that time. In other words, it must be the phonetic structure of Old Russian which has to be considered thus the source of folkloric accent structure. Štokmar

²⁷ ШТОКМАР: I. с. p. 239—291.

attributes the oldest bylinas to the X–XIII th centuries. He tries to compare their language with the extant OR monuments: the Igor Song and the chronicles. He points out that these monuments suffered much from repeated transcription. Moreover, the scribes were monks, influenced by Church Slavonic (i.e. Old Bulgarian). Nevertheless, Štokmar finds many of the folk song linguistic forms in these monuments as well.

Štokmar points out²⁸ that the stress structure of the folk verse is reigned by a regularity which he calls “dynamic harmony”. This means that the accent clusters come into being on the basis of syntactical relations, but syntactical relations do not govern the place of the stress inside them.

E.g. krasna dèvica (the beautiful girl);
 retivò serce (the fiery heart)

Both are identical structures: adjective+noun. Their stress structure is, however, syntactically different: in the first example the stress is on the noun, in the second one on the adjective. Their stress structure is, however, identical as to the proportions: the 3rd syllable is stressed, the 1st–2nd and the 4th–5th are not. This tendency to form five-syllable clusters and place the stress on the middle is called dynamic harmony by Štokmar. Štokmar considers it to be the oldest rhythmical structure in Russian folk verse. He quotes opinions of other scholars who consider it even to be Common Slavic. Anyway, it has the highest syllable-stress ratio, i.e. 5 : 1.

The folk verse as it lives and has been fixed by notations beginning from the 17th century has the ratio 3,8 : 1, i.e. four-syllable groups are prevailing. The old five-syllable groups corresponding to the norms of dynamic harmony are present, together with groups from 2 to 4 syllables. As rare exceptions, sometimes even 6-syllable groups may be found but they show a strong tendency to decomposition into two groups. Štokmar points out that the four-syllable type of the folk verse is caused by the combination of five-syllable groups with shorter ones and the use of incomplete five-syllable groups which have lost one syllable. The linguistic reality of dynamic harmony is sure, its influence on the enclisis and proclisis has remained in vigour. Thus, the four-syllable rhythms of the bylinas are probably not the original, old, primary ones but of a transitional character. They came into being possibly as a result of the beginning and gradually growing process which brought about the diminishing of the five-syllable groups. These often took an incomplete form and are already found not sufficiently frequently to form natural and convenient units of repetition.

Štokmar explains the fact why five-syllable groups are still widespread and in some songs even prevailing just in the newer genres, as lyrical songs and shorter epics. These forms are not so great as the bylinas. As the norms of dynamic harmony were degrading more and more, the five-syllable groups became more and more “difficult” because there were less and less ready

²⁸ ШТОКМАР: I. с. p. 347—407.

five-syllable groups in the language practice. This difficulty could have been overcome easily in the little forms but the five-syllable groups might have become too tiresome in the great epic works.

Having thus reviewed rather minutely Štokmar's views we can ask the question: what special interest have they from our point of view? We can answer the following: he proves convincingly that present-day folkloric rhythm is the the same as OR rhythm.

5. Characteristics of the Russian Metre

Our first example is a bylina noted by Musorgskij.

- | | |
|-----------------|--------------------------------------------|
| 1. 5: 1 | Kak vo Kijeve stol'no-kijevskom |
| 2. 5: 1 | U Vladimira krasna solnyška |
| 3. 5: 1 | Načinajetsja kak počestnyj pir |
| 4. 5: 1 | Na mnogi knjazi i bojarov'ja, |
| 5. 4: 1 | Kak na tyi bogatyri velikije, |
| 6. 4: 1 | Kak na tyi poljanicy udalyja, |
| 7. 11:3 (3,7:1) | Už kak vsje na piru najedalisja, |
| 8. 4: 1 | Da už kak vsje na piru napivalisja, |
| 9. 13:3 (4,3:1) | Da už kak vsje to na piru porashvastalis'. |

As in the capital Kiev
 At Vladimir, the beautiful sun
 Began a splendid feast
 For many princes and nobles.
 For those great heroes,
 For those bold warriors.
 All ate their fill on the feast,
 All drank their fill on the feast,
 And all boasted on the feast.

Vladimir was a historical person, prince of Kiev, who lived in the 10th century. Thus the bylina may not be of much later origin than that time. It was noted by Musorgsky and the notation in itself shows the marks of his genius: more than a hundred years have elapsed since then, and already then he saw that this song could not be noted in conventional measures without being distorted. So he noted it in tempo rubato, a notion definitively sanctioned

^{1.} Как бо Ку-в-бе-столь-но-Ки-в-ском ^{2.} У Вла-ди-чи-ра-крае-на
сол-ныш-ка — ^{3.} На-чи-на-ет-ся-как по-чест-ный пир ^{4.} на мно-
зи кня-зи-и до-я-робь-я- ^{5.} Как на ты-и до-го-ты-ри-бе-
ли-ки-е — ^{6.} Как на ты-и по-ля-ни-цы у-да-лы-я
^{7.} Уж как бсе-на пи-ру-на-е-да-ли-ся-, ^{8.} Да уж как
бсе-на пи-ру-на-ни ба-ли-ся ^{9.} Да уж как бсе то но пи-
ру — по-рас-хвас-та-лись

in folklore only by Bartók in our century. Musorgsky put the auxiliary, orienting measure lines before principal or secondary stresses.

Our rhythm formulae are given with the conventional representations for stressed and unstressed syllables —, ~ as well. The syllable-stress ratio is given before the verse in question. The numerator shows the number of syllables, the denominator the number of stresses.²⁹ Verse 1-4. have a very archaic feature: they consist purely of five-syllable groups. They are correlated by

²⁹ 100 russische Volkslieder. Gesammelt u. bearbeitet von N. Rimsky-Korssakoff. Op. 24. W Bessel Co, Peterburg. T. I., p. 2-3.

the common stress number 2 (Russian folkloric verse, as well as the OG verse, does not know end-rhymes). Lines 5–9. show variations of syllable number and even greater ones of internal group conformation but all are correlated by the constant stress number 3. In verse 5 group 1 and v.6 gr.1 we have given in brackets an unstressed syllable in each of them which does not exist in the text (we should name them virtual syllables) but is marked by the melody. These “virtual syllables” fill up the rhythmic scheme to the original five-syllable group of the dynamic harmony and in v.8 gr.1 and gr.2 as well as in v.9 gr.2 the given groups are, if not filled up to the five-syllable scheme, at least brought nearer to it.

In the following lyrical song a young wife deplores her sort on the side of an old husband but consoles herself that she has a young friend.³⁰

1. 10:2 (5:1) Ах на што ж было, да к чему ж было
2. 10:2 (5:1) По горам ходит', по крутым ходит'.

(Oh, what was it good for
To stroll on the mountains)³¹

The verses of this song consist of five-syllable groups and are correlated by the stress number 2 (in all the strophes).

The Tale of Volga and Mikula³² is another bylina noted by Musorgsky.

³⁰ *Russische Volkslieder*. Ausgewählt, übersetzt u. mit Benutzung der besten Bearbeitungen herausgegeben von Dr. Heinrich Möller, B. Schott's Söhne, Mainz. p. 28–29.

³¹ We marked the main stresses with the French accent aigu and the secondary ones with the French accent grave.

³² *Russische Volkslieder* Dr. Heinrich Möller p. 28–29.

1. Жил сбя-то-слаб де-бя-но-сто лет 2. Жил сбя-то-слаб да пе-ре-
ста-бил-ся 3. О-ста-ба-лось от-не-го ча до ми-ло-е:
4. Мо-ло-дой Вол-го Сбе-то-слаб-го-бич. Стал Волга ён рос-
тать ма-те-реть; по-хо-те-ло-ся Вол-ге -мно-го му-д-рос-ти
6. Щу-кой ры-бо-го хо-дитъ в-муч бо си-ни-их мо-рях 8. Тму-цёй
со-ко-лам ле-теть Вол-ге под о-бо-ло-ком 9. Рыс-ка-ти бал-ком бо
чус-тых по-рях

- I. 1. 9:2 (4,5:1) Žyl Svjatoslav devjanosto let,
 2. 10:2 (5:1) Žyl Svjatoslav da perestavilsja.
 3. 12:3 (4:1) Ostavalos' ot nego čado miłoje
 4. 10:3 (3,3:1) Molodoj Vol'ga, Švjatoslavovič.
 II. 1. 9:3 (3:1) Stal Vol'ga jon rostet' materet',
 2. 12:3 (4:1) Pohotelosja Vol'ge mnogo mudrosti,
 3. 15:3 (5:1) Ščukoj ryboju hodit' emu vo siniih morjah,

4. 14:3 (3,6:1) Pticej sokolom letet' Vol'ge pod obolokom,
 5. 10:3 (3,3:1) Ryskati volkom vo čistyh poljah.

Svjatoslav lived ninety years.
 Lived and died then.
 He left a dear child,
 The young Volga, his son.
 Volga began to grow big,
 He wanted (to acquire) much ability,
 He wanted to swim in the blue sea as the pike,
 To fly under the clouds as the hawk,
 To run in the clear fields as the wolf.

In this bylina the verses are correlated by the stress number 3, except verse 1–2. from strophe I., which are correlated by the number 2. Besides, the secondary stress on the first syllable is in both verses so strong that if one syllable could form a group by itself, this stress would sound as a full principal one. Maybe it would not be improper to consider that they have a correlating role, too, and thus the correlating number 3 would suffer no change at all in the two given strophes. There is a fact worth mentioning connected with this bylina. It was noted by Musorgsky and the great composer used it then in his opera "Boris Gudonov".³³ It is sung by the two wandering monks Missail and Varlaam in the scene of the popular revolt with a text agitating against Czar Boris. There are 4 strophes, 4 verses each, totally 16 verses. In 15 of them the 3 correlating stresses may be seen clearly, in one only 2 main stresses, but again a strong secondary one.

Thus, in our opinion, the fact that there are sometimes a few verses which have a different main stress number does not change things essentially. The verses deviating in stress structure from the bulk are correlated among themselves by the same principle. It is rather astonishing, how few the deviations are in number, if we consider that about a thousand years have passed since the folklore system was in contact with the changing language patterns. Thus we can sum up all that has been said in the fundamental principle: in Old Russian folklore verses are correlated by the equal number of main stresses.

6. Comparison of the Two Systems

a) Štokmar Versus Halanskij

The only comparison of the two systems we know about was tried by M. Halanskij: "As to its structure our bylina rhythm seems to be essentially similar a) to the measure of certain Old German poetic works and b) to the measure

³³ М. Мусоргский: Борис Годунов. Государственное Музыкальное Издательство. Москва — Издательство Оксфордского университета. Лондон. 1931 стр. 385—388.

of the later German epic folk songs. . . My ears find both Merseburg charms among the Old German monuments to be similar in rhythm to our bylinas. . . it is fully probable to suppose that the German wandering singers of the X–XIVth centuries played a significant part in the elaboration of the Russian bylina measure. . . Thus, in the research of the Russian epic verse it will be necessary. . . to turn our attention towards the Varangians.”³⁴

Štokmar quotes this opinion as “. . . a record of stupidity”.³⁵ It is a pity that he does not prove that Halanskij is mistaken and confines himself merely to disqualifying him.³⁶

b) Some Considerations about Halanskij's Opinions

Halanskij's **interpretation** of the fact is mistaken in our opinion as well, though not a “record of stupidity”, but an error fully explainable if we are aware of the level of the previous scientific results available for him. He considered that the resemblance of the two metres is due to Germanic influence exerted on Russian folklore, either by the Varangians or by “Wandering German singers of the X–XIVth centuries.”

The Varangians were Swedish vikings who used the trade routes leading through Russia to Byzantium during the 9th–10th centuries (they contributed to the foundation of the Novgorod State in 862). They adopted the Russian language just as the Normans, who settled in France were Frenchified. In French poetry there is no trace of versification by stress correlation although this system was general with Germanic peoples. It is difficult to imagine, why the russified Varangians would have left behind a lasting trace of their versification if the Frenchified Normans did not. As far as wandering German singers of the 10th–14th centuries are concerned, they could not exert such an influence for the simple reason that in Germany staving verse was falling rapidly into disuse already in the 9th century.

As far as the Varangians are concerned, there are not only indirect proofs that their influence is out of question. When they came into Russia the staving system had already been fully formed for a long time with all the OG peoples. Long-verses with caesura and stave rhyme were used for centuries and centuries before. How is it possible, then, that one of the three main features of the influencing versification system was adopted, and the other two were not at all? Correlation by stress number was adopted, long-verse caesura and stave rhymes were not.

Maybe, long-verse caesura and staving contradicted the phonetic structure of the adopting Russian language? We shall see presently: this is not the case. If we examine the bylina about Vladimir (see above, p. 72–82.), it is clear that

³⁴ М. Халанский: Южно-славянские сказания: «Кралевице Марке. Варшава, 1895 III. т. 791–792

³⁵ Štokmar: 1. c. p. 73.

³⁶ Štokmar: 1. c. p. 5.

the verses 1–2. can be read as a 20-syllable one with a caesura 10/10 at its middle. As we have seen, such verses were more frequent in the Varangians times than now.

As to the stave rhyme, they would be fully possible in Russian, too. We find alliteration as an ornament with Russian poets, e.g. Pushkin:

Šipenje penistyh bokalov
I punsa plamen' goluboj.³⁷

Thus, in our opinion, Štokmar is right inasmuch as the resemblances of the two systems are not caused by any influence exerted upon Russian folklore. The cause of them must be something else.

c) Comparison of the Two Metric Systems

A) Differences

1. In the OG system a characteristic feature is the caesura occurring in the long-verse. In the Russian system it does not occur.

2. Another essential characteristic feature of the OG system is the stave rhyme. In the Russian folkloric system it is unknown.

B) Resemblances

1. End rhyme or generally syllable rhyme is not used by either of the two systems, apart from incidental repetitions of the same morphological endings in the Russian folkloric verse.

2. Both systems are based on the principle of correlation by an equal number of principal stresses per verse. (See above Ulrich Pretzel's opinion, pp. 00–00).

There is no need to seek an explanation for the differences. It is quite natural for two different languages to have different verse systems, especially folkloric ones. All the more is it required to explain common features. Stave-rhyme is a difference but it is connected with the common feature of stress, so we have to deal with it.

As we have seen above (p. 000), the initial dynamic accent is a prerequisite of the stave rhyme. In Russian the dynamic accent may be initial, too, but generally the Russian language has preserved the freely moving dynamic accent of the old Common Indo-European language down to our days. Not only is the stress not fixed to a determined syllable as with Germanic languages, but even in one and the same word it moves with suffixation, prefixation and even declension and conjugation. We can find a trace of this state in Germanic languages in the so-called grammatical changes of consonants in strong verbs, e.g.

³⁷ А. С. Пушкин: Медный всадник

Thus it is clear, why in spite of the same stress principle the stave rhyme could not develop in the Russian verse system.

Now let us deal with the stress principle itself as this is the essential common feature. Apparently, there is a difference. No doubt, it is true that the verses are correlated by the equal number of principal stresses. With OG languages, however, these stresses must be sentence stresses, falling on the roots of the principal, most meaningful words. In the Russian system the principal accents do not necessarily fall upon the most important words and even in the same syntactic structure they can change from word to word (see above, "dynamic harmony", p. 000) or can be on form-words. This contradiction is, however, only a seeming one. The rhythmical groups of the Russian system are stress groups. As Štokmar pointed out when introducing the notion of "dynamic harmony", they come into being on the basis of syntactical relations. This accounts for the fact that the group limits must be word limits at the same time, as it was pointed out by Sreznevskij (see above, p. 000). Of course, inside these groups the same word in the same syntactical function and morphological form may be stressed or unstressed or may have the stress in different places. We cannot tell whether this greater mobility of the accent even as compared to present-day Russian was a common Indo-European feature or a secondary Russian development. But be it as it may the rhythmical groups are syntactical units which have a main stress. So the number of main stresses which remains unchanged from verse to verse is determined by the syntactical structure of the verse in the Russian system as well as in the OG one.

We see thus, that the stress number principle is identical in both systems. In the Russian system it is the only one. In OG versification it goes hand in hand with the staving principle. It is legitimate to ask, which of both principles may be the primary one in the OG system. The answer is clear enough, even if considering the phenomenon only synchronically. Four main accents in the OG long-verse or two in the short-verse are compulsory but four or two stave rhymes are not. The most frequent type of the long-verse is aaax, the last main stress remaining without a stave rhyme. But there are also types axax and xaax with only two staves. Lines with four staves are special cases and not very frequent (see above, p. 000) There are verses without any stave at all, even in Old Saxon charms, and charms are doubtlessly one of the most archaic genres of folklore. These facts in themselves prove that the stress structure is the primary and most important factor in OG verse, even if we do not know that staving developed only after the dynamic accent got fixed on the first root syllable.

The next question to arise is the following: if it is a fact that in both OG and Russian folkloric verse the most important and fundamental principle is identical and if mutual influence is out of question (at least in historical times) what can be then the cause of this fact?

We can see a single possible answer: the two versification systems must have a common origin. Whether this common origin goes back to Indo-European

times or only to some separate development common only for a language which might have given Proto-Germanic and Proto-Slavic — this remains a question. We should incline in favour of the second alternative for two reasons. The first is a linguistic one. There are many words known to be common only for Germanic and Slavic languages and unknown in the other Indo-European languages. Maybe the similarity of the Russian tense system with the OG one (only two tenses: present and past and no synthetical future) pleads for it, too. The second is a metrical argument: we do not know a similar system in any other Indo-European language. Of course, if such a system exists or is discovered in the past of a Non-Germanic or Non-Slavic Indo-European language, its origin will have to be attributed to a more remote time.

CONCLUSIONS

1. The Old Germanic and old Russian folkloric verse systems are based on an identical rhythm- (or, more precisely, metre-) building principle: the correlation of verses by an equal number of principal stresses.

2. This common basis is not a result of mutual influence but a common heritage, maybe not from common Indo-European times but from a more recent epoch.

3. We cannot agree with Heusler's opinion (see above, p. 000) that the stave rhyme was the primary principle of the Old Germanic verse which helped the formation of the main stress principle. In our opinion, the order was inverse both chronologically and in importance.

Роль фольклора в преподавании русского языка как иностранного

Э. КАМАН

На симпозиуме Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы в Минске в июне 1972 года в докладах и сообщениях представителей 18 стран обсуждались вопросы о совместной работе языковедов и литературоведов в процессе обучения иноязычных студентов русскому языку. Специфика работы со студентами в иноязычной среде и специфика материала все настоятельнее ставит вопрос о сближении языковедов и литературоведов. Об этой тенденции по-разному говорилось в докладах и сообщениях преподавателей разных стран. В докладе А. Васильевой «Русская художественная литература в иностранной аудитории как предмет изучения и как материал при обучении русскому языку» прозвучало и такое мнение, что литературоведы в целях постепенности наращивания знаний и прочности знаний студентов в области русского языка должны поступиться своими правами, в частности — нарушить хронологический принцип изложения материала. С другой стороны прозвучало пожелание возможно более полной эстетико-этической рецепции художественного текста в иноязычной аудитории (в сообщении В. Верещагина и В. Костомарова «К вопросу о рецепции художественных текстов в учебной аудитории студентов-иностранцев») и о необходимости опережающего эту рецепцию комплексного комментирования художественного текста, показа исторического контекста произведения.

В будапештском университете ведется подготовка специалистов — русистов, будущих преподавателей русского языка для средних школ. Таким образом, изучение русского языка как материала для последующей передачи его ученикам в школе предполагает большую степень осознанности языковых фактов, связей, системы языка. В этих условиях возрастает роль литературы, которая является не просто подсобным материалом для изучения языка, а самостоятельной научной дисциплиной. В этом отношении фольклор в силу его специфики представляется очень важным материалом для изучения как литературы, так и языка. Изучение курса истории русской литературы мы начинаем с русского фольклора. Целесообразность самостоятельного, хотя бы и небольшого, курса по русскому фольклору, как источнику ознакомления с древнейшими пластами культуры восточных славян и как новейшего свидетельства процессов и изменений, совершающихся в народном сознании и языке, представляется нам несомненной.

В процессе построения курса лекций и практических занятий по фольклору все больше выяснялась его роль в освещении общих теоретических вопросов генезиса искусства, специфики отражения общественного сознания в народном творчестве, процессов развития жанров. Для анализа на практических занятиях со студентами мы выбираем отдельные памятники фольклора, ярко выражающие проблематику, специфику отдельного жанра, содержащие мотивы различной давности, чтобы можно было проследить хотя бы некоторые моменты развития жанра. При анализе произведений мы стремимся выработать исторический подход к явлениям фольклора, ставим вопросы, связанные с генезисом и отмиранием фольклорных жанров, а также большое внимание уделяем вопросам структуры, стиля, языка произведения.

Освещение этих, в первую очередь, историко-литературных вопросов важно и для изучения языка, при объяснении и обосновании различных моментов в истории русского языка. Поэтому в своем сообщении я остановлюсь на связи фольклора как с литературой, так и с языком.

В первую очередь необходимо подчеркнуть органическую связь фольклора с последующими периодами развития русской литературы. Знакомство с основными жанрами русского фольклора помогает понять специфический путь развития русской литературы. Реформа русского стихосложения XVIII века, проблема литературного языка эпохи Пушкина, стих Некрасова, сказ Лескова, резкие сдвиги в лексическом, фразеологическом составе и ритмике поэзии Блока и особенно сложные и многообразные изменения в современной поэзии и прозе вновь и вновь возвращают нас к фольклору.

Современное литературоведение и фольклористика по-новому ставят вопрос о взаимосвязи и взаимовлиянии литературы и фольклора. Исходя из специфики и потребностей литературы определенной эпохи, из степени развития литературного языка, ученые находят еще не исследованные типы связей литературы и фольклора. Большой интерес с этой точки зрения представляет XVIII век, который после глубоких фольклорных воздействий на литературу предшествующего века и последовавшего за ним бурного роста интереса романтиков к фольклору в XIX веке, в фольклорном отношении казался самым индифферентным. В новейших исследованиях о поэзии Кантемира, Державина — при безразличии этих поэтов к фольклору в традиционном историко-литературном понимании — уставлено, что фольклорные элементы перешли в их поэзию из фольклорных заимствований предшествующей эпохи и посредством воздействия на них пословиц, речевых оборотов живого разговорного языка. Национальный склад ума поэтов проявлялся в их склонности к афористичности, характерной для фольклора. Нормативная классицистическая поэзия под их пером, символы и аллегории классицистической оды наполнялись реальным и конкретным содержанием («Литература и фольклор» Л. 1970).

Знакомство со спецификой фольклорных жанров необходимо при изучении стилей художественной литературы. Здесь помимо общеизвестных явлений; как, например, символика народной песни, параллелизм в изображении мира природы и душевного мира человека, можно найти интересные сравнения и метафоры эпоса и сказок (мотивы жизни и смерти в описании поисков смерти Кашея). Сложность литературной метафоры выступает ярче в сравнении с мета-

форой народной песни, которая часто сохраняет еще и черты конкретного и уже до некоторой степени иносказательного описания:

«Как не вешняя вода разливается,
Не морская вода колебается,
Поганая сила неверная ко Киеву подвигается»

Или:

«Я из рук его тут уронила,
Из мутных очей потеряла...»

Тесная связь литературы и языка отчетливо проступает при анализе эпического стиля былин, когда замедленное торжественное повествование в народном эпосе осуществляется в частности и посредством употребления форм глаголов настоящего времени несовершенного вида, (*praesens historicum*), а также градацией описания и богатейшим использованием глаголов близких по смыслу, но уже не синонимов:

«Тебе полно — тко слезить отцов — матерей,
Тебе полно — тко вдовить да жен молодых,
Тебе полно — тко спускать да сиротать малых детушек.»

Особенно интенсивно процесс насыщения языка художественного произведения идиомами, поговорками, просторечиями и диалектными словами происходит в современной советской литературе. Глубоко аналитический характер, заостренность общественной проблематики современной советской литературы приводят к передаче многих понятий в народной этимологии.

В связи с этим вырастает употребление и функции диалектных слов и выражений как в авторском повествовании, так и в речи персонажей, создающих богатый, свежий и новый для читателя мир. На анализе произведений современных авторов (М. Шолохова, Б. Можаяева, В. Солоухина, В. Белова и др.) И.А. Оссовецкий проводит глубокое различие между авторами, «владеющими говором, как родным» и теми, которым «известен лишь ,стандартный‘ и неширокий набор ,литературных‘, письменных диалектизмов известных каждому мало-мальски образованному человеку, а также ходовой фольклор тоже достаточно хорошо известный. Подлинные же лексические богатства народных говоров и народной лирики и эпоса такому писателю недоступны» (И. А. Оссовецкий: «Диалектная лексика в произведениях советской художественной литературы 50—60-х годов», в сб. «Вопросы языка современной русской литературы», М. 1971, стр. 383.)

Богатство фольклора проявляется и в богатстве его языка как своеобразного склада, сохранившего и архаические, хотя и понятные для современности формы, и новейшие образования языка. Фольклорные тексты представляют возможность интересных наблюдений как над словарным составом, так и над грамматическим строем языка. Обогащение знаний русского языка происходит за счет изучения красочных метких слов и выражений, особенностей словоупотребления в фольклоре, за счет обогащения литературного языка диалектизмами. Словарик архаичных и малоупотребительных слов и выражений, приложенный к университетскому изданию хрестоматии по русскому фольклору, дает возмож-

ность для наблюдения над особенностями словоупотребления и диалектными языковыми явлениями (около 400 слов).

Так фольклорные эпитеты в «переводе» их студентами на современный русский язык представляют интерес и в смысловом значении, и с точки зрения развития языка: «красна девица» в смысле «прекрасная» — не то же самое, что, например, «красное солнце». И само слово «прекрасный» происходит от «красный», а не от «красивый» и «прекрасивый» будет значить уже нечто совсем другое, чем «прекрасный».

Или слово «беседа», в народной песне обозначающая общество, компанию, или «большак», обозначающее не дорогу, а старшего члена семьи. Для уяснения этимологии слова могут быть привлечены такие примеры, как:

важить в смысле ухаживать, ласкать,

вежество — поведение, учтивость,

гинуть — погибать,

диковинный — удивительный,

живот — достояние, имущество,

лада — милый(ая), возлюбленный(ая) как своеобразный член этимологического ряда: ладить, ладно, ладный.

Диалектные слова и выражения необходимы даже для понимания заглавий повестей В. Белова: «Росстанный холм» (*росстань* — перекресток, место, где расходятся дороги), «Речные излуки» (литературное — излучины) «*За тремя волоками*» (*волока* — водораздел). Здесь можно встретить и случаи редкого обратного словообразования: «на кортки» вместо литературного «на корточки».

Особенно богата фразеология фольклора: пословицы, поговорки, крылатые слова, на которых, в силу их общей известности, я не стану останавливаться. Но в современной молодежной прозе (В. Аксенов, А. Гладилин и др.) мы встретим множество новых фразеологических сочетаний:

«Ладно, на худой конец и это неплохо!»

«Ну, может не хорошо, но здорово.»

«Снять с копыт», «выбить из колес» и т. д.

Фольклорные тексты могут послужить связующим звеном при изучении исторической грамматики и современного русского языка. Формы кратких прилагательных в роли определения (*чисто поле, красна золота, добру молодцу*) в народных песнях доказывают, что краткие прилагательные в древнем русском языке склонялись, а теперь не склоняются.

Интересно проследить и судьбу таких сложных грамматических образований, как причастия. Употребление причастий в пословицах, песнях и былинах свидетельствует о том, что они встречаются не только в текстах с сугубо книжным стилем.

«У попа глаза завидущие, руки загребущие».

«Вдвое товаров принавезено, вдвое товаров принавалено» . . .

«У дородного доброго молодца

Много было на службе послужено,

С шелепом за свиньями похожено,
Много цветного платья было поношено —
По под окон онуч было попрошено . . .
На добрых конях было поезжено —
На чужие дровни приседаючи,
По чужим дворам приставаючи.» . . .
«Под Казань-град идти, да там царь стоит,
Да мне, Ермаку быть там повешену,
А вам, казакам, быть переловленным,
Да по крепким тюрьмам порассоженным.»

В этом тексте нужно отметить также и наличие модально окрашенных безличных предложений, чуждых венгерскому языку. В былинах мы также встретим интересные синтаксические явления — употребление безличных предложений с необычным словоупотреблением (см. пример на стр. 36).

В былинах мы встретим и глаголы многократного способа действия, уже не употребляющиеся в литературном языке:

«Так пехотою никто тут не прохаживал,
На добром коне никто тут не проезживал,
Серый зверь да не прорыскивал,
Птица черный ворон не пролетывал.»

Трудности фольклорного текста, а также стремление подчеркнуть национальную специфику мотивов заставляют нас прибегать к венгерским параллелям и переводам. Так при сопоставлении зачинов и концовок русских и венгерских сказок: «жили-были» или «в некотором царстве. . .» и т. д. («hol volt, hol nem volt», т. е. буквально «где-то было, а где-то и не было») проявляются интересные совпадения и расхождения в стилистическом выражении категорий времени и пространства. Выясняется национальная специфика в выражении сказочного времени и места действия, в частности, большая неопределенность венгерских сказочных формулировок, касающихся времени и пространства, с одной стороны, и большая красочность в обрисовке традиционной внешности сказочного героя («*gézszát szóló, aranyat kasagó lány*», т. е. «девушка, говорящая розами, смеющаяся золотом»). В русских же волшебных сказках мы обращаем внимание студентов на большую конкретность и детальность описания места событий, будь то изба или лес.

Также постоянно прибегаем мы к сопоставлению пословиц и поговорок.

В своем сообщении я стремилась подобрать примеры самого различного характера, доказывающие возможность использования фольклорных текстов при изучении языка во всех его аспектах: лексики, морфологии, синтаксиса, его современного состояния и исторического прошлого. Трудность и специфика фольклорных текстов требует совместных усилий языковедов и литературоведов в его всестороннем комплексном комментировании.

**Роль Києво-Могилянської колегії в оновленні російської літератури
кінця XVII ст.****П. МІШЛЕЙ***

*Професорові архітектури,
славісту, мистецтвознавцю
Д-ру В. Я. Кармазину-Каковському
в 75-й рік з дня його народження
з пошаною присвячую.*

1. Однією з характерних рис т. зв. «перехідного» періоду російської літератури кінця XVII ст. є рецепція елементів «західних», «латинських» літературних традицій, їх поступове утвердження у московському літературному житті. На нашу думку, найголовнішим посередником в цьому літературному процесі XVII ст. є Київська братська школа, а згодом Києво—Могилянська колегія (ще пізніше академія). Мета даної праці — проаналізувати той внесок, котрим Київська колегія взяла участь у процесі оновлення та перебудування структури російської літератури XVII ст. Окреслення такої теми, нам здається, робить вмотивованою увагу до деяких обставин історії самої доби, а також історії культури згаданого періоду¹.

* Прізвище автора в попередніх його публікаціях на російській та українській мовах, а також в матеріалах про нього писалось як «Мишлей» і «Мішлей». Виходячи з того, що в угорських прізвищах аналогічного типу більш доцільна транслітерація, починаючи з цієї праці, прізвище автора буде писатись, як «Мишлей» і «Мішлей».

¹Для даної роботи крім наукових праць, згаданих у зносках, автор користувався наступними виданнями: В. П. Аскоченский. *Киев с древнейшим его училищем Академиею*. Ч. 1—2. Киев, 1856. — (М. Булгаков). *История Киевской Академии*. Сочинение воспитанника ее иеромонаха Макария Булгакова. Санктпетербург, 1843. — И. Н. Голенищев—Кутузов. Барокко и его теоретики. В сб.: *XVII век в мировом литературном развитии*. «Наука». Москва, 1969, стр. 102—153. — С. Т. Голубев. *Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники*. (Опыт исторического исследования). Т. I. Киев, 1883. Т. II. Киев, 1898. — И. П. Еремин. К истории русско-украинских литературных связей в XVII в. *ТО ДРЛ*. Т. IX. Изд-во АН СССР Москва—Ленинград, 1953, стр. 291—296. — *История русской поэзии*. Том первый. «Наука». Ленинград, 1968. — Краткий очерк истории русской культуры. (С древнейших времен до 1917 года.) «Наука». Ленинград, 1967. — М. І. Марченко. *Історія української культури*. 3 най-

Більш інтенсивне зближення культури українців, білорусів з культурою Московської Русі починається в XVI ст. Хоч реалізація культурних стосунків здійснюється по-різному, все ж таки можна підкреслити помітну роль поширення друкарства як у Москві, так і на Україні, Білорусії. Про зміцнення літературних контактів т. зв. «Південно-Західної» та Московської Русі свідчить обмін публіцистичними творами, а також творами полемічної літератури. Далі, варте уваги явище XVII ст. — загальнонаукове, літературне і політичне зближення Києва, Київської школи (колегії) і Москви. Сам Київ привертає до себе увагу московських культурних діячів насамперед завдяки своїй добре організованій школі, завдяки гурткові вчених при ній та в Лаврі. З другого боку, через наростаюче соціальне, національне та релігійне гноблення під владою польської корони (особливо в добу царювання Зигмунта III Вази) на початку XVII ст. Київ покладає великі надії на міцну православну Московську державу, котра успішно долає польських інтервентів. В літературі українські письменники багато черпають з публіцистичних творів російської літератури XVI ст.

2. Після Люблінської унії, а особливо після Брестського собору польський уряд намагається зломити релігійно-ідеологічну та національно-політичну єдність українців, білорусів шляхом планоминого витіснення і гоніння «південно-західного» православ'я. Таке прагнення уряду Зигмунта III Вази частково сприяло тому, що передові діячі української (білоруської) православної культури, спираючись на підтримку міщанських верств населення, а також козацтва запорозького, виховували в своїх рядах ерудованих і в «латинській» науці вчених, полемістів-публіцистів з світською освітою. Розвиток православної освіти вимагав заснування шкіл. Потреба включитися в науковий кровообіг свого часу частково означала й рецепцію деяких елементів практики західних шкіл, академій, і взагалі, прийняття певних рис західно-центрально-європейської освіти. За таких умов відкривається у кінці XVI ст. Острозький лицей (академія), а після нього один за одним виникають на Україні (та в Білорусії, Литві) братські школи, створюється мережа шкіл і починається також викладання найважливіших дисциплін «латинської схоластичної» (як дехто її називає) освіти. Крім острозької, віленської, львівської православних шкіл слід віддати належне заснованій в 1593 р. Академії в Замості, котра мала, помимо Краківської академії, значний

давніших часів до середини XVII ст. «Рад. школа». Київ, 1961. — Д. Наливайко. Україна і європейське Відродження. Ж. «Вітчизна». 1972/5, стор. 183—199. — Н. И. Петров. *Киевская Академия во второй половине XVII века*. Киев, 1895. — *Русская литература на рубеже двух эпох (XVII — начало XVIII в.)*. «Наука». Москва, 1971. — З. І. Хижняк. *Киево-Могилянська академія*. Вид-во Київського ун-ту. Київ. 1970. — Andreas Angyal. *Die slavische Barockwelt*. VEB E. A. Seemann. Buch- und Kunstverlag. Leipzig. (1961). — [Bán Imre]. *A barokk*. [Барокко.] A bevezető tanulmányt írta, a szövegeket válogatta, fordította és magyarázta Bán Imre. Gondolat. Budapest, 1968. — Henryk Barycz. *Z epoki renesansu, reformacji i baroku*. Państwowy Instytut Wydawniczy. (Warszawa, 1971.) — [Koltay—Kastner Jenő]. *Az olasz reneszánsz irodalomelmélete*. [Теорія літератури італійського Відродження.] Válogatta és sajtó alá rendezte Koltay-Kastner Jenő. A bevezető tanulmányt írta Bán Imre. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1970. — Alojzy Sajkowski. *Barok*. Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych. Warszawa, 1972.

вплив на діяльність Київської школи (особливо після 1632 р.)². Острозька, віленська, львівська і київська школи працюють не ізольовано одна від одної, а мають тісні зв'язки між собою, мають контакти з вогнищами освіти в Москві, вони знайомі з досвідом польських академій, німецьких та литовських протестантських шкіл. Їх діяльність пов'язана також з грецькими центрами освіти того часу. Вони обмінюються виданнями, збагаченню досвіду українських шкіл сприяє також і взаємний обмін викладачами та учнями.

3. Метою «головного опікуна» Київської колегії (створеної в результаті з'єднання Київської братської школи та Лаврської школи), архімандрита Лаври, а згодом митрополита Петра Могили було насамперед врятування православної культури на території тодішньої Польщі зокрема, розквіт східнослов'янської освіти взагалі. Якщо першим кроком до здійснення цього завдання було завоювання рівноправ'я з уніатами, то Петро Могила — виходячи з історичних обставин і своїх класових позицій — сприймає таке досягнення як частковий успіх. Церковно-політична діяльність П. Могили реальна. Він — партнер у переговорах при польському королівському дворі, він бере участь у переговорах і з єзуїтами³, якщо інтереси українського православ'я (і православної культури) вимагають цього. В 1640 р. П. Могила пропонує царю Михайлу Федоровичу допомогу Київської колегії в розвитку освіти Російської держави (насамперед у Москві)⁴. П. Могила, не пориваючи з традиціями українських, білоруських братських шкіл, сміливо черпає з практики польських католицьких (і не лише єзуїтських!) шкіл, академій все те корисне, чим можна збагатити українську (і взагалі східнослов'янську) освіту. Вимогу протестантизму в зв'язку з орієнтацією на «рідну мову кожного народу» П. Могила вдало поєднує з вимогою прийняття елементів «латинської» культури, вимогою обізнаності з здобутками латинської освіти. (Нагадуємо, що викладання латині, звичайно, продовжувалося і в протестантських школах.) «Латинізована» культурно-політична діяльність П. Могили варта уваги і тому, що культура «грецького світу» XV—XVI вв. (і пізніше) також розвинулась під значним впливом італійсько-латинського Відродження. (Інша справа, що візантійська культура раніше багато в чому сприяла значним здобуткам італійського та середньо-європейського Відродження.)

Отже, в Києві, де вже викладали латинь і в період Київської братської школи, Київська колегія стала православним учбовим закладом «латинського»

² [Josef Matl]. *Europa und die Slaven*. Von Josef Matl. Otto Harrassowitz. Wiesbaden, 1964. S. 166.

³ «Готовність до переговорів» П. Могили деякі дослідники (напр., Є. М. Мединський) оцінюють як зрадницьку його поведінку. Така односторонність призводить до ігнорування позитивних, прогресивних рис його діяльності. Див.: Є. М. Мединський. *Братські школи на Україні і в Білорусії в XVI—XVII ст.* «Рад. школа». Київ, 1958, стор. 115, 132—133. Є. М. Мединський посилається на документи, взяті із капітального видання: *Воссоединение Украины с Россией*. Документи и материалы в трех томах. Изд-во АН СССР. Москва. 1953. Т. I. № 133, стр. 222.

⁴ Посольство І. Старушича до царя не принесло ніяких результатів. Зміна ставлення московського уряду до київських вчених помічається лише під час царювання Олексія Михайловича. — Хв. Тітов. *Стара вища освіта в Київській Україні XVI — поч. XIX в.* Київ, 1924, стор. 46.

профілю. Проте в стінах колегії викладають також грецьку, слов'янську, книжну українську та польську мови. (В даній роботі не маємо на меті деталізувати структуру викладання в Київській колегії.) Введення елементів класичної та середньолатинської культури, літератури в шкільну програму, з одного боку, зробило можливим для більш широких кіл молодих людей ознайомлення з культурною спадщиною античного світу та Західної Європи. (І це ніяк не можна вважати самоціллю.) З другого боку, латинська освіта в програмі колегії органічно продовжує (і в деякій мірі заміняє) ту практику раніших часів, згідно з якою вищу освіту можна було здобути лише в закордонних академіях, університетах (у Кракові, Болоньї, Падуї, Парижі, а згодом і в протестантських німецьких університетах тощо), що часто супроводжувалося прийняттям і чужої віри. Однак, слід додати, що відвідування західних академій має місце також за життя П. Могили і не припиняється після його смерті.

Впровадження різних галузей «латинської» освіти в єдину учбову програму надає Київській колегії XVII ст. характеру письменницької «творчої лабораторії», в основі діяльності котрої лежить класична спадщина, що, проте, не заперечує українських (і взагалі східнослов'янських) традицій. Через адаптації античних поетичних зразків в цій творчій лабораторії народжуються віршування, шкільна драма і також видатні твори з риторики, зразки полемічної літератури (що відразу привертає до себе увагу Росії). Все це разом значно сприяло розвитку російської художньої літератури другої половини XVII ст.

4. Києво-Могилянська колегія за довгі часи стала майже єдиним носієм, поширювачем «нової» в XVII ст. передової (і не передусім «схоластичної») освіти, вона стала головним центром східнослов'янської наукової думки. Крім соціально-економічних та суспільно-політичних обставин першої половини XVII ст. «монополія» Київської колегії в науці обумовлювалась і впертим ворожим ставленням патріархів Філарета й Іосифа до всього чужоземного, тим більше «латинського», «литовського» і навіть до «зрадницького грецького». Грекофілство митрополита Новгородського (а з 1652 р. патріарха Московського і «всєя Руси») Никона (та тимчасові симпатії до нього царя Олексія Михайловича) змінили — хоч на деякий час — підозріле ставлення московської верхівки до «латинян» і взагалі до світської освіти. Це мало велике значення для Київської колегії, бо вона була загальноосвітнім (не лише духовним) учбовим закладом, до того ж, не лише гуманітарного профілю, оскільки вона давала знання і з природничих наук (насамперед у другій половині XVII ст.)⁵.

Справа освіти в Росії останньої третини XVII ст., насамперед після визвольної війни українського народу на чолі з Богданом Хмельницьким та возз'єднання України з Росією, фактично переходить до рук київських вчених і бувших учнів Києво-Могилянської колегії (академії), котрі переселялись до Москви. Як уже було згадано, в зміні ставлення московської церковної політики та уряду до української, білоруської («литовської») православної науки відігравав велику роль тимчасовий прихильник царя Олексія Михайловича, реформатор православних обрядів та літургійних книг патріарх Никон, котрий чутливо реагував

⁵ К. І. Стецюк. Київ — центр освіти і науки на Україні в XVII ст. Ж. «Український історичний журнал». 1970/11, стор. 59, 67, 68.

на культурні потреби багатонаціональної держави і зумів піднятися, як глибоко освічена на той час людина, до визнання необхідності виходу із замкненості в духовному житті. Підготовка церковних реформ Никона (за якими стояли не лише суто церковно-обрядові, богословські мотиви) багато де в чому сприяла встановленню інтенсивних зв'язків уже в кінці 1640 років між Москвою та Києвом. Церковні реформи Никона в значній мірі полягали й у виправленні літургійних книг, наближенні їх до грецьких оригіналів. Така робота носить і філологічний, текстологічний характер. Недостатня кількість монахів та світських осіб — ерудитів у класичних мовах, з одного боку, а з другого, назріваюча в російському суспільстві потреба розвивати освіту, — ось що мотивує наростаючий у Москві інтерес до Київської колегії. Це дало в результат запровадження досвіду Києво-Могилянської колегії в Росії. Після возз'єднання України з Росією, в останній третині XVII ст. і на терені культури загострюється боротьба між прихильниками «старовини», ревнителями «замкненості» Росії і поборниками «оновлень», наближення її до тогочасної Західної Європи.

Варто уваги те, що Никон, котрий завершив процес вивчення грецьких церковних книг та виправлення церковнослов'янських текстів, мав імпазанту світську начитаність. Більше половини примірників його келійної бібліотеки складали латинські, грецькі та німецькі видання, а одну п'яту частину іноземних видань у бібліотеці Никона становили історичні, філософські, філологічні праці, і також книжки з тогочасної медицини⁶. У процесі підготовки церковних реформ Никон не боявся «литовських еретиків». Більшість спеціалістів з грецької мови становили представники української вченості, викладачі, бувші учні Києво-Могилянської колегії. Вихователь царських дітей — колишній учень Київської колегії, білорус з походження, Симеон Полоцький, в 1665 р. заснував греко-латинську монастирську школу в Москві. В 1686 р. з активною участю учня Сименова Полоцького, москвича Сільвестра Медведєва, школу було реорганізовано на зразок Києво-Могилянської колегії в Слов'яно-греко-латинську школу (згодом академію).

Проте, з середини 1690 рр. у культурному житті Москви тимчасово перемагає «грекофільський» (вірніше «антилатинський») напрямок консервативного характеру, очолюваний патріархом Адріаном, котрий в 1690 р. відновлює церковну цензуру, і вносить до списку заборонених книг «латинської ересі» усі твори, популярні на ті часи в Москві (твори Кирила Транквіліона-Ставровецького, Петра Могили, Інокентія Гізеля, Лазаря Барановича, Іоаннікія Галятовського і Симеона Полоцького)⁷. Справжня реорганізація вищезгаданої московської школи в Слов'яно-греко-латинську академію змогла відбутися лише після смерті Адріана. В реорганізації брав участь блюстителю патріаршого престолу (згодом президент Синоду) Стефаній Яворський, бувший професор Києво-Могилянської колегії.

Роль київської вченості в розвитку освіти в Росії з 1660 рр. має вирішальне значення. Плідний взаємний обмін між Києвом і Москвою продовжуватиметься

⁶ С. П. Луппов. Книга в России в XVII веке. «Наука». Ленинград, 1970, стр. 149.

⁷ *История русской литературы*. Т. II. Часть вторая. Литература 1590—1690 гг. Изд-во АН СССР. Москва—Ленинград, 1948, стр. 149.

і в перші десятиліття XVIII ст. Проте, після заснування Московського університету Києво-Могилянська академія поступово втрачає своє загальноноруське значення.

5. В процесі загального оновлення російської художньої літератури кінця XVII ст. самим значним «зовнішнім фактором» була шкільна художня літературна практика українських братських шкіл та Київської колегії. В такому плані мають менше значення втім високорозвинені полемічна та богословська літератури (жанри), тому на них тут зупинятися не будемо. Російська література кінця XVII ст. вже була підготовлена до адаптації нових літературних явищ, таким чином, у кінці згаданого століття зміг завершитися процес перебудови структури російської літератури XVI—XVII вв., що зрештою і є оновленням старої літератури, традиційних норм літератури⁸.

Барокко як стилістичний напрямок у літературі східних слов'ян вперше виникає (і має найяскравіше виявлення) на Україні (та в Білорусії). Хоч виникнення українського барокко має свої суспільно-історичні корені, слід додати, що польське посередництво в розповсюдженні барочного літературного «смаку» значне. Проте, з другого боку, при розгляді художніх засобів літературного барокко інших європейських країн, впадають в око аналогічні явища у стилістичних критеріях риторики барокко та староруської риторики. При вивченні розповсюдження українського (і російського) літературного барокко цього не слід випускати з уваги⁹. Відомо, що стосовно східнослов'янських літератур не можна говорити про ренесансну літературу як про систему. В українській літературі спостерігаються лише ренесансні явища, а в літературі російській зустрічаються спорадичні ренесансні риси (і то здебільшого українсько-білоруського походження). Отже, у східних слов'ян першим літературно-стилістичним напрямом було барокко, що ввійшло в літературну практику (та в теорію) не спорадично, — воно охопило всю систему східнослов'янських літератур (православних у своїй основі).

Барокко наблизило російську літературу до системи літератур Західної та Середньої Європи і воно перервало зв'язки з багатовіковою середньовічною православною літературною практикою. Академік Д. С. Лихачов слушно зауважує, що було б неправильно характеризувати всю сукупність досягнень в російській літературі кінця XVII ст. означенням барокко. В такій же мірі слід вважати справедливим і те його висловлення, що в Московській Русі, де не існувало справжнього ренесансу, літературне барокко стало носієм певних його функцій, і як таке, значною мірою сприяло секуляризації літератури XVII ст.¹⁰, а фактично воно сприяло також загальному оновленню всієї російської літератури.

⁸ Д. С. Лихачев. *Поэтика древнерусской литературы*. «Художественная литература». Ленинград, 1971, стр. 86.

⁹ І. В. Іванько. Про українське літературне барокко. Ж. «Радянське літературознавство». 1970/10, стор. 49. — Д. С. Лихачев. Барокко и его русский вариант XVII века. Ж. «Русская литература». 1969/2, стр. 41. — Д. С. Лихачев. Человек в литературе древней Руси. «Наука». Москва, 1970, стр. 147.

¹⁰ Д. С. Лихачев. Барокко и его русский вариант XVII века. Ж. «Русская литература». 1969/2, стр. 33, 42. — Д. С. Лихачев. *Поэтика древнерусской литературы*. «Художественная

Барокко, що на Заході спочатку було зв'язане з контрреформацією, католицькою реставрацією, котре в той час і в тих країнах тяжіло до заміни ренесансного світосприймання застарілим середньовічним світоглядом, на Україні і ще більше в Росії втрачало свої західно-, середньоєвропейські історичні, суспільно-політичні та релігійні детермінанти, свої тамешні «корені»¹¹. В інших історичних, соціальних ситуаціях барокко як художній, літературно-стилістичний напрямок змогло стати носієм нової, іноді навіть «прогресивної» культурної функції. Східнослов'янське барокко, зберігаючи важливіші стилістичні ознаки літературного барокко Середньої Європи, водночас наповнилося новим ідейним змістом. Більша життєрадісність і дидактизм наближають його до класицизму, до Просвітництва. В творах російського барокко кінця XVII ст. меншою мірою, ніж на Заході, відчувається настрій «суєта суєт», «Пам'ятай про смерть!»¹² Деякі дослідники (Едуард Вінтер, частково і Д. С. Лихачев), підкреслюючи близькість функцій російського літературного барокко до ролі ренесансу і також до класицизму, бачать в представниках російського (придворного) літературного барокко попередників Просвітництва та класицизму¹³. За Д. Наливайком, це не стосується до літературного кола Києво-Могилянської колегії¹⁴. На наш погляд, в історії східнослов'янського барокко, котру умовно можна поділити на раніший «український і Києво-Могилянський» та «московський» періоди, ідеї Просвітництва, принцип «суспільної користі», підкреслення вищості над усім суспільством абсолютного монарха охоплюють російську літературу барокко кінця XVII ст. в більшій мірі, ніж літературне барокко т. зв. «українського періоду» (початок XVII ст.), а пізніше «Києво-Могилянського періоду» (друга третина XVII ст.). В такому розумінні російське «придворне» барокко дійсно стає одним із підготовчих факторів російського Просвітництва та класицизму в літературі XVIII ст.

6. Одним із доказів орієнтації на Західну та Середню Європу літературної діяльності Київської колегії є джерела киявських підручників поезики. Це насамперед Marco Girolamo Vida: *Poeticorum libri tres* (Рим, 1527 р.), Julius Caesar Scaliger: *Poetics libri septem* (Ліон, 1561 р.) та Jacobus Pontanus: *Poeticarum institutionum libri tres* (1600 р.), котрі були відомі в той час в країнах Середньої Європи, зокрема в Угорщині¹⁵.

література». Ленинград. 1971, стр. 88. — Д. С. Наливайко. Українське барокко в контексті європейського літературного процесу XVII ст. Ж. «Радянське літературознавство». 1972/1, стор. 36.

¹¹ Про важливість чіткої диференціації при дослідженні функції, форми, змісту барочних елементів у літературах різних країн говорить проф. Ч. Гернас у своїй монографії. Див.: Czesław Hernas. *Barok*. (Historia literatury polskiej pod redakcją Kazimierza Wyki.) Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa, 1973, s. 11.

¹² Д. С. Лихачев. Человек в литературе древней Руси. «Наука». Москва. 1970, стр. 151—152.

¹³ Eduard Winter. *Frühaufklärung*. Akademie-Verlag. Berlin, 1966, S. 321, 329. — Д. С. Лихачев. Человек в литературе древней Руси, стр. 152.

¹⁴ Д. С. Наливайко. Назв. праця, стор. 38.

¹⁵ Поетики Виді та Скалігера були відомі в Угорщині вже в XVI ст. Див.: Bán Imre. Irodalomelméleti kézikönyvek Magyarországon a XVI—XVIII században. [Підручники з теорії

Найбільшим досягненням знайомства з літературою барокко інших європейських країн було створення українського, а згодом і російського (письмового) віршування, і також запровадження на східнослов'янському ґрунті (через посередництво шкільних драм) драматургії взагалі. В староруській літературі панували в першу чергу епічні прозаїчні жанри. Оригінальна письмова поезія як така — за винятком не дуже багатого репертуару релігійних гімнів — майже не існувала. Функції скріптури взяв на себе багатий фольклор. Візантійська поезія була відома на Русі лише через твори декількох поетів, перекладених прозою. Староруська драма тим більше не могла мати зразків у візантійській літературі; таким чином роль драматургії також виконували фольклор, народні драматичні ігри¹⁶. Проте, для створення нової поезії (віршування) та драматургії фольклорні традиції були лише однією, а не єдиною, не вирішальною передумовою.

Один із перших представників східнослов'янського барочного віршування — Герасим Смотрицький (?—1594). Його спроби в поезії мають безпосередні зв'язки з початковим періодом книгодрукування на Україні, зокрема з появою «Острозької біблії» (1580/81 рр.). Вже на початку XVII ст. в українській віршовій барочній літературі з'являються ідеї тлінності «всього земного», аскетичного віддалення від «мирських суєт», думки про те, що єдина мета життя людини полягає в служінні Ісусу Христу. В 1612 році в Єв'є виходить збірник перекладених з грецької мови морально-дидактичних віршів ієромонаха Віталія (?—1640 ?) — «Діоптра, албо Зерцало . . .». Новий культ незвичних метафор, символів, алегорій, культ характерного для барочної літератури риторично-стилістичного засобу «кончетто» (концептизму) спостерігається у віршах Тарасія Земки (?—1632), колишнього викладача Київської братської школи, начальника Лаврської друкарні. Тарасію Земці не чуже і вишукане, віртуозне плетіння слів, особливе «мистецтво слів», що, втім, стає загальним атрибутом в шкільній поетичній творчості Києво-Могилянської колегії. Мотив «Пам'ятай про смерть!» знаходить найбільш яскраве художнє втілення в збірці «Перло многоцѣнное» Кирила Транквіліона-Ставровецького (?—1646), котра була видана в Чернігові, в 1646 році. Найбільш відомим та ефектним твором високого художнього рівня є «Лѣкарство роскошником». Аналогічні розробки, варіанти теми цього твору (монолог мерця, його дорікання смерті) легко знайти в літературах барокко народів Середньої Європи. (В угорській літературі, наприклад, — «Діалог . . . тіла і душі» 1625 року поета Матьяша Ньєкі-Вереша.) Основний мотив, узятий із середньовічного видіння („*Visio Philiberti*”; інший заголовок — „*Disputatio Corporis et Animae*”, тобто «Преніє живота і смерті»); подібні діалоги відомі й візантійській літературі. «Лѣкарство роскошником» є представником і т. зв. «барочного натуралізму»: автор дає наочний, детальний показ руйнівної діяльності смерті, «потворне» у вірші має свої естетичні функції. К. Транквіліон-

літератури в Угорщині XVI—XVIII вв.] *Akadémiái Kiadó*. Budapest, 1971. 10. — Про їх рецепцію на Україні та в Польщі пишуть Г. М. Сивокін та Р. Лужний. Див.: Г. М. Сивокін. *Давні українські поетики*. Вид-во Харківського ун-ту, 1960, стор. 37—40. — Ryszard Łuźny. *Pisarze kręgu Akademii Kijowsko-Mohylańskiej a literatura polska*. Nakładem Uniwersytetu Jagello'skiego. Kraków, 1966, s. 25.

¹⁶ И. П. Еремин. *Лекции по древней русской литературе*. Изд-во Ленинградского ун-та. 1968, стр. 187—188.

Ставровецький є одним із кращих майстрів східнослов'янського барочного віршування XVII ст. Нагромадження різних емоцій, максимальне використання риторичних образів барокко, ефектний вплив на всі відчуття, гарно відшліфований ритм, словесні образи його віршів створюють «поетичну школу» в українській літературі.

З літератури перших років існування Київської братської школи слід згадати два значні панегірики. Автором першого з них є Олександр Митура (кінець XVI—перша половина XVII ст.), котрий в 1618 р. надрукував у Києві хвалебний вірш у кількох частинах на честь архімандрита Києво-Печерської лаври Єлисея Плетенецького («Вёзерунок цнот превелебного в бозѣ . . . отца Єлисея Плетенецького . . .»). Другий значний твір панегіричного віршування Київської братської школи — це вірші ректора школи Касіяна Саковича (? 1578—1647) на смерть гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного («Вёршѣ на жалосный погреб зацного рыцера Петра Конашевича Сагайдачного, гетмана войска . . . Запорозкого», Київ, 1622 р.). Якщо поглянемо на заголовок цього великого за обсягом твору, виникає думка, що перед нами, певно, надгробна віршована промова. Але це не зовсім так. Колишній студент Замойської та Краківської академії К. Сакович у своїх «Віршах» вражає не лише своєю ерудицією в поезиці, у віршуванні. Він успішно малює постать, життєвий шлях хороброго в боях та освіченого гетьмана запорозького. У «Віршах», творі складного жанру, звичайно, присутній і літературний «смак» того часу. *Смерть* (смерть героя) служить авторові лише приводом для того, щоб розповісти про дії *витязя*, щоб мати можливість прославити найбільшого лицаря військ запорозьких. Герой є *поборником християнства*, проте на передньому плані представлені його *воляцькі цноти*. Показ добродетелей героя, декламації, варіації, повтори служать авторові для того, щоб викликати якомога повнішу емоційну тотожність у слухачів, або читачів. Для створення враження *монументальності* автор в значній мірі розширює географічні кордони зображуваних подій¹⁷. К. Сакович підкреслює насамперед не тлінність людського життя, а безсмертя людини. Останнє забезпечується покійному через його воляцькі, та частково релігійні цноти. Але все ж таки не можна обминути теми *тлінності*. Сам факт раптово перерваного славного життя гетьмана приводить до думки про скороминучість «всього земного». Багатство, слава, військова сила, розум — все це речі швидкоплинні, вони не триватимуть вічно. Проти смерті немає ліків; і у «Віршах» лунає мотив *«memento mori»*: Сакович попереджає нас, що не потрібно забувати про близьку смерть. Людське життя схоже на сон, тінь, на зів'ялі квіти. (Тема *«varietas»* та *«vanitas»*.) Однак, всупереч песимістичним настроям західного барокко, К. Сакович не має на меті своїми сентенціями викликати страх перед смертю (перед т. зв. в інших барочних літературах «чотирма останніми речами»), або ж доводити суєтність, нерозумність «земного» життя. В його творі скоріше виражено мудре сприймання закономірності приходу смерті.

¹⁷ С. І. Маслов. Вірші Касіяна Саковича «На жалосний погреб П. К. Сагайдачного». У вид.: *Матеріали до вивчення історії української літератури в п'яти томах*. Том I. Давня українська література. (Доба феодалізму — до кінця XVIII ст.) Упорядкували академік О. І. Білецький і доцент Ф. Я. Шолом. «Рад. школа». Київ, 1959, стор. 253—256.

Після реорганізації Київської братської школи в Київську колегію значне місце у навчанні відводиться опануванню мистецтвом віршування. Учні зобов'язані вміти вільно користуватися прикладами з грецької та римської міфології, володіти правилами класичної поезії, усією системою тропів, алегорій та символів.

Кілька значних зразків київського шкільного віршування мають зв'язок з іменем архімандрита (згодом митрополита) П. Могили. Місце народження цих творів — то Лаврська друкарня, то Київська колегія. Нагадаємо тепер вірші «Имнологія, си ест пёснословіе . . .» (Київ, 1630 р.), та «(Евхарістіріон) албо вдячність . . . Петру Могилю . . .» (Київ, 1632 р.). Серед авторів «Имнології» наводимо вчителів Київської братської школи, а саме Памву Беринду і брата Степана, Тарасія Земку та інших. Цей віршовий твір був написаний на великодні свята; образами він споріднений з релігійними гімнами, але мета його — похвала, тобто в жанровому відношенні «Имнологія» — панегірик. Композиція, розміщення образів, стилістичні ознаки панегірика відбивають важливі риси літературного барокко¹⁸. В другому панегірику, складеному учнями та вчителем риторики (певно Софонією/Софронієм Почаським) Київської колегії в 1632 р., «Евхарістіріон», так само, як у «Віршах» К. Саковича десять років тому, помітне стремління до сценічного ефекту. (Він декламується 23 учнями класу риторики.) Мета панегірика — підкреслення корисності шкільних наук. Це досягається шляхом пишного оформлення мови, нагромадженням прикладів з античної міфології, багатьма вишуканими поетичними образами. Авторам твору, певно, були добре відомі не лише «Еклога перша» Вергілія та «Метаморфози» Овідія, а також славнозвісна в той час поезія львівського (і замойського) вченого, польського поета Шимона Шимоновича Бендонського.

7. Колишній студент Київської колегії, білорус з походження, Симеон Полоцький (1629—1680), своєю літературною та літературно-організаторською діяльністю в Москві багато в чому сприяв оновленню російської літератури останньої третини XVII ст. Важливі (звичайно, не всі) елементи оновлення (розширення жанрів, секуляризація літератури на зразок західної літературної спадщини, мета просвітництва, дидактизм) відіграють значне місце в творчості Симеона Полоцького. Він вчився в Києві в 1640/50 рр. Після цього жив у Полоцьку, а згодом, з 1663 р. до смерті працював у Москві. З іменем Симеона Полоцького зв'язане створення силабічного віршування в російській літературі, запровадження на ґрунті російської літератури нових віршових жанрів. У своїх силабічних віршах Симеон Полоцький продовжує традиції курсу «піітики» Києво-Могилянської колегії, з другого боку, в московський період свого життя він переносить в літературну практику ті спорадичні спроби силабічного віршування, що з'явилися вже на початку XVII ст. в російській літературі¹⁹. (Ми маємо

¹⁸ *Історія української літератури у восьми томах*. Том перший. Давня література (XI — перша половина XVIII ст.) «Наукова думка». Київ, 1967, стор. 320—321.

¹⁹ Див.: О. І. Білецький. Симеон Полоцький та українське письменство XVII ст. У вид.: Олександр Білецький. *Зібрання праць у п'яти томах*. Том 1. Давня українська і давня російська література. «Наукова думка». Київ, 1965, стор. 417—433. — А. Панченко. *Історія русської поезії*. В кн.: *Русская силлабическая поэзия XVII—XVIII вв.* Вступительная статья,

на увазі вірші Івана Хворостиніна, Семена Шаховського, Івана Катирьова-Ростовського.) С. Полоцький вважає віршування своїм покликанням. Як відомо, він був першим поетом-професіоналом у Москві. (Поезія і віршування ще не відокремлюються в його творчості. Подібне розмежування можна спостерігати в поетичній практиці наступного «київського покоління» в Москві; насамперед у Феофана Прокоповича та Стефанія Яворського.) Симеон Полоцький привіз з собою в Москву всю ту любов до знань, покликання до освітньої роботи, що він засвоїв в роки навчання у Києві та у Вільні. Він — засновник школи, він — творець першого проекту Московської Слов'яно-греко-латинської школи (академії), він — вихователь царських дітей, а в останні роки свого життя він самостійно керує друкарнею в Кремлі. Симеон Полоцький написав дуже багато на протязі свого життя, але про зібрання своїх віршових творів в окремі книжки він думав лише в останні роки. Це завдання він виконав у рукописній формі. В 1678 р. він упорядкував збірник «Вертоград . . .», а в наступному — «Рифмологіон».

Віршам С. Полоцького притаманні сильний дидактизм, барочний пафос та намір бути корисним. (Барочний пафос особливо відчувається в панегіриках «Рифмологіона».) Одна з характерних прикмет «Вертограда . . .» — загромодження: стремління автора до тотальності, до показу своїх енциклопедичних знань²⁰. Це, з одного боку, мотивується освітньо-виховною культурною програмою С. Полоцького, з другого боку, при упорядкуванні свого збірника автором керує монументальність барокко. Адже монументальність захоплює читача, а відчуття тотальності, повноти приводить його до здивування. Проте, ця повнота лише поверхова, бо головний принцип упорядника — азбучна послідовність віршів. Про рівномірність редагування не може бути й мови: у «Вертограді . . .» здійснюється суміжність віршів різних жанрів, різних тем; віршів, піднорядкованих «абстрактній послідовності». Така «безцентровість» композиції ярка є характерною для барочного стилю.

Дослідники збірок С. Полоцького (напр., І. Єрьомін) порівнюють ці збірки з музеєм, у вітринах котрого виставлені найрізноманітніші експонати (часто дуже рідкісні й давні).²¹ Симеон Полоцький дійсно загромадив свій «музей» усіма знаннями, що він накопив у житті. Ним керує устремління принести користь, адже він хоче закріпити для наступних поколінь у формі віршових творів свій багатший досвід, знання. Антиподи його віршової спадщини — це мета розповсюдження знань світського характеру та релігійний елемент (що бере початок у середньовіччі) багатьох дидактичних прикладів, сказань. Однак, слід додати, що середньовічні приклади, «історії» у С. Полоцького — здебільшого стилістичний засіб для досягнення дидактичної, проповідницької мети²². Дета-

подготовка текста и примечания А. М. Панченко. Общая редакция В. П. Адриановой-Перетц. «Советский писатель». Ленинград, 1970, стр. 16.

²⁰ А. Панченко. Там же, стр. 24.

²¹ И. П. Еремин. Поэтический стиль Симеона Полоцкого. *ТОДРЛ*. Т. VI. Изд-во АН СССР. Москва—Ленинград, 1948, стр. 125.

²² [О. І. Білецький] Повествовательный элемент в «Вертограде» Симеона Полоцкого. У вид.: Олександр Білецький. Назв. праця. Том 1, стор. 441—442.

лізація «потворного», страшного притаманна особливо його моралізаторським прикладам. С. Полоцький захоплюється описом незвичного, небуденного. Його займає думка про тлінність, в деяких віршах він пробує зафіксувати якийсь момент швидкоплинного часу. Він охоче звертається до сміливих асоціацій думок. Його образи взяті то з Біблії, то з античної міфології, то з середньовічної агіографії (про чудеса Марії).

С. Полоцький написав чимало віршів, присвячених актуальним суспільно-політичним проблемам. (Він займається питанням прав і обов'язків монарха і підданого, громадянина.) Ці вірші на світську тематику вказують дорогу до нового етапу еволюції російської поезії. Особливо багато панегіриків, епітафій у «Рифмологіоні». Ці вірші вже являються попередниками одичної поезії російського класицизму XVIII ст. Вірші С. Полоцького — зразково для свого часу опрацьовані, відшліфовані твори. Культ художньої форми можна бачити також в його «барочних симпатіях». Твір для нього означає здебільшого водночас і *видовище*. Намагаючись досягти якомога більшої візуальності, автор надає великого значення архітектоніці, декоративності, показовості своїх віршів. Він пише червоною та чорною фарбами, з задоволенням користується різновидами *capitula sigiosa* (паліндромом), каліграфічними віршами, акровіршами, грою слів.

Силабічне віршування Симеона Полоцького та його російських послідовників (Сільвестра Медведєва, Каріона Істоміна) є своєрідним продуктом російського літературного барокко. Якщо силабічне віршування і не проіснувало довго в історії російської літератури, все ж таки представники віршування кінця XVII ст. дали певний повштовх розвитку російської поезії наступних десятиліть саме розширенням жанрових і тематичних можливостей, запровадженням нових художніх засобів поезії. Симеон Полоцький та його літературний гурток зі своєю свідомою поетичною діяльністю значною мірою прискорили темпи розвитку російської літератури кінця XVII ст. Та не слід забувати, що в їхньому внеску в оновлення російської літератури підсумовувалися поетичні традиції Києво-Могилянської колегії і також загалом багатовікова спадщина української, білоруської культури раніших періодів.

8. Учні та викладачі Київської колегії почали писати шкільні сценічні твори: декламації, діалоги, інтермедії. Українські шкільні драми, котрі сформувалися дещо пізніше, за сюжетами можна поділити на чотири групи: на великодні та різдвяні драми; т. зв. міраклі; драми, подібні до мораліте, та драми на історичні сюжети²³. Перша драматична спроба, що дійшла до нас, належить до міраклів («Драма про Олексія, чоловіка божого», 1673/74 рр.); а для драматургії XVIII ст. мала більше значення драма на історичну тему (напр., «Владимир» Феофана Прокоповича 1705 р.).

Першу датовану українську барочну шкільну драму (автор невідомий) про Олексія, «чоловіка божого», поставили на сцені у Києво-Могилянській колегії в 1674 р. з приводу іменин царя Олексія Михайловича. Основою для драматичної адаптації послужила добре відома у середньовіччі легенда про святого Олексія.

²³ О. І. Білецький. Зародження драматичної літератури на Україні. У вид.: Олександр Білецький. Назв. праця. Том 1, стор. 319.

Безпосереднім джерелом автора, певно, були збірка легенд Петра Скарги та одне московське видання²⁴. Легенда про Олексія була улюбленою темою і європейських єзуїтських шкільних драм XVII ст. Хоч староруська література також знала життє Олексія (певно, з «*Legenda Byzantina*» IX ст.), український варіант XVII ст. лише в загальних рисах йде за відомою фабулою. Головна мета української драматичкої адаптації — показ внутрішньої кризи людини, котра відійшла від світу, котра з презирством ставиться до «суєт всього земного»; показ її конфлікту з середовищем. Безсумнівно, характерною для барокко ознакою є також змішування біблійних та римських міфологічних елементів.

Помітну роль у поширенні в Росії драми стилю барокко відігравали митрополит Ростовський Дмитро Туптало (Ростовський), колишній учень Київської колегії, та вищезгаданий Симеон Полоцький.

Драматургічна спадщина Симеона Полоцького включає кілька діалогів, декламацій, а також шкільні драми («Трагедия о Навходоносорѣ . . .» та «Комедия притчи о блуднем сынѣ»). З двох драм, в основі котрих лежать біблійні сюжети (з «Книги пророка Даніїла» та з «Євангелії Луки») в жанровому, ідейному відношенні, та з аспекту історико-літературного здається більш цікавою комедія про блудного сина²⁵. В даному разі в ній можна бачити ранню спробу суспільної драми. В своїх художніх засобах автор намагається бути простим, зрозумілим, ясним. С. Полоцький суверенно звертається до біблійного сюжету: конфлікт його комедії має свої корені в російському суспільстві останньої третини XVII ст. У центрі драматичного зображення стоїть боротьба двох «начал» — консервативних сил та провісників нового, «не-домостроевського» укладу життя, представників нового життєвого ідеалу. Шкільна драма Симеона Полоцького про блудного сина в 1685 р. вийшла друком. Хоч ми не маємо даних про її постановку, все ж таки факт опублікування сам говорить про актуальність та популярність твору С. Полоцького. Цим, звичайно, ми не хочемо перебільшувати роль цієї комедії, не говоримо, що твір С. Полоцького є одиничним явищем серед інших драм з репертуару московського придворного театру, котрий почав діяти в 1672 р., а проіснував лише кілька років. Як в придворних п'єсах взагалі, у комедії С. Полоцького зокрема відбивається якась гармонія, нібито пануюча в цьому світі; можливість цієї гармонії забезпечується «справедливим абсолютним монархом». Це говорить про виникнення в придворних колах атмосфери, що сприятиме розвитку освіченого абсолютизму. Чутливість до актуальних суспільних проблем хоч і виступає не на першому плані, але вона досить виразна. Через це комедія С. Полоцького означає крок вперед у порівнянні з двома ранішими п'єсами придворного репертуару («Артаксерсово действо»

²⁴ Piotr Skarga. *Żywoty świętych* (1579); «Анфологіон». Москва. 1660. — Історія української літератури . . . Том перший . . . стор. 471.

²⁵ Симеон Полоцький. *Избранные сочинения*. (Подготовка текста, статья и комментарии И. П. Еремина.) Изд-во АН СССР. Москва—Ленинград. 1953. — І. Я. Франко. Русько-український театр. (Історичні обриси.) У вид.: Іван Франко. *Твори в двадцяти томах*. Том XVI. Літературно-критичні статті. Держ. вид-во худ. літ-ри. Київ, 1955, стор. 217. — Н. К. Гудзий. *История древней русской литературы*. «Просвещение». Москва. 1966, стр. 522. — И. П. Еремин. *Лекции по древней русской литературе*. Изд-во Ленинградского ун-та. Ленинград. 1968, стр. 194—196.

— на основі «Книги Есфір»; «Иудифь» — переробка історії за «Книгою Іудиф» (у Вульгаті); їх автор, певно, німецький «режисер» придворного театру, пастор І. Г. Грегорі)²⁶.

Згодом, в добу абсолютизму Петра Першого, під знаком суспільної актуальності написав історичну драму «Владимир» Феофан Прокопович, колишній студент, а потім ректор Києво-Могилянської академії, один із головніших спорників Петра І.

Отже, розповсюдженням в Північно-Східній Росії драматургії, театру, поезії, максимальною пропагандою свідомої літературної діяльності напередодні великих суспільних реформ Києво-Могилянська колегія (академія) виконувала велику функцію в процесі оновлення, перебудови російської літератури XVII ст.

9. Київські вчені, Київська колегія зі свого боку підготували суспільне, культурне оновлення в Росії кінця XVII ст., насамперед своєю т. зв. «латинською» освітою. Київські письменники, викладачі гуртка колегії, звертали увагу своїх учнів на передові досягнення західноєвропейської науки, розповсюджували існуючі в той час наукові посібники, що були написані латинською мовою. Вартий уваги і той факт, що популярні з XV—XVI ст. лицарські романи, історичні праці, роботи з природничих наук попадали в Московську Русь насамперед в українських, білоруських перекладах²⁷. Роль Київської колегії у формуванні літературних смаків у Росії дуже значна. В приватних бібліотеках видатних мислителів, бояр, архієреїв можна знайти твори класиків античних літератур. Російська література другої половини XVII ст. у своїх тенденціях, вимогах звичайно досягає загальноєвропейського рівня²⁸. У конкретизації взаємних зв'язків російської літератури з «латинським світом» позитивна роль припадає на долю польської літератури (та культури взагалі), хоч «латинський вплив» проникає в російську літературу в «фільтрованій» формі. Міст для взаємного збагачення літератур — російської та польської — створювали українські та білоруські культурні діячі. Слід, проте, додати, як зауважує й академік О. І. Білецький, що російська література, культура, сприймає далеко не всі літературні та культурні елементи польського походження, а здебільшого те, що й польська культура переймала у культур західних²⁹. Через це й ми говоримо швидше про польське *посередництво*, а не про запозичення польських елементів.

²⁶ *Первые пьесы русского театра*. (Ранняя русская драматургия XVII — первой половины XVIII в.) Под. ред. А. Н. Робинсона. «Наука». Москва, 1972, стр. 46. — Див. ще: К. Günther. Das Weimarer Bruchstück des ersten russischen Dramas «Artaxerxovo dejstvo» (1672). In: *Studien zur Geschichte der russischen Literatur des 18. Jahrhunderts*. Band. III. Akademie-Verlag. Berlin, 1968. S. 120.

²⁷ И. Н. Голенищев-Кутузов. *Гуманизм у восточных славян* (Украина и Белоруссия). Изд-во АН СССР. Москва, 1963, стр. 64—68. — Эндре Иглои. *История древней русской литературы XI—XVII вв.* Tankönyvkiadó. Budapest, 1968, стр. 233—239. — *Історія української літератури*. . Том перший. . стор. 336—338, 507—514.

²⁸ Д. С. Лихачев. Семнадцатый век в русской литературе. В сб.: *XVII век в мировом литературном развитии*. «Наука». Москва. 1969, стр. 300.

²⁹ *История русской литературы*. Том III. Литература XVIII века. Часть первая. Изд-во АН СССР. Москва—Ленинград, 1941, стр. 7. — [О. І. Білецький]. На рубеже новой литературной эпохи. У вид.: Олександр Білецький. Назв. праця. Том 1, стор. 463—464. — Ві-

Зближення Росії з «латинською» освітою, з одного боку, могло зв'язувати російську літературу з новими досягненнями західних літератур того часу; а з другого боку, саме через зближення в Росії набула популярності така вимога «західної» освіти, котра особливо в XVI ст. (в результаті європейського гуманізму, реформації та контрреформації) стала характерним явищем, а саме: вимога створення і регулювання шкільної системи, збирання бібліотек, тощо. При цьому, звичайно, не слід забувати й про *спільну культурну спадщину Київської Русі*, або про культурно-філологічну діяльність, напр., Геннадія, архієпископа Новгородського, про раніші задуми, плани боярина Карпова, Максима Грека, про діючих на території Північно-Східної Русі єретиків.

Все ж такі оновлення російської літератури XVII ст. змогло б запізнитися без живих творчих контактів з тодішньою українською, білоруською літературами, або без таких зв'язків вона була б позбавлена деяких, важливих для пізнішого розвитку російської літератури рис. Історико-культурна специфіка в Росії XVII ст. якраз визначається «західним впливом» в українській обolonці³⁰. Цим, звичайно, не хочемо заперечити, або применшити роль внутрішніх сил в оновленні російської літератури другої половини XVII ст. Без підготовленого «грунту», без внутрінаціонального розвитку російської літератури ніякий «зовнішній вплив» не зміг би пустити коріння³¹. Внутрішній розвиток російської літератури, що здійснювався головним чином в межах традиційної жанрової системи староруської літератури та шляхом трансформації існуючих жанрів (дослідження цього не входить в наше завдання), і зв'язок з київською вченістю разом затвердили секуляризацію російської літератури. В зв'язку з тим, що нашою метою було окреслення новаторських тенденцій в літературі, котрі коренилися в традиціях Київської колегії, до вищесказаного можемо додати, що жанрове збагачення російської літератури та перехід системи її жанрів до системи загальноєвропейської здійснювалися шляхом рецепції, адаптації російською літературою культурних традицій київських «латинян». Як світська тематика в російській літературі, так і жанрова строкатість, різноманітність частково є результатом поширення в Москві західної перекладної літератури (здебільшого через українське та білоруське посередництво). У творчості Симеона Полоцького та взагалі московських «письменників-латинян» кінця XVII ст. спостерігаються просвітительська тенденція, елементи раціоналізму, барочного дидактизму, сліди раннього класицизму.

В київській літературній спадщині, виходячи з її просвітительського характеру, можна бачити елементи, що підготували російське Просвітительство XVIII ст. і також ранній період російського літературного класицизму. Це наголошуємо навіть і тоді, якщо врахуємо, що між літературою кінця XVII ст. та літературою раннього російського класицизму вклинюється т. зв. «Петровський

домий польський вчений Юліан Кржижановський слушно відзначає розбіжність в оцінці античних авторів у поетів польського Відродження та у представників барокко. Див.: Julian Krzyżanowski. *Historia literatury polskiej od średniowiecza do XIX w.* Państwowy Instytut Wydawniczy. (Warszawa, 1953.) S. 262—263.

³⁰ Олександр Білецький. Назв. праця. Том 1, стор. 463.

³¹ Д. С. Лихачев. Там же, стр. 326—327.

період», не дуже багатий з точки зору красного письменства. Пригадуючи зауваження Івана Франка³², можна сказати, що «вікно в Європу», безсумнівно, спочатку «відкрили» на Півдні, і це було першим великим періодом встановлення культурних зв'язків з Заходом, підготовчим етапом дальших зрушень. «Південне вікно в Європу» найширше «розкрив» сам Петро Могила. Хоч якісно новий етап широких контактів Росії, і взагалі східних слов'ян з Західною Європою і на терені культури пов'язаний з діяльністю та епохою Петра Першого, все ж таки одним (чи не найбільшим) підготовником (в галузі культури) «доби Петровських реформ», що мали величезне значення для розширення європейського горизонту Росії, був якраз Петро Могила³³.

³² Іван Франко. Причинок до культурної історії Західної України XVII і XVIII ст. Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР. Відділ рукописів, ф. 3, № 638, арк. 3. За виданням: *Історія української літератури*. . Том перший. . стор. 351.

³³ Д. Наливайко. Києво-Могилянська академія і Європа. Ж. *«Всесвіт»*. 1972/7, стор. 191. — Прогресивне значення культурної діяльності П. Могили акцентує і відомий австрійський славіст І. Матл. Див.: [Josef Matl]. Ebenda. S. 166—167.

Культура польского Просвещения в историографии XVIII века

Н. КИРАЙ

Термин «просвещение» выступает во многих областях культуры — истории литературы, философии, общей истории и истории науки, очень редко выступает в истории искусства, а если используется, то скорее в значении «эпоха», в которую господствующим стилем был классицизм. Все это свидетельствует о том, что «просвещение» охватывает собой прежде всего сферы общественного сознания, и в значительно меньшей степени — произведения материальной культуры. В отличие от таких понятий в истории культуры, как «барокко», «модернизм», термин «просвещение» был введен людьми XVIII века: передовые люди того времени осознавали обособленность своей эпохи и сами назвали свой век — веком «света», «просвещения». Подробную историю складывания этого термина в европейской мысли прослеживает историк культуры З. Лемпицкий в работе «Oświecenie» (*Geneza kultury Oświecenia*)¹. Содержание и объем значений, заключавшийся в термине «просвещение», разумеется менялись на протяжении века, однако, главный его компонент «просвещать», «нести знание» оставался без изменений; об этом свидетельствует определение, содержащееся в книге Коллонтая «Stan Oświecenia w Polsce»: «Oświecenie nadaje prawdziwą cechę wszystkim narodom wedle tej z dokładnością sądzić można o ich dowcipie, rządzie, obyczajach i charakterze.»² В Польше термин «просвещение» («oświecenie», варианты: «światło», «wiek oświecony» «ludzi światli, oświeceni», «Oświecać») употребляется значительно раньше общепринятой границы просветительства в польских условиях (об этом см. ниже). В публицистике передовых людей на-

¹ Zygmunt Łempicki, *Renesans, oświecenie, romantyzm*. W-wa, 1966, стр. 91—132.

² Hugo Kołłątaj, *Stan Oświecenia w Polsce*. BN *Seria I* nr 144. Wr. 1953, стр. 3. Определение понятия «просвещение» писателями и публицистами XVIII века встречается в следующих произведениях: М. Mendelssohn, *Co to jest Oświecenie*. — «Magazyn Warszawski» 1785, t. I., стр. 6—7. (перевод высказываний немецкого просветителя); J. Jezierski, *Niektóre wyrazy porządkiem abecadła zebrane*. . . W-wa, 1791 Ignacy Krasicki, *Pochwała wieku*. — (napisana w 1780—84,) — *Dzieła poetyckie*. (wyd. F. K. Dmochowski.) W-wa, 1802, t. 2.; «Monitor» 1780, nr 70. стр. 13.; *Manualik poczciwego człowieka czyli maxymy potrzebne we wszystkich krajach i czasach*. W-wa, 1774, стр. 96—98.; I. Krasicki, *Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki*. — *Dziela*. W-wa, 1878—1879, t. 3., стр. 118. — «masz waszmość wiedzieć, iż wiek nasz terazn iejszy jest to wiek oświecony: tak jak angielskie fraki i filozofia w modę weszła. . .»

чала XVIII века термин этот встречается весьма часто. Проекты экономического и политического развития Польши, идеи и возможности преобразований, связываемых с расширением просвещения, содержатся в работах Ст. Карвицкого (Dunin—Karwicki, *De ordinanda republica*, 1709) Яна Ст. Яблоновского (Skrupił bez skrupułu . . . , 1703), Ст. Лещиньского (*Głos wolny wolność ubezpieczający*, — *La voix libre du citoyen*, Paris, 1749) Станислава Понятовского, отца последнего польского короля (*List ziemianina do pewnego przyjaciela z innego województwa*, 1744) Гарчиньского (Stefan Garczyński, *Anatomia Rzeczypospolitej Polskiej*, 1750). Но только в 50-е годы XVIII века выступают политические деятели, публицисты и драматурги, осознающие, что они представляют новое умственное движение, создают новую систему художественных ценностей. К ним относятся С. Конарский, писатель Вацлав Жевуский, издатель периодического журнала, а впоследствии первый «драматург-просветитель», Франциск Богомолец. Программа «исправления» строя («паргаву»), связанная с организованной деятельностью сторонников реформ партией Чарторьских, оформляется лишь к 1761—1763 гг. в четырехтомном труде пиариста Станислава Конарского «*O skutecznym rad sposobie*». Как показали исследования последних лет, осознание лучшими представителями шляхты необходимости «*Nargawu Rzeczypospolitej*» охватывало довольно широкие круги шляхты и не только в столице. Открытие Э. Ростворовского, заключающееся в установлении подлинного автора публицистического трактата «*Głos wolny*», которым оказался литовский шляхтич Mateusz Białłozog, сторонник просветительских планов короля, является важным свидетельством того, что просветительские идеи получили в Польше распространение более широкое и значительно раньше, нежели принято считать. Оживление умственной жизни было связано с некоторым экономическим подъемом, который наблюдался в 1720-е гг. после длительного периода разрушительных войн. Европеизация «экономическая» шла в паре с политической. Новейшие исследования дают иное освещение и радикальных тенденций просветительского движения последних лет республики³. Но поскольку идеологи Просвещения успех своих проектов в преобразовании общественных отношений связывали с целенаправленной, организованной деятельностью государственной власти, королевского двора, постольку целесообразной представляется граница начала эпохи Просвещения — 60-е годы XVIII века. Уже в первые два года правления Станислава Августа возникают такие учреждения в области политической и культурной жизни, которые сохранились до конца века, пережив бурные годы радомской и барской конфедерации⁴. Пропаганди-

³ E. Rostworowski, Jakobin Józef Pawlikowski anonimowym autorem słynnych pism politycznych. — *«Kwartalnik Hist.»* 1956, z. 2.

⁴ В 1765 г. по инициативе короля был заложен новый монетный двор, начал выходить журнал «Монитор», 19-го ноября состоялось первое представление в польском театре, разрабатывался проект создания Академии изящных искусств. Особенности просветительского века так определяет Ростворовский: «*Właściwością stulecia są nie tyle wielkie odkrycia naukowe (pod tym względem znaczniejsze osiągnięcia miała druga połowa wieku XVII), ile upowszechnienie wiedzy, dydaktyka, propaganda. . . . Jest to wiek reform państwowych. . .*» — *Polska w epoce Oświecenia*. W-wa, 1971, стр. 13.

руемые периодическими журналами эпохи «postę», «filozofia», «światło» становятся и в Польше главными понятиями умственной жизни. Средством прогресса, по мысли просветителей, должно было быть возросшее самосознание «просвещенного гражданина», а одним из наиболее активных инструментов воспитания этого самосознания — театр, вначале как «школа нравов», а в 90-е годы как школа политической борьбы. Идеал «просвещенного человека», представленный сторонниками прогресса, королевской партии и осуществляемый в журналах, литературе, театре, модифицировался польскими условиями, и в конце 90-х годов в своем конкретном воплощении — деятельности радикального крыла участников Четырехлетнего Сейма — превзошел ожидания первого поколения просветителей, мечтавших вместе с королем превратить польских «сарматов» в просвещенных европейцев.

II

Гуманистические философские идеи французских просветителей получили свое радикальное воплощение во французской революции конца XVIII века. Об этой эволюции французской просветительской идеологии писал Плеханов: «Не должно впадать в преувеличения и воображать, будто французские просветители *сознательно* подготовляли революционную бурю, разразившуюся в конце XVIII века. . . Они от всей души предпочли бы мирную реформу насильственной революции. Это *мирное* настроение проповедников *революционных* идей ярко отразилось как в литературе, так и в искусстве. Буржуазная драма в образах выражавшая стремление третьего сословия, совсем не знает боевых мотивов. Нет таких мотивов и в живописи, например, в картинах Греза» (курсив Плеханова — Н. К.)⁵.

В Польше, однако, философские идеи с самого начала были непосредственно связаны с конкретными начинаниями просветительских реформ; абстрактные идеи «об отдаленных исканиях человечества» сразу же неразрывно сплелись с конкретной программой их осуществления, приобретая форму программы-минимум — «naprawę Rzeczypospolitej». — в начале распространения просветительских проектов и программы-максимум — в деятельности радикальной группы «Kuźnica Kołatajowska». Точнее говоря, теории польских просветителей служили идеологией для насущных потребностей общественных преобразований в стране⁶. Необходимость «поправления» республики ощущалась тем настойчивее, что Польша постоянно находилась под угрозой разделов. Вот почему наряду с общими для всего европейского просветительства чертами — распространением экономических теорий меркантилизма, влиянием «Духа законов» Монтескье, теории естественного договора Руссо, следует отметить особенность польской идеологии Просвещения, выразившуюся в национально-освободительных, патриотических тенденциях, направленных на спасение государства.

⁵ В. Г. Плеханов, *История русской общественной мысли*. кн. III. М., 1925, стр. 21.

⁶ Об этой особенности польской просветительской идеологии говорил в своем докладе З. Либера: «Cechą charakterystyczną polskiego Oświecenia jest jak najściślejszy związek filo-

Отсутствие в Польше развитого мещанства определило шляхетский по преимуществу характер просветительского движения. В связи с этим и лозунг французского радикального просветительства «свобода, равенство, братство» в Польше имел еще и свое особенное, специфическое содержание. «Свобода» и «равенство», принцип объединяющий внутри шляхетского сословия и обеспечивающий право политической жизни исключительно шляхте, был, по мнению просветителей, главным источником несчастий Польши, политической анархии. Вот почему так многозначен термин «свобода», «патриотизм» в эпоху польского Просвещения. Защиту шляхетских привилегий, а потому консервативное содержание, заключал он в программе барских конфедератов в 1768—1772 гг., «wolność ojczystą» и политическую «gówność stanów» означал он в программе патриотического лагеря Четырехлетнего Сейма. Впоследствии в своей концепции государственного строя Польши Иахим Лелевель разовьет мысль о том, что «свобода, равенство и братство», лозунг французской революции, был на протяжении нескольких веков основой польского государственного бытия, а в своей классической форме проявился в XVI веке, когда страной правил фактически «szlachecki gmin». Эти принципы считал Лелевель исконно присущими польскому национальному характеру. Под влиянием событий 1831 г. оценивая революционное движение во Франции, М. Мохнацкий писал о том, что в ситуации, когда повсюду «роялизм противостоял якобинизму», следует выделить польские республиканские традиции, так как именно в них содержится возможность более безболезненного пути в процессе будущего возрождения Поль-

zofii, literatury z życiem. Mniej się tu pisało o sprawach ogólnych, mniej interesowało się zagadnieniami abstrakcyjnymi, więcej natomiast mówiło się i pisało o potrzebie konkretnych reform w Polsce. Wynikało to ze stanu zagrożenia, w jakim kraj się znajdował oraz z przekonania, że kraj ten odzyska utracone znaczenie dzięki oświeconym reformom». — Z. Libera, Główne problemy kultury i literatury polskiego Oświecenia w świetle ostatnich badań. — *«Z polskich studiów slawistycznych»* W-wa, 1963, стр. 74. В этом отношении польское Просвещение сходно с первым периодом развития просветительской идеологии в России; в дальнейшем сходство это исчезает — ритм исторического развития в Польше, которой угрожали разделы, поневоле убыстряется. Вот как характеризует эволюцию восприятия просветительских идей в русском обществе Плеханов: «если во второй половине XVIII столетия затронутые западным влиянием русские люди уже гораздо меньше склонны были смотреть на просвещение с точки зрения той непосредственной практической (технической) пользы, какую оно может принести государству, то у них еще не могло быть серьезного интереса к философским теориям, провозглашавшим необходимость коренного общественного переустройства». — Плеханов, указ. соч., стр. 27. Затем Плеханов говорит о политическом равнодушии просветителей — «русский вольтерьянец часто был совершенно равнодушен к политике» — там же. Собственно и в польской жизни наблюдается процесс углубления в восприятии французской просветительской идеологии. Е. Жадковска, проследившая историю влияния Дидро и «Энциклопедии» на польское Просвещение, установила, что в период 1764—1780 гг. польские просветители черпали из «Энциклопедии» обильно, но хаотично и случайно, в то время как после 1780 года «myśl filozofów francuskich odegrała rolę bodźca, sprzyjającego rozkwitowi polskiego Oświecenia. W tym ostatnim okresie *Encyklopedia* i pisma Diderota służą jako autorytet w rozstrzygnięciu sporów literackich i teatralnych...» — E. Rządowska, *Encyklopedia i Diderot w polskim Oświeceniu*. W-wa, 1955, стр. 5-

⁷ F. Bronowski, Idee demokratyczno-republikańskie we francuskiej i polskiej myśli historycznej doby Oświecenia. — *«Zeszyty Naukowe Univ. Łódzkiego»*, ser. I. z. 21 (1961).

ши⁸. Но только в интерпретации просветителей, созданной уже в первые десятилетия XIX века, а затем в многогранной деятельности романтиков термин «свобода» начинает охватывать все сферы свободы: общественной, политической, религиозной, интеллектуальной и нравственной⁹.

Особенно сложным был в Польше процесс освобождения нравственности от религии. Первые реформы в сфере образования в духе просветительских идей проводились в Польше преимущественно духовенством — орденом пиаристов и иезуитов: первым «просветителем», использовавшим сцену в целях воспитания молодежи в духе просветительской идеологии, был пиарист Конарский; издателем просветительского журнала «Монитор» и первым профессиональным комедиографом — иезуит Франчишек Богомолец. Религиозные противоречия в самой Польше, разжигаемые соседними государствами и вызвавшие вслед за обсуждением «sprawy dysydentów» в сейме гражданскую войну — радомскую и барскую конфедерации — способствовали сращению в сознании общества двух лозунгов: «защиты отечества» и «защиты веры». Об этой особенности польского общественного сознания писал в своих парижских лекциях Мицкевич: «Plekoć ogół narodu polskiego powstawał, sztandar narodowy niosła zawsze ręka kapłańska»¹⁰.

Религиозная лирика барских конфедератов еще и в эпоху романтизма служила образцом патриотической литературы. Эдукационная Комиссия сделала решительный шаг в разделении принципов нравственности гражданина от религии, но и в рамках программы Комиссии процесс этот не проходил безболезненно, так как подавляющее большинство деятелей Комиссии вербовалось из распущенного в 1773 году ордена иезуитов. Согласно учению Гельвеция, серьезная реформа нравственного воспитания предполагает такое же серьезное преобразование законов и сферы правления. В Польше педагогические реформы предшествовали политическим и общественным. И эта непоследовательность давала о себе знать уже в середине 80-х гг., в критике деятельности Комиссии. Такое смещение реформ во времени давало себя знать и в дальнейшем¹¹.

Тем не менее попытки отделения «нравственного» начала от религиозного наблюдаются уже в эпоху Просвещения. Ст. Сташиц писал о нравственном начале, объединяющем всех членов общества: «Społeczność jest jedną moralną istnością, której członkami są obywatele». Речь у Сташица идет о свойственной всем просветителям зависимости личного счастья человека от счастья и благосостояния всего общества, которая и являлась критерием «нравственности» гражданина, основой законодательства и воспитания. Для Нарушевича счастье, «нравственность» также означают разумный порядок и всеобщее благо:

⁸ М. Mochnacki, *Być albo nie być*. — *Nowa Polska*, 1831, nr 29;

⁹ Плеханов считает, что «французская философия XVIII века главное внимание свое направляла на вопрос о том, каковы должны быть — с точки зрения разума — взаимные отношения между людьми, т. е. на вопросы общественного устройства. Этим она и заслужила название *освободительной*» — ук. соч., стр. 25.

¹⁰ А. Mickiewicz, *Dziela*, t. IX. стр. 177.

¹¹ Н. Hinz, *Od religii do filozofii. Z dziejów kultury umysłowej epoki Oświecenia*. W-wa, 1960.

«Gdy czyniąc sobie, drugim dobrze czynie,
Wtenczas się nazwę szczęśliwym jedynie»¹².

Но уже в творчестве Красицкого происходит эволюция взглядов на счастье: для него счастье — это внутренняя духовная гармония человека, достигнуть которой можно лишь благодаря сознательному объективному отношению к общественным делам и чувству меры во всех устремлениях человека:

«I w tym co jest i co czeka
Mierność jest szczęściem człowieka»,

и далее: «Szczęśliwy taki, który wznieść się może
Nad to, co szkodzi, lub dopomoże»¹³.

В лирике Князьнина счастье понимается как удовлетворение всех желаний человека; осуществление этих мечтаний человека возможно, однако, при осуществлении в идеальном мире главных нравственных принципов — правды, спокойствия, справедливости, а также возможности полного познания человеком своей личности, выявления ее глубинной сущности, освобождения ее от всего наносного, что вынужден человек принять в несовершенной, неразумной действительности. Но и Князьнин не выходит за рамки просветительской утопии (и в этом расходится с концепцией Руссо). Ведь открытие глубинного, скрытого в обычной жизни смысла явлений возможно лишь при соотнесении его с постоянной, сложившейся системой ценностей, нравственных понятий. Такой системы польские просветители не выработали. Это новое понимание счастья, которое возможно в гармоническом утопическом государстве будущего, полнее всего развивает Красицкий в своем романе «Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki», второй его части, которая получила название «nirupańska utopia». Создание утопии, использованной в целях критики несовершенной современной действительности, отражает именно практическую направленность идеологии польского просвещения. Этические проблемы, так же как и философские трактаты, политические проекты, служили философско-идеологическому обоснованию практической деятельности просветителей. Романтики перенесли проблему «нравственности» в сферу национально-патриотической идеологии, лишив ее, с одной стороны, обобщающего общественно-политического содержания, свойственного эпохе Просвещения, а с другой — конкретизировав для различных сословий общества. Мысль о заимствованном характере просветительского дви-

¹² A. Naruszewicz, *Szczęśliwość*. — *Dzieła*, t. 1—2. W-wa, 1778. Проблема нравственного начала и счастья в традиции европейской литературы Просвещения разработана подробно в монографиях: R. Mauzi, *L'idée du bonheur dans la littérature et la pensée françaises au XVIIe siècle*. Paris, 1960; R. G. Saissalin, *Taste in Eighteenth Century in France. Critical Reflections on the Origins of Aesthetics or an Apology for Amateurs*. New York, 1965.

¹³ Ignacy Krasicki, *Mierność, Szczęśliwość*. — *Dzieła poetyckie*. W-wa, 1802, t. 2.

жения в Польше, получившая распространение в теориях романтиков и большинства позитивистов, в конкретных исследованиях выразилась в изучении влияния на польское Просвещение французской философии, литературы второй половины XVIII века. Признание универсалистского, космополитического характера просветительского движения в Европе также приводило к нивелированию национальных особенностей просветительства. Убеждение в необходимости дифференцированного подхода при изучении культуры Просвещения в различных странах высказал уже З. Лемпицкий: «Przy całej jednolitości zasadniczych poglądów wykazuje przecież kultura oświecenia na gruncie różnych charakterów narodowych pewne dość znamienne różnice. Indywidualizacja narodów postępuje oczywiście z biegiem dziejów. Oświecenie przy całej swojej tendencji unitarystycznej jest bardziej pod tym względem wielobarwne, niż renesans, chociaż dopiero przy romantyzmie pomimo jednorodności zasadniczych tendencji występuje ta różnorodność w całej pełni. Stąd też przy rozważaniu Oświecenia wskazanym jest śledzić nie tylko jego rysy ogólne, ale i cechy indywidualne, które się wytworzyły u rozmaitych narodów współdziałających w tym ruchu»¹⁴.

Связи польской культуры с течениями европейской мысли второй половины XVIII века тесны и многообразны. Это были и контакты интеллектуальные (большинство представителей первого поколения просветителей училось в заграничных университетах) и личные (многочисленные путешествия за границу, деятельность иностранных ученых в Польше: преподавателей Корпуса Кадетов, переписка с авторами учебников, написанных по заказу Эдукационной комиссии). Ошутимее всего, однако, эти связи в области литературы, театра, живописи, архитектуры. Обширная переводческая деятельность польских просветителей, издание морально-дидактических журналов по образцу английской и французской нравоучительной публицистики, иностранные группы актеров, сыгравших важную роль в развитии национального актерского ремесла и, наконец, деятельность иностранных мастеров живописи (Баччиарелли, Каналетто), архитекторов (Фонтанна, Мерлини) в Варшаве — все это вместе способствовало оживлению интеллектуально-художественной атмосферы в Варшаве, преодолению «сарматизма», «европеизации» польской культуры. Большинство этих начинаний было связано с меценатом королевского двора, положительное значение которого осознавали современники. Красноречиво свидетельствует об этом такое, например, посвящение комедии Станиславу Августу:

«Tetarum polskie dla tego celu
Mieć chciałeś, Królu, by obyczaje
Poprawić; teatr przestrogi daje,
Z których korzystać może dość wiek.
Ten cel w niektórych żądzę zapalił
I do pisania umysł zachęcił;
Niejeden już swą pracę poświęcił,
Dość na tym mając, że Król pochwalił»¹⁵.

¹⁴ Z. Łempicki, *Reneans, Oświecenie, Romantyzm*. стр. 92.

¹⁵ St. Kublicki, *Na postrachu wszystko się skończy*. Komedia. W-wa, 1780, стр. 6—7. (Fragment dedykacji St. Augustowi). Интересным документом, показывающим, какое значение

III

Уже в конце XVIII в. возникает труд, явившийся предшественником «бытописательского», синтетического направления в польской истории культуры. Речь идет о мемуарах Китовича «Opis obyczajów za panowania Augusta III»¹⁶. Как полагает исследователь жизни и творчества Китовича, Р. Полляк, «Описание» возникло в главных своих чертах до 1788 г., вероятнее всего в 1779—1788 гг. Именно в это время (1780—1785) выходила частями «Historia narodu Polskiego» (Panowanie Piastów; Panowanie Węgrów) написанная, Нарушевичем знаменитым сатириком, издателем журнала «Zabawy Przyjemne i Pożyteczne» и участником литературных обедов, созываемых королем («obiady czwartkowe»). История Нарушевича, создаваемая по инициативе и проекту короля¹⁷, была доведена лишь до эпохи правления Ягеллонов, тем более ценным является труд Китовича, воссоздающий период, который непосредственно предшествовал правлению Станислава Августа и большинству представителей первого поколения «просвещенных» напоминая о времени их собственной молодости, тех «сарматских» обычаях, против которых они теперь боролись, поддерживаемые меценатом короля¹⁸.

придавали люди искусства меценатству короля и магнатов, является описание Богуславским театрального занавеса в частном театре гегмана Бранишкого в его дворце в Белостоке, выполненного художником Мирисом. Восхищение Богуславского этим произведением живописного искусства заканчивается похвалой вельмож, покровителей выдающихся творцов XVIII века. — Bogusławski, Dzieje Teatru Narodowego, стр. 200—201.

¹⁶ Jędrzej Kitowicz, Opis obyczajów za panowania Augusta III. Oprac. R. Pollak. Wyd. drugie, zmienione, tekst po raz pierwszy w całości. W-wa, Ossolineum, BN Ser. I. nr 88.

¹⁷ Обширная корреспонденция между Нарушевичем и королем в период работы первого над историей польского народа собрана в томе: Korespondencja Adama Naruszewicza 1762—1796. Z papierów po Ludwiku Bernackim uzupełnił, opracował i wydał Julian Platt. W-wa, Ossolineum, 1959. Приведем фрагмент из письма короля: «Już WPan tych świetnych sukien masz piękny zbiór, ale nierównie większy mieć będziesz, gdy te dzieło, dobrej, rzetelnej i roztropnie pisanej historii polskiej, do której Cię zagrzewam, wykonasz. Pełen jestem ufności, że i z własnego przeświadczenia, iż to będzie rzecz dla narodu naszego użyteczna, i z powołnego też dla mnie przywiązania swego WPan w tej rozpoczętej pracy ochoczo *et indesistenter* postępować będziesz ku wielkopomnej sławie swojej. . .» — ук. соч., стр. 69.

¹⁸ Оригинальным документом, освещающим отношение короля к «сарматским» обычаям являются его дневниковые записи, сделанные еще в то время, когда он не был еще и литовским польником. В 1752 году Станислав Понятовский принимает участие в сеймике, чтобы получить звание посла от ломжинского воеводства. Заранее было известно, что сейм будет сорван, но для приобретения права посла на сейм будущий король был вынужден «nadszakać kilku setkom ludzi, którzy wprawdzie z urodzenia mogli się nazywać szlachtą posesjonatami, ale z których połowa zaledwie umiała czytać, a daleko większa część służyła dawniej lub obecnie pozostawała na usługach u tych samych magnatów, którzy ubiegali się o ich wota dla siebie albo dla swoich dzieci. Trzeba było przed sejmikiem kilka dni z rządu rezonować od rana do nocy, zachwycać się ich kiepskimi dowcipami, podziwiać ich brednie, a nade wszystko ścisnąć ich brudne, zawszone

В 1775 году был создан Нарушевичем «Меморыял względem pisania historyi Narodowej» (опубликованный впервые лишь в 1824 году), в котором он изложил метод исторического труда и проблематику историко-культурных исследований. Он считал необходимым представить общественно-экономические отношения и просвещение страны, включая в него «обычаи страны, характер времени и людей»: «Do objaśnienia tego punktu służyć powinno to wszystko, cokolwiek do obrządków i ceremonii tak świeckich jako duchownych przynależy. Takie są opisanie inwestytur, ustanowienia trybunału, kreacji i obrzędów orderowych, wjazdów publicznych na magistraty, koronacje królów, ich ceremoniału podczas widzenia się z postronnymi monarchami, ślubów, pogrzebów, igrzysk, tudzież innych festynów publicznych. Przy tym, jaką u nas miały gradacją mody, aparenceyje w sukniach, pojazdach, dworach i budowaniu»¹⁹. Материалом для изучения «народных обычаев» должны были также служить, по Нарушевичу, произведения живописи и скульптуры. Как программа, включающая в историю культуры быт, моды, празднества и забавы, организацию научной жизни²⁰ проект Нарушевича был необычайно современным. К осуществлению его подошли польские историки культуры — Лозинский, Брюкнер, Шайноха²¹ в 30-е годы XX века. Но первой попыткой практического осуществле-

особы; на вытchnienie trzeba było dziesięć albo dwadzieścia razy konferować z matadorami powiatowymi, to jest wysłuchiwać pod osłoną największej tajemnicy szczegółów ich drobnych kłótni domowych, uwzględniać ich obopólne zawiści, wstawiać się za promocją ich na urzędy państwowe, układać się z nimi, ile i któremu z wielce szlachetnie urodzonych wyborców trzeba dać gotówki, wreszcie wypadało jeść z nimi śniadania, obiady, podwieczorki, wieczery za stołami równie brudnymi jak licho obsługiwanyimi.» — *Pamiętniki króla Stanisława Augusta*, t. I., cz. 1, W-wa, 1915. Przekład polski W. Konopczyńskiego., стр. 21.

¹⁹ А. Нарусzewicz, *Historyja narodu polskiego*. T.I., cz. 1. W-wa, 1824, стр. 16.

²⁰ О значении этой программы в польской историографии см.: S. Kościalkowski, *Historiografia polska w dobie Naruszewicza i jego szkoły*. Wilno, 1937; М. Н. Сережский, *Розwój nowoczesnej myśli historycznej od Oświecenia do czasów najnowszych*. — «*Wiedza i Życie*», 1947, nr 11; К. Тымieniecki, *Zarys dziejów historiografii polskiej*. Kr. 1948. H. Barycz, *Rozwój historii oświaty, wychowania i kultury w Polsce*, Kr. 1949; М. Н. Сережский, *Zarys historii historiografii polskiej*. Cz. 1. Łódź, 1954. О том, как широко понимал Нарушевич организацию научной жизни, позволяет судить следующий фрагмент мемориала: «А со się тyczy nauk, wiedzieć ma pisarz szczególnie opisy przywileje, powinności akademii, szkół, far, życia, dzieła i nagrody ludzi uczonych, wprowadzenie i nadawanie duchowieństwa z powołania swojego dla nauki i oświecenia ziomek, dobroczynnością, królów, miast i prywatnych obywatelów utrzymywanego, skąd by mógł poznać jako u nas nauki, rękodzieła, przemysł, porządek, bogactwa wzrost brały lub słaby i upadali» — Нарусzewicz, ук. соч., стр. 14.

²¹ См. об этом: Н. КИРАЙ, Социогичесей и искусствоведческий методы изучния культуры польского Просвещения в период 1918—1939 гг. — „*Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis*”. Sectio Philologica moderna. t. III. Вр., 1972, стр. 89—95.

ния ее, причем без обнаруженного непосредственного влияния «Мемориала» Нарушевича, были мемуары Китовича²². Произведение это занимает особое место в польской и европейской историографии того времени. Оно отличается строго продуманной композицией: отдельные главы ее посвящены различным сословиям общества, образующим в данный период народ в целом. Обычаи соотнесены с отдельными социальными группами общества, и описание их дополнено фактами материальной культуры этих групп. В особую главу выделено описание жизни школ, студенчества, их игр и развлечений. Более сдержан Китович в описании нравов в среде духовенства монастырей, но говоря о духовенстве светском, городских судах, военном сословии, дворянах и шляхте на службе у магнатов, нравах в провинциальных сеймиках, традиционных сельских празднествах и масленичных забавах — Китович необычайно подробен и достоверен, создает многообразный облик эпохи. «Описание» Китовича, хотя и основывается на его собственных наблюдениях и переживаниях, записанных уже в старости, выгодно отличается от тех многочисленных мемуаров представителей шляхты, которые писали, чтобы оправдать свое «трудолобивое ничегониделанье». О форме своих мемуаров следующим образом пишет Китович: «Genealogii zwyczajów nie wywodzę, tylko jakie były pod panowaniem Augusta III, opisuję, dotykając kiedy niekiedy początków, ile mi się słyseć o nich dostało»²³.

«Szlachcic starej daty», воспитанный в традициях сарматизма и активно их защищавший в период Барской конфедерации, он выступает против либертинизма и деизма, осуждая книги «безбожников» Вольтера, Руссо и Спинозы, высмеивает начинания пиаристов и их реформу театра, считая, что именно это и приводило к «порче» нравов, отказу от религии, а в конце концов и к деизму: «Księża Pijarowie — prawda — konwiktorom swoim dawali tak jak i w publicznych szkołach nauki duchowne, inspirowali im pobożność przez zwyczajne dla młodzieży exercitia, spowiedzi miesięczne, egzorty w oratoriach, ale w pewnych czasach wyprawiali komedye, do udawania których chłopców piękniejszych za panny, mniej gładszych zaś albo żwawszych za kawalerów przebierali, potem w każde ostatki zapustne prowadzali swoich konwiktorów do jakiej kompanii panien z umysłu na to zebranych, z którymi oniż konwiktorowie rozmaite tańce na kształt popisu z nauki odprawowali. A tak jeżeli im cokolwiek nabili głowy pobożnością przez nauki duchowne w oratoriach, to wybili w cale na komedjach przez naśladowane umizgi do kobiet i przez prawdziwe zaloty zapustne i

²² О значении мемуаров как исторического свидетельства писал Нарушевич: «Prócz druku, wyszukać i poradzić się należy różnych rękopismów, a te są dwojakiego gatunku. Najprzód od prywatnej współczesnych ludzi ciekawości zostawione, bo w nich częstokroć się znajdują szczególniejsze rzeczy działanych opisy, w których pióro nie bojąc się publicznej w druku cenzury i nienawiści, swobodniej i okoliczniej zdarzone przypadki określa, a ich sprawców charaktery z prywatnych pobudek wynikające, istotniejszą piętnuje cechą» — Naruszewicz, ук. соч., сор. 10.

²³ Китович, ук. соч., стр. 559.

tańce z kobietami; co wszystko po trosze skłaniało do rozwiązłości obyczajów, a rozwiązłość do pogardy religii, pogarda zaś do deizmu»²⁴. Китович сожалеет о снесении ордена иезуитов, связывая с этим упадок образования в стране. Не случайно и труд начинается с описания быта духовенства, для Китовича именно это сословие занимало первое место в сословной иерархии. Новой моде, стремлению Станислава Августа «примирить» сарматизм и просвещение, сделать из сарматов «галантных» европейцев, противопоставляет Китович свою привязанность к польским традициям: «Ja biorę w rękę kontusz, jako rodowity strój polski i tym będę bawił Czytelnika mego»²⁵. Китович намеревался представить шляхту в ее расслоении, но сосредоточив все свое внимание на детальном описании мелочей быта той эпохи, не выполнил своего обещания, хотя и в этих мелочах можно обнаружить отличия социального положения этих групп: пишет Китович о недостойном, нередко комическом положении, в котором оказываются представители «мелкой шляхты» на службе у магнатов, иронически пишет о вельможах и панегирической литературе им посвященной. Но эта критика шляхты вряд ли дает основание причислить Китовича, биография которого содержит целый ряд не выясненных до настоящего времени фактов, к мещанству. Спор о происхождении Китовича, а в связи с этими о направленности его критики в «Описании» имеет длительные традиции²⁶. Наиболее обширный материал на эту тему собрал Микульский, полагающий, что как имеющиеся в нашем распоряжении данные о биографии автора, так и текст Китовича «nie daje jasnej podstawy, by jego krytykę antyszlachecką odczytywać jako solidarność społeczną z mieszczaństwem. Dla mieszczan ma Kitowicz pogardliwe określenie ‚mieszczankowie‘, co więcej, mieszczanków pospolicie nazywano łyczkami’. Nie ma w tym poczucia wspólnego losu społecznego! Treści mieszczańskie *Opisu obyczajów* pojawiają się przygodnie i w charakterystycznym układzie: tylko bardzo rzadko autonomicznie, traktowane z tą kitowiczowską szczegółowością opisu antykwarycznego»²⁷.

Принцип разделения на главы, посвященные отдельным сословиям, не мешает Китовичу там, где это необходимо, отметить явления, свойственные одно-

²⁴ там же, стр. 19.

²⁵ там же, стр. 477.

²⁶ Wł. Konopczyński, *Konfederacja Barska*. Lwów, 1934, стр. 8—9; К. W. Wójcicki, *Encyklopedia Powszechna*, t. XIV, стр. 720—725; М. Morelowski, *W sprawie pochodzenia Andrzeja Kitowicza*. — «*Pamiętnik Literacki*», 1953, z. 2, 252—257; А. Zajączkowski, *O pochodzeniu Kitowicza*. — «*Pamiętnik Literacki*», 1952, стр. 1040—1045. — Эти исследователи в более или менее категорической форме придерживаются концепции шляхетского происхождения Китовича, в то время как St. Krzemiński (*Wielka encyklopedia powszechna ilustrowana*, t. XXXV—XXXVI, стр. 558) пишет: «Mieszczanin zapewne z pochodzenia... ale z przekonania i po części ze stosunków ziemianin-szlachcic starej daty» и тем самым выражает компромиссную точку зрения, объясняемую быть может отчасти и с тем, что Китович в тексте своего «Описания» уделяет сравнительно большое внимание пограничным явлениям в культуре и быте сословий.

²⁷ T. Mikulski, *Z historii i źródeł Kitowicza*. — In: *Ze studiów nad Oświeceniem*. W-wa, 1956, стр. 143—144.

временно двум сословиям. Момент очень важный, свидетельствующий о том, что с одной стороны, процесс дезинтеграции шляхты происходил в жизни значительно быстрее, нежели находил отражение в сознании самой шляхты, так упорно защищавшей свои привилегии, а с другой, — что модель шляхетской культуры оказывала определяющее влияние на формы идеологии складывающегося класса буржуазии. Об этом явлении мы будем говорить подробнее, здесь только отметим, что обычаи богатого мещанства рассматриваются Китовичем в одном разделе с обычаями шляхты, «простые дворянки» и «сельские женщины» появляются в одной и той же группе, объединенной по экономическому принципу, а не сословному. Возможности для непосредственного сближения сословий предоставляли народные гулянья — «geduty» в Варшаве, «miejskie kompanie» в Познани.

Полнота, с которой в «Описании» представлено польское общество времени правления Августа III и начала правления Станислава Августа, придает этому труду характер «encyklopedii rozumowanej kultury materialnej», и объясняет интерес к нему историков, языковедов, историков литературы.

Определяя метод описания быта и нравов в мемуарах Китовича, Р. Поляк писал о нем как о «типологическом»: «Oto setne i tysiacyjne drobne spostrzeżenia, relacje wiarygodnych osób, czerpane z żywej rzeczywistości, sprowadza Kitowicz niejako do wspólnego mianownika i odrzucając to, co nieistotne, wydobywa rysy najczęściej się powtarzające. Jest to niewątpliwie metoda wybitnie typologiczna, ujmująca zjawiska powtarzające się w kształty obrazów syntetycznych, pełnych życia i ruchu, tu i owdzie przetykanych przykładami. Nie opisuje więc autor poszczególnych konkretnych zdarzeń, nie sieje obficie nazwiskami i datami jak kronikarz, bo w ten sposób nigdy celu swego by nie osiągnął opisu obyczajów by nie nakreślił, ale w mocnym oparciu o fakty rzeczywiste, naocznie i wielokrotnie dostrzeżone — szkicuje typologię życia obyczajowego»²⁸.

Несколько нарушая хронологический аспект рассмотрения историко-культурных концепций, остановимся на работе Гуго Коллонтая «Stan Oświecenia w Polsce» (1750—1764), которая тематически примыкает к рассматриваемой выше истории нравов Китовича. Коллонтай, подобно Китовичу, рассматривает период правления Августа III, последние годы королей саксонской династии — 1750—1764. гг. Многогранная активная политическая и реформаторская деятельность Коллонтая в 70—80-е годы послужила материалом для его обобщений. Назначенный инспектором Краковской Академии Коллонтай провел огромную работу по организации реформ с целью изгнания из знаменитого в XVI в. университета устаревших схоластических дисциплин. Именно в период 1776—1787 оформляются взгляды Коллонтая на проблемы истории образования и науки в Польше. Материалы, собранные им в этот период, составили четырехтомный труд «Acta wizyty Akademii Krakowskiej». Труд этот погиб еще при жизни автора, когда он находился в австрийском заключении в Оломоуце. После создания в 1801 году Общества друзей науки (Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk),

²⁸ Kitowicz, ук. соч., стр. 14.

для которого Станислав Сташиц написал проект изучения истории Польши, Коллонтай вновь заинтересовался историей науки и образования и, как полагает исследователь творчества Коллонтая Я. Гулевич, в 1803—1810 гг. и был создан «*Stan Oświecenia w Polsce*»²⁹. Об интересе Коллонтая к проблемам истории в этот период свидетельствует и сохранившийся в Библиотеке Польской АН в Кракове фрагмент труда «*O początku ludów słowiańskich*», а также корреспонденция с Т. Чацким, братьями Яном и Енджеем Снядецкими, акты и проекты, касающиеся организации образования³⁰, известное письмо к книгоиздателю Й. Маю от 15 июня 1802 года, содержащее программу создания истории польского народа, одним из пунктов которой было требование «*dySSERTACJI historycznej i wychowania w Polsce, o naukach wyzwolonych, o guście w ogólności i w szczególności*»³¹.

О том, как широко понимал Коллонтай свою задачу историка, позволяет судить «*Prospekt do napisania dzieła pod tytułem Pamiętniki Historyczne do objaśnienia dziejów mego czasu służące*», который по замыслу автора должен был состоять из 21 книги и охватывать историю политики, экономики и культуры (последнюю в понимании, близком «Мемориалу» Нарушевича). Труд этот предполагал отразить 46 лет польской истории от первых трактатов семилетней войны до последнего раздела Польши. Причем история различных сословий, государственно-правовых учреждений Польши и Литвы, деятельность министров и короля была в проспекте представлена на широком фоне общеевропейских событий. Из всего задуманного плана Коллонтай осуществил лишь книгу первую и третью: «*Stan Oświecenia w Polsce*», «*O stanie Kościoła polskiego katolickiego i wszelkich innych wyznań*». Книгу вторую он предполагал посвятить обзору «изящных искусств» в Польше, архитектуре, живописи, скульптуре, музыке, театру. Коллонтай был не только ценителем изящных искусств (как пишет Ян Снядецкий, первый биограф Коллонтая, «*Piękne sztuki, osobliwie budownictwo i malarstwo lubił aż do zapału*»³²), но и известным меценатом. Осуществление этой книги было бы несомненно важным трудом по истории польского искусства эпохи Просвещения. План четвертой книги о крестьянском сословии включал главы не только о правово-экономическом положении его в Польше, но и все те стороны быта, которые сто лет спустя определил Ян Быстронь в сво-

²⁹ Hugo Kołłątaj, *Stan Oświecenia w Polsce w ostatnich latach panowania Augusta III (1750—1764)*. Oprac. Jan Hulewicz. W-wa, Ossolineum, 1953. *BN Ser. I* nr 144, стр. XXV.

³⁰ *O początku ludów słowiańskich*. — Автограф В-ки PAN Kr. sygn 217. Listy w przedmiotach naukowych. Korespondencja listowna z T. Czackim, wizytatorem nadzwyczajnym szkół w guberniach wołyńskiej, podolskiej i kijowskiej..., przedsięwzięta w celu urządzenia instytucji naukowych i pomnożenia oświecenia publicznego w trzech rzeczonych guberniach. Z rękopismu wydał F. Koj-siewicz. t. 1—4. Kr. 1844—1845.

³¹ Hugo Kołłątaj, *Wybór pism politycznych*. Oprac. B. Leśnodorski. W-wa, 1952 BN I, 140; Hugo Kołłątaj, *Wybór pism naukowych*. Oprac. K. Opalek. W-wa, 1953, стр. 422.

³² Jan Sniadecki, *Żywoć literacki m. Kołłątaja*. Wilno, 1814. Wyd. H. Barycz. W-wa, 1951 BN I, 136.

ей монографии «Kultura ludowa»³³. В отличие от Китовича, не ставившего себе целью проанализировать, документировать, обобщить свои наблюдения, Коллонтай полон сознания своей роли реформатора, дает такие выводы и дидактические поучения, которые характеризуют главные труды польских просветителей. Стремясь как можно полнее представить состояние Просвещения в Польше, он композиционно делит свою работу на четыре части соответственно основным проблемам, рассматриваемым в них: проблема польского литературного языка, являвшаяся и вообще главной проблемой в культурно-пропагандистской деятельности просветителей; описание состояния образования и воспитания в Польше, составляющее основную часть труда; развитие польской научной жизни; влияние науки и просвещения на общественную и частную жизнь граждан. Все эти проблемы рассматривал Коллонтай в тесной связи с развитием общественно-политических факторов эпохи.

История «рода человеческого», история образования, в спасительную силу которого Коллонтай, так же как и Сташиц неуклонно верил, практическая философия, особенно этика, история искусства и фольклор в современном понимании термина — вот те проблемы, которые Коллонтай возвел до уровня научного исследования, выработав при этом на редкость ясный, отличающийся литературными достоинствами стиль научного изложения. Эта сторона его труда была также формой борьбы за развитие национального языка, в которой как теоретик Коллонтай не сыграл такой значительной роли, как Красицкий, Езерский, но несомненно, что своим творчеством он способствовал обновлению ренессансных традиций прозы и созданию школы «ученых беллетристов». Об этой его роли писал Ян Снядецкий в упоминавшейся биографии Коллонтая: «W dziele Kołłątaja język wszędzie czysty, żadnym przekręcaniem słów nie dręczony ani znieważony niepotrzebnym nowych kleczeniem, tok rodowity i szczeropolski; styl poważny, płynny i harmonijny, ciągnący ozdobę ze zdań i myśli porządnie i jasnie wywiedzionych . . . trafić nawet można w pismach Kołłątaja na tę szacowną cechę talentu, którym zadziwia Krasicki — kiedy

³³ В письме к книгопродавцу Й. Маю Коллонтай писал о необходимости изучать обычаи, нравы и обряды польского народа, причем не только шляхты, но и крестьянства: «Doskonałe dzieło o obyczajach, zwyczajach i obrządkach narodu polskiego. O tej materii pisano już przed nami i dzieła takowe są dobrze spomniane od obcych. Ale po większej części dzieła te zawierają tylko obyczaje szlachty. Miasta wielkie i ludzie majątni mało się od siebie różnią w całej Europie; w ich obyczajach znajduje się prawie powszechna jednakość, co jesteśmy winni po większej części jednej religii i jednakej edukacji. Chcąc atoli szukać w obyczajach naszych wiadomości o tradycjach początkowych i podobieństwa do dawnych ludów, trzeba nam poznać obyczaje polstwa we wszystkich prowincjach, województwach i powiatach» — Hugo Kołłątaj, *Wybór pism naukowych*, стр. 420—421. А вот как определяет задачу комплексного изучения «народной культуры» Ян Быстрынь: «Jeżeli więc chcemy zrozumieć dokładniej tzw. kulturę ludową, a więc kulturę ludu, w danym wypadku ludu polskiego, to oczywiście musimy zbadać, jakie są czynniki, tworzące i podtrzymujące tę kulturę. Nie możemy zbliżyć się do poznania kultury ludowej, jeżeli nie poznamy tych autorytetów, które tę kulturę tworzą i podtrzymują. Nie wystarczy znać pieśni czy opowiadania ludowe, obrzędy czy zwyczaje, technikę czy sztukę plastyczną ludu; musimy zanalizować kulturę ludową jako całość, jako zespół wciąż zmiennych różnorodnych treści i poznać ich mechanizm» — Jan Bystryń, *Kultura Ludowa*. W-wa, 1947, стр. 27.

pojęcia wielkie i głębokie objawia w sposób tak prosty, że im nadaje postać pospolitego rozsądku... Pokazało się w doświadczeniu, że język polski w swym rodowitym kroju nie da się przewyższyć żadnemu inszemu do wyłożenia najgłębszych myśli i wynalazków»³⁴. И в том, что Коллонтай осознавал определяющее влияние развитие национального языка как первоосновы национальной культуры, убеждает раздел о языке, помещенный в начале трактата о состоянии образования в Польше. Развитие польского языка рассматривается в историческом плане и в тесной связи с теми последствиями, которые «закрепление» национального языка иностранным принесло для польского общества. Введение во Франции обучения в школах на родном языке считает Коллонтай большим завоеванием в культурном развитии Европы. Это означало лишение латинского языка его роли международного языка науки, так как он уже не был в состоянии отразить уровень развития точных и естественных наук. Элита, пользуясь латинским и французским языком, лишала тем самым широкие круги общества возможности участвовать в развитии национальной культуры, поскольку «nie mogły mieć przyzwoitego oświecenia w szkołach, nie mogły się tłumaczyć w swych potrzebach przed własnym królem i jego ministrem, nie mogły zrozumieć wyroków sądowych, bo w szkołach dawano nauki po łacinie, bo król i jego minister nie rozumieli po polsku, bo sądy odpowiadały stanom w swoich dekretach po łacinie»³⁵. Как язык мог разъединять сословия общества, так, по мысли Коллонтая, использование польского языка в качестве государственного языка должно было способствовать объединению и полонизации восточных районов Польши, украинских и литовских земель. Еще в полемических «Письмах Анонима» изложил Коллонтай принцип насаждения польских школ на Украине³⁶, а позднее, в письме к Й. Маю, Коллонтай обратил внимание на необходимость целостного изучения культуры всех польских земель.

Условием для монографического труда по истории Польши и ее культуры Коллонтай считал критическое издание памятников старины. В названном письме ссылался Коллонтай на опыт Нарушевича, который жаловался в письмах к Станиславу Августу на недостаток источников или же их недостаточную обработанность³⁷. Коллонтай может более, чем кто-либо был призван для создания

³⁴ Jan Śniadecki, ук. соч., стр. 35.

³⁵ Kołłątaj, *Stan Oświecenia*... стр. 9. Подобным же образом писал Мицкевич в лекциях о славянской литературе: «Nigdzie nie było takiego przedziału pomiędzy ludem a warstwami oświeconymi. Kto tylko ze Słowian kształcił się, kto tylko ćwiczył swój umysł cudzoziemczal: warstwa oświecona doszła wreszcie do tego, że mówiła językiem obcym, różnym od języka ludu» — Adam Mickiewicz, *Dzieła*. W-wa, 1955, t.X, стр. 214.

³⁶ Hugo Kołłątaj, *Listy Anonima i prawo polityczne narodu polskiego*. W-wa, 1954, стр. 365—371.

³⁷ «Prócz niezmiernej bryły rzeczy do samej powieści historycznej należących, których opuszczając lub skracać powszechną historią piszącemu nie zdaje mi się, przydawać muszę częste krytyczne starożytności objaśnienia, poprawiać omyłki w autorach naszych chronologiczne, nie ufając ani Kadłubkowi, ani Długoszowi, a nawet czasem i wielkiemu Kromerowi, ile gdy mi promyczek jaki prawdy i w zagranicznych ramotach zabłyśnie» — Adam Naruszewicz, *Korespondencja*, стр. 94 (List do Stanisława Augusta od 12.X. 1777).

труда по истории польской культуры. Философ, экономист, педагог, юрист, историк — во всех этих областях он оставил заметный след. Многолетние занятия в заграничных университетах (в Вене и Риме) помогли ему стать одним из энциклопедически образованных людей своего времени. Позднее он был воспитателем целого ряда молодых ученых в Кракове, являясь компетентным авторитетом во многих областях науки. Со времени его пребывания в Риме зарождается у Коллонтая интерес к искусству. Он изучал живопись, архитектуру. В Риме же он познакомился с художниками Смуглевичем, Эстрейхером, архитектором Ст. Завадским. Влияние теорий Винкельманна, получивших большое распространение в Италии, ощущается в предпочтении Коллонтаем классицистической поэтики и его недоброжелательном отношении к искусству позднего барокко, которое было так популярно в Польше³⁸. Видимо именно в италийский период складывается убеждение Коллонтая о значительной роли изящных искусств в системе общественного воспитания. В начале 80-х гг. в Кракове Коллонтай даже пытался организовать Академию изящных искусств³⁹. С мыслью этой не расстался Коллонтай и позднее в период разработки проектов для системы общественного образования (1803—1806). Коллонтай проектировал создание особого лица изящных искусств, в котором основными предметами были бы архитектура, классы рисунка и живописи, гравирования, музыки⁴⁰. Но начало свое эти проекты берут в труде «*Stan Oświecenia w Polsce*», о котором исследователь наследия Коллонтая, историк В. Токаж писал, что сочинение это, выдержанное в духе Вольтера «*po zestawieniu z innymi źródłami nabiera wartości jednego z najgłębszych i najściślejszych opracowań stanu naszej umysłowości w XVIII wieku*». И далее, что Коллонтай имел «*zmysł historyczny*», которого не имели просветители⁴¹.

Вацлав Потоцкий (1761—1815), автор знаменитого романа «*Rękopis, znaleziony w Saragocie*», неутомимый путешественник, стремившийся свои исторические разыскания обогатить наблюдениями из жизни многочисленных стран, которые он посетил, в противовес доминировавшему в XVIII в. взгляду на историю как на «*magistra vitae*» обосновал тезис о том, что «*прошлое можно понять, только обдумывая настоящее*». Потоцкий является создателем научного славяноведения. Редкий эрудит, получивший образование в лучших европейских университетах того времени — Лозанне и Женеве — Потоцкий около 20 лет посвятил собиранию источников и материалов, касающихся истории Польши доисторического времени на общем широком фоне материальной культуры славянских племен. «*История польского народа*» Нарушевича не включала обозрения этого периода польской истории, таким образом, труд Потоцкого был задуман как дополнение истории Нарушевича. На протяжении десяти лет вышли три

³⁸ Kołłątaj, *Stan Oświecenia*, стр. 77.

³⁹ Zbigniew Rewski, *Zagadnienia sztuki w działalności Hugona Kołłątaja*. W-wa, Ossolineum, 1953, стр. 17.

⁴⁰ Hugo Kołłątaj *Korespondencja listowna z Tadeuszem Czackim...*, t. I, стр. 142—143, 177—179, 290.

⁴¹ W. Tokarz, Hugo Kołłątaj, — In: W. Tokarz, *Rozprawy i szkice*. W-wa, 1959, t.I, стр. 39.

основных работы, развивавших пионерскую для того времени мысль об автохтонном происхождении славянских племен (что подтверждено научными разысканиями последних лет): «Recherches sur la Sarmatie» (1789—1790); «Fragments historiques et géographiques sur la Scythie, la Sarmatie et les Slaves» (1796, vol. 1—4); «Histoire primitive des peuples de la Russie» (1802). Потоцкий особенно рассчитывал на успех своего последнего труда, но Варшавское Общество друзей науки, которое выбрало Потоцкого своим почетным членом, при повторном издании истории Нарушевича, не включило в нее работу Потоцкого, подводящую итоги его двадцатилетних исследований. Потоцкий болезненно пережил неуспех своей научной карьеры и с тех пор почти не занимался историей славянства. Все труды Потоцкого объединяет одна ведущая мысль, а именно идея историзма. В средних веках, в которых просветители видели лишь «варварскую эпоху», Потоцкий открыл исторически необходимый этап развития, соединявший древность с новым временем. В предисловии к сочинению по истории славянских народов он писал: «Сборник, который я предлагаю вниманию читателей, можно расценить как открытие нового исторического мира; факты из коих он составлен, относятся к истории всех славянских народов и почерпнуты из авторов, в большинстве теперь забытых». Универсальному единству, основанному на просветительском представлении о неизменной природе человека, Потоцкий противопоставил историческое единство человечества, состоящего из разнообразных и равноправных культур, предвещая культурно-исторические концепции романтиков. Европейский мир Потоцкий не рассматривал как модель всеобщего прогресса, но считал его законным наследником афро-азиатских цивилизаций. Мысль эта получила свое развитие в самых различных сферах исследования истории культуры: открытие христианских фресок X—XV вв. в Фарасе (Нубия) экспедицией польских археологов, возглавляемой проф. К. Михаловским, совершенно однозначно обосновывает взаимовлияние культуры итальянского Ренессанса и позднехристианской культуры Африки⁴², основные мысли «Структурной антропологии» Леви-Стросса приводят на память мысли, развитые в трудах Потоцкого⁴³. Однако, непосредственного влияния на формирование последующих концепций истории культуры в конце XVIII— начале XIX века работы Потоцкого не имели. Работы первого польского археолога и этнографа З. Доленги-Ходаковского развивались в известном смысле параллельно наблюдениям Потоцкого. Большое значение имела разносторонняя политическая деятельность Потоцкого в период Четырехлетнего Сейма, основанного в Варшаве «Вольную типографию», в которой печатались произведения, запрещенные тарговицкой цензурой⁴⁴.

Потоцкий был предшественником исторических воззрений романтиков, выдвигавших культ национальных исторических легенд и преданий, открывавших в эпохе в средневековья и Возрождения национальные черты, древнее народное

⁴² K. Michałowski, *Faras*. T. I—II. W-wa, 1966.

⁴³ Claude Lévi-Strauss, *Antropologia strukturalna*. W-wa, 1970. Wstęp: Bohdan Suchodolski.

⁴⁴ Bogusław Leśnodorski, *Polscy jakobini*. Karta z dziejów insurekcji 1794 roku. W-wa, 1969.

начало. Гердер в знаменитом «славянском разделе» своего труда «Идеи к философии истории», говоря о необходимости создания «полной истории славянского племени», называет «Recherches sur la Sarmatie par J. Potocki» в числе полезных исследований. Гердер так же, как и Потоцкий, считал, что не существует качественной разницы между культурными народами и Naturvölker, различие состоит лишь в уровне, на котором мы застаем данную культуру⁴⁵.

IV

Почти не было во второй половине XVIII века поэта и писателя, который не оставил бы исторического сочинения или историсофических рассуждений, вплетенных в философские трактаты или поэтические произведения. Игнацы Красицкий, Станислав Трембецкий, Адам Чарторьский, Франчишек Карпиньский в журнальных статьях, дневниках, письмах и оригинальных произведениях ставили вопросы культурно-исторического развития Польши в прошлом и современную им эпоху. Однако, из них не складывается оригинальная целостная концепция культурного движения Просвещения. После труда Коллонтая о состоянии просвещения в Польше синтетический очерк культуры второй половины XVIII века мы находим лишь в лексиконе Франчишка Езерского «Niekłóte wygazy porządkiem abecadła zebrane». Близкий сотрудник Коллонтая, активный защитник прав мещанства и крестьянства в период Четырехлетнего Сейма, полнее всего осуществивший в своей публицистике программу «Кузницы», Езерский в 1791 году издал энциклопедический словарь основных понятий эпохи Просвещения. «Stan Oświecenia w Polsce» Коллонтая, хотя и был написан в начале XIX века, является ретроспективным отражением духовного развития общества в начале правления Станислава Августа и задач, стоявших перед просветителями. В словаре Езерского нашли отражение все важнейшие стороны идейно-политической, бытовой и художественной культуры второй половины XVIII века, освещенные с радикальных позиций реформаторского лагеря. Публицистическая резкость и остроумие характеризуют стиль изложения, позволяя Коллонтаю в предисловии к лексикону сравнить писательскую манеру Езерского со стилем автора «Сентиментального путешествия» Стерна, переводчиком которого на польский язык не случайно был Езерский. Являясь сторонником программы-максимум в проведении общественно-политических реформ, Езерский острее, чем многие другие просветители, ощущал недостатки своего века. Уже само определение понятия «просвещение» лишено того оптимистического пафоса, который в XVIII веке неизменно сопутствует рассуждениям о «просвещенном веке», столетии разума: «Wieki wszystkie jeden względem drugiego co do użycia światła rozumu są jak młode panienki: każdej miłością własną zdaje się, że jest piękniejsza i miłsza od starszych kobiet. . . Jeden drugiemu wiek czyni naganę, a siły rozumu i błędy też same zawsze, tylko się odmieniają w swoim zażyciu. . . Wiek XVI miał w Polsce więcej ludzi doprawdy uczonych, a wiek nasz dzisiejszy ma natomiast mniej głupich, a to dlatego, że najwięcej odmian, wydarzonych obrotem rzeczy, widzieć się nam daje. W rzeczach religii,

⁴⁵Herders *Sämmtliche Werke*, Berlin, 1877—1913. 33 Bände.

polityce, w obyczajach, w rządach, w samym nawet przyrodzeniu odmiana albo niezwykłość pokazuje się, a zatem rozum, zdumiewaniem nowych rzeczy zajęty, nabywa zręczności w sądzeniu, śmiałości w twierdzeniu zdania... Chłop pod Krakowem, nie umiejąc fizyki, ale że był w przypadku uczucia trzęsienia ziemi, o trzęsieniu rozmawia; podobnie i szlachcic, nie wiedząc o prawach miast polskich, gdy czyta memoryały ich, królowi i sejmowi, zaczyna się nad tą ważną materią zagłębiać. I tak przypadki budzą rozum, a rozum rozbudzony, błyszcząc swoim światłem, wyrabia nazwisko oświeconego wieku»⁴⁶.

Термины «народ», «нация» представлены в словаре Езерского, в их современном толковании. Но определение народа находится в контексте важнейших сопутствующих ему понятий — родина, религия, свобода, патриотизм, национальный характер и национальные обычаи. Полемически направленные против господствующих предрассудков, консерватизма шляхты, определения эти являются одновременно и свидетельством самосознания эпохи на уровне обязывающих в то время «норм» и документом высокой политической культуры передовых людей Просвещения, к которым принадлежал и сам Езерский. Вот, например, как звучит определение «патриотизма», слова, которое в условиях борьбы многочисленных группировок и партий во второй половине XVIII века употреблялось в самых различных значениях: «Domyślać się zaś należy w wieku XVIII, że patryotyzm ma znaczyć wyobrażenie miłości ojczyzny... Ale gdzie temu patryotyzmowi przypatrzeć się można?... Patryotyzm w mojej ojczyźnie nie wydaje się, tylko w jakiejś zaraz przyłączonej postaci i przeto: patryota Moskal, patryota Prusak, patryota pieczeniarski, patryota przyjaciół jakiegoś dopiero patryoty, patryota arystokrata... Gdzież dopytać się patryoty w prawdziwej jego istocie, który by w potrzebie wyciągającej tego, następował sam przeciw sobie samemu dla dopełnienia publicznego dobra? Powierzchowne znaki nie są pewnymi przewodnikami prawdy: czapki patryotyczne z galonami zdobią patryotów i przystawiają rogi prawdziwe, gdy nakrywają głowę z zagarzonym rozsądkiem»⁴⁷.

Преклонение перед модой, распространившееся в XVIII веке, по мнению Езерского, отрицательно сказалось и на характере польского народа, поскольку мода является злейшим врагом «постоянства обычаев», без которого немислим национальный характер. Но и здесь из сферы нравственной Езерский переходит в политическую сферу, говоря, что такая, например, черта национального характера, как «Dyfidencja, tj. niedowierzanie, zatrzymanie ufności, podejrzliwość... w Anglii jest ruchem interesów krajowych, we Francji najczęściej się kończy powieszeniem choćby niewinnego człowieka, a w Polsce jest zwłoką obrad krajowych»⁴⁸.

Наиболее резко критикует Езерский обычаи, господствовавшие в среде шляхты: «Zbytek w częstowaniu wygórował w naszym narodzie do najwyższego stopnia.

⁴⁶ Franciszek Salezy Jezierski, *Niektóre wyrazy porządkiem abecadła zebrane*. W-wa, 1791, стр. 13, 15.

⁴⁷ там же, стр. 161.

⁴⁸ там же, стр. 31.

Марнотrawstwo, rozrzucając majątek, wyrabia ucztę, gdzie się zjadają i spijają folwarki, wsie i włości. . . Piwnica, kuchnia, cukiernia jest tak ułożona dokładnie, że gdyby była ustanowiona cała Polska w swym rządzie, my byśmy byli zapewne najpotężniejszym w Europie narodem. . .»⁴⁹. Неравноправие сословий в Польше и отсутствие общегосударственного права, преимуществами которого могла бы пользоваться не только шляхта, вызывают у Езерского ироническое замечание о том, что слово «человек» должно быть в польском языке иностранного происхождения, так как если бы «człowiek w polskim języku znaaczył wspólnej natury jestestwo, musiałaby mieć Polska prawa człowieka zabezpieczające jego własność i wolność. . . Polak uboższy względem majątniejszego jest na kształt sztuki kryształu, który na czym kto położy, taki zaraz rzeczy pokazuje na sobie kolor. . . Chłop widzi arystokratą szlachcica dziedzica, szlachcic widzi arystokratą pana, pan widziałby siebie samego arystokratą w zwierciadle, ale ten widok zaraz zakrywa zasłoną równości»⁵⁰.

И как истинный просветитель, средство исправления таких нравственных и общественных «обычаев» видит Езерский в развитии и распространении наук, насаждении истинных, «просвещенных понятий: необходимо было бы издать такой словарь, — пишет Езерский в статье «автор», — в котором «была бы разграничена правда от неправды в нашем языке». Театр, поэтому, не может выполнить задачи насаждения в обществе «правды», так как не служит нравственному совершенствованию граждан: «Wielki odnowiciel najlepszych komedii we Francji dał to hasło, ozdabiające sztukę swoją: *ridendo dicere verum quid vetat*. . . . Я быm twierdził, że przeszkadzać powinna sama święta powaga prawdy. Ja cnotę i prawdę tak uważam — kto jej szuka na teatrum — jak uważam tych rodziców, którzy by miasto piastunki małpę sobie przyjęli do piastowania dziecięcia. Ta bestia może zręcznie dziecic piastować, ale pewne jest niebezpieczeństwo, że je podrapie albo zgniecie. . . . Nie widział jeszcze nikt w żadnym narodzie poprawy obyczajów po teatralnej misji. . . . Nie wiem, co okropniejszego dla cnoty: czyli widoki okrutne u Rzymian, czyli też nasze miłosno-moralne. . . . Gdy więc widoki teatrów pożyteczne dowcipowi i zabawie, a szkodliwe obyczajom i sercu, przeto zabawy teatralnej nikt nie powinien utrzymywać i wyprawiać, tylko osoby najmajątniejsze w narodzie w swoich domach. . . . Ponieważ panowie dają jeść i pić dlatego, że są panami, czego nie mają także bawić widokami dlatego, że są panami»⁵¹. Причину такого недоброжелательного отношения Езерского к театру следует искать как в том, что он отдавал дань своему духовному званию, так и в той дискуссии о трагедии и комедии и задачах «гражданского» театра, которая развернулась в 90-е годы в периодических литературных журналах и рукописных газетах⁵². Значение театральных представлений представляется Езерскому чрезвычайно важным в процессе формирования национального языка: «Nasz naród najpóźniej przystąpił, aby mieć

⁴⁹ там же, стр. 115.

⁵⁰ там же, стр. 23, 8, 39.

⁵¹ там же, стр. 101—103.

⁵² См. об этом подробнее: *Н. Кирай*, Сценическое искусство в варшавском Национальном Театре в 90-е годы XVIII века. — «Acta Litteraria» 1970, t. 12, стр. 173—187.

widoki odprawiające się we własnym języku, by też my naszego języka zażywalіmy tak właśnie, jak w odzieży zażywają kaftana. Kaftan jest postać sukni, najbliższej tylko należącej do ciała, inne zaś jest i dla okazałości, i dla ozdoby w stroju. My języka narodowego tylko zażywali na wewnętrzne potrzeby w życiu społecznym, nigdy go nie pokazując w potrzebach powszechnych towarzystwa. I dlatego kancelarie łacińskie, mustry rejmentów niemieckie, mowy w obradach sejmowych na pół łacińskie i polskie, teatra po włosku lub po francusku. A zatem, gdy Polak po łacinie się sądził, strokatym językiem radził, po niemiecku wojował, po włosku lub po francusku się bawił, więc dla ojczystego języka nie zostało się nic więcej, tylko rozmowa jednego z drugim i kazanie w kościele. Zdaje się więc potrzebą dla wzmocnienia poezji ojczystej i dla wydoskonalenia języka, że ten sposób zabawy jest pożyteczny w widokach teatralnych»⁵³ Езерский в своей характеристике процессов и явлений культуры Просвещения ближе других просветителей стоит к последующему поколению романтиков, концепции Лелевеля.

Издание лексиконов во второй половине XVIII века было литературной модой и в Польше. В форме лексикона вышел «нравственный кодекс» для воспитанников Корпуса Кадетов, составленный Адамом Казимежом Чарторьским («Katechizm moralny dla uczniów Korpusu Kadetów. Definicje różnych cnót towarzyskich i przepisy wewnętrznej karności Korpusu», 1774). «Кодекс» этот интересен как свод этических и общественных гражданских критериев, согласно которым воспитывались наиболее передовые люди эпохи Просвещения, ведь именно воспитанники Корпуса Кадетов и составляли то «третье поколение» просветителей, которому выпала главная роль в проведении реформ Четырехлетнего Сейма. Издателем двухтомного лексикона «Zbiór potrzebniejszych wiadomości porządkiem alfabetu ułożonych» (W-wa, 1781) был поэт Игнацы Красицкий. Лексикон этот был мало оригинален, содержал преимущественно переводные статьи, но раздел о жанрах литературы, более всего интересовавший автора, разработан подробно. Статья «поэзия» включает подробные данные о развитии польской поэзии в эпоху Станислава Августа, и излагает принципы классицистической поэтики⁵⁴. В лексикон этот вошел ряд статей о театре («драма», «комедия», «опера», «трагедия», «трагикомедия», «Корнель», «Мольер», «Расин», «Шекспир»), авторство которых трудно безоговорочно приписать Красицкому, который вероятнее всего лишь отредактировал эти статьи, переведенные из какого-либо французского лексикона. Красицкий был прежде всего теоретиком театра станиславовской эпохи, обосновавшим принцип просветительского театра как «школы нравов» (цикл статей в журнале «Монитор» — «Apologie du théâtre»). Историком и теоретиком театра был Адам Чарторьский, переведший на польский язык популярный в XVIII веке компендиум по истории литературы и искусства: Félix Juvenel de Carleucas, «Essai sur l'his-

⁵⁴ Krasicki, Zbiór potrzebniejszych wiadomości porządkiem alfabetu ułożonych. W-wa — Lwów, 1781, стр: 381—383;

⁵³ Jezierski, ук. соч., стр. 104—105.

toire des sciences, des belles lettres et des arts» (1740)⁵⁵. В этом первом учебнике по истории и теории литературы, изданном на польском языке, вопросам театра посвящено более ста страниц, особенно большое внимание уделено греческому и римскому театру, а также английскому, французскому, итальянскому и испанскому. Перевод был дополнен главами о польской литературе, языке и о польском театре (главы «О польской комедии» и «О польской трагедии»). Более подробно мысли Чарторьского о польском театре и теории классицистического театра были развиты в предисловии к его комедии «Panna na wydaniu» (1771). Правила «трех единств», принципы построения драмы, советы польским авторам относительно того, как следует по примеру Мольера писать комедии, а по образу трагедий Корнеля и Расина писать трагические произведения и, наконец, очерк о польском театре и польских актерах — вот главные моменты этого сочинения, которому наряду со статьями Красицкого и «Историей народного театра» Богуславского выпала значительная роль в формировании польской театральной культуры. Способствовать развитию национальной сцены есть гражданский долг общества, — пишет Чарторьский, поскольку «zapewne szczęśliwość kraju od poprawy obyczajów narodowych zawisła. . . W narodzie, w którym rozum, żywość i dowcip są powszechne prawie przymioty, wkrótce by rodzaj dramatyczny do wielkiej przyszedł doskonałości, gdyby przez dobre kompozycje smaku do widowisk nabrał naród, a smak narodowy zachęcał piszących»⁵⁶.

История польского театра Войчеха Богуславского была написана в 1820 году, но отражает события театральной жизни второй половины XVIII века от первых лет существования польской сцены. Историю театра представляет Богуславский не только как историю самого учреждения театра, которую он знал лучше других, в течение ряда лет будучи антрепренером и директором, но как интегральную часть развития польской культуры в тридцатилетие правления Станислава Августа: «Nie jest zamiarem tego pisma uwiadomiać Czytelnika o samych nazwiskach sztuk ani o porządku, jakim na Teatrze Publicznym, w przeciągu trzydziestu lat dawane były, ale zastanawiać się nad kilkakrotnym wzrostem i upadkiem sceny ojczystej, w miarę okoliczności, zdarzeń i przeszkód, na jakie wystawioną była»⁵⁷. И в свете этой концепции понятно, почему именно комедия Немцевича «Возвращение посла» была для Богуславского самым выдаю-

⁵⁵ Historia nauk wyzwolonych. Przez Jmć P. Juvenel de Carlenas francuskim językiem pisana, na polski przełożona ad usum Korpusu Kadetów JKMci, W-wa, 1766. Исследователь истории создания этого перевода считает, что Чарторьский был лишь редактором и патроном этого издания, а переводчиком текста и автором дополнений о польском театре был ксендз Войчех Гурский, преподававший в коллегии иезуитов в Варшаве. — См.: M. Miterzanka—Dobrowolska, O pierwszym podręczniku do nauki historii i teorii literatury w języku polskim. Szkic do dziejów kultury i oświaty polskiego Oświecenia. — «Zeszyty Naukowe WSP w Katowicach», 1956.

⁵⁶ Adam K. Czartoryski, Panna na wydaniu. Komedia we dwóch aktach. W-wa, 1771, стр. 61—62.

⁵⁷ Dzieje Teatru Narodowego na trzy części podzielone oraz Wiadomość o życiu sławnych artystów przez Wojciecha Bogusławskiego. W Warszawie MDCCCXX. Wydanie fotooffsetowe W-wa, 1965, стр. 1.

щимся событием в театральной жизни эпохи: «jako doskonałe obyczaje krajowe malująca; pięknym wierszem, wyższego smaku komicznością i wystawieniem chwalebnej dla narodu epoki...»⁵⁸.

В ноябре 1809 года Общество друзей науки опубликовало выработанный Станиславом Потоцким и Адамом Пражмовским «Prospekt historyi narodu Polskiego» («Pamiętnik Warszawski»), в котором были представлены задачи исторических исследований. В этот проспект входил и раздел «Просвещение», трактующий о распространении принципов и норм общественной жизни, о развитии искусства и ремесел, о значении путешествий за границу и привлечении образованных иностранцев в страну.

Два направления во взглядах на прошлое Польши, сложившиеся во второй половине XVIII века, по существу проходят через все XIX столетие, принимая, разумеется, различные формы. «Республиканское» направление, выразителем которого был Михал Виельгорский, считало, что причиной анархии, а затем экономического и политического упадка Польши, был отход от «первичного республиканского начала». Следовательно, реформы должны были заключаться в восстановлении исконных форм правления. Этот взгляд выражен уже в самом названии трактата Виельгорского: «O przywróceniu dawnego rządu według pierwiastkowych rzeczypospolitej ustaw (W-wa, 1775). «Монархическое» направление, представляемое школой Нарушевича и публицистами Великого Сейма видело причины анархии в слабости правительственной и королевской власти. А так как оба направления в истории искали критериев нравственной и политической оценки своей деятельности, как впрочем и участвовавшая в политической жизни шляхта, привлекавшая прошлое для решения насущных проблем внутреннего устройства государства, то понятно, что тот же самый материал прошлого каждое из направлений выстраивало в совершенно иной причинно-следственный ряд. До потери Польшей независимости спор этих двух направлений был творческим спором о дальнейших путях развития страны. Впоследствии деятели Общества друзей науки, включившись в борьбу за сохранение *национального*, а не государственного *бытия*, нивелировали противоречия прошлого, черпая из него лишь те моменты, которые были пригоднее всего для дидактического воспитания общества: «Towarzystwo chce nie tylko dopełnić zbioru dziejów, ale przygotować historię Polaków, która stałaby się nauką Polaków»⁵⁹.

Реформы Четырехлетнего Сейма, проводившиеся под нависшей угрозой потери государственной независимости, оттесняли на второй план экономические отношения между сословиями, хотя в самой жизни острота их, разумеется, не снималась. Мысль о первичном свободном состоянии всех сословий общества, высказанная еще просветителями — «Ta niewola, w której są teraz u nas poddani, nie była przed tym, jak teraz, ale stopniami rosła... W krajach pobraterskich nam Lutyków, Sasów i innych rząd był gminowładny, więc i u nas

⁵⁸ там же, стр. 69.

⁵⁹ Cit. za: F. Bronowski, H. Winnicka, Projekt historii narodowej w pracach TWPN. — «Zeszyty Naukowe Univ. Łódzkiego», ser. I z. 4, Łódź, 1956, стр. 19.

w pierwszych początkach podobny być musiał»⁶⁰. — в период развития социальных теорий, рожденных событиями июльской революции во Франции, легла в основу исторических концепций польских историков романтического направления. Монархический взгляд на историю постепенно, а после 1831 года решительно, сменяется социально-политическим взглядом. Причем в силу специфических национальных условий государственного развития доминирующим на долгое время остается политическое начало.

Определяющее влияние романтизма в дальнейшем формировании польского национального самосознания долгое время мешало исследователям по достоинству оценить культурное наследие Просвещения. Романтики со свойственным им культом «национального духа», «народности» были оппозиционно настроены по отношению к своим предшественникам, проповедникам космополитической всеобщности. До выступления историков позитивистского направления в 60—70-е годы XIX века распространенными были в польской историографии мнения о заимствованном, подражательном характере польской культуры второй половины XVIII века. «Даром из чужих рук» называл Просвещение первый польский философ культуры Маурицы Мохнацкий. О преобладающей роли иностранного, в первую очередь французского, влияния в литературе и театре Просвещения говорил в своих парижских лекциях по славянским литературам Адам Мицкевич. Впрочем, изучению культуры второй половины XVIII века вообще было посвящено сравнительно мало работ. В эпохе Просвещения, увенчавшейся, с одной стороны, таким документом высокой политической культуры, как Конституция 3 Мая, а с другой — предательской деятельностью Тарговицкой конфедерации и последовавшим вслед за этим разделом Польши — представители различных направлений и школ в исторической науке искали прежде всего «причин падения» государства. Работы, посвященные этой проблеме, т. е. политической истории, преобладают в общей историографии о данной эпохе.

Эстетические ценности культуры Просвещения до самого последнего времени, точнее до 1951 года, когда состоялась научная сессия, посвященная проблемам комплексного изучения эпохи Просвещения, современному характеру ее лучших культурных достижений⁶¹, а также монументальная экспозиция в Национальном музее в Варшаве «Век Просвещения» — по существу не включалась в классическое наследие польской культуры⁶². В традиционном разграничении в истории культуры эпох — Возрождение, Барокко, Классицизм и Романтизм — основой национальной традиции и одновременно мерой вклада Польши в общеевропейскую культуру служили творения эпохи Возрождения и Романтизма.

⁶⁰ Józef Pawlikowski, O poddanych polskich. Roku 1788. — «Próby reform włościańskich w Polsce XVIII wieku. Wybór źródeł». W-wa, 1952, стр. 120.

⁶¹ Материалы конгресса полонистов, состоявшегося в 1950 в Варшаве и научной сессии, посвященной Коллонтаю опубликованы в книгах: «O sytuacji w historii literatury polskiej». W-wa, 1951; «Kollątaj i Wiek Oświecenia». W-wa, 1951.

⁶² Oświecenie. Katalog Wystawy Muzeum Narodowego w Warszawie. W-wa, 1951. Rec.: B. Leśnodorski, Tradycje wielkiego dorobku narodowego. — «Nowe drogi», 1952, nr 6; T. Dobrowolski, Nowoczesne malarstwo polskie. Wr.—Kr., 1957.

Изучение специфической формы идеологии Барокко, польского «сарматизма», в первую очередь благодаря трудам Т. Маньковского и С. Виндакевича, позволило включить и этот период в общую традицию польской культуры и выявить его непреходящие ценности⁶³. Просвещение дольше всего ожидало своей исчерпывающей положительной интерпретации. Интенсивное изучение отдельных областей культуры Просвещения после второй мировой войны выявило не только ее идейное богатство, но и значение для дальнейшего развития современных форм художественного сознания. Взгляд об однородном классицистическом характере литературы и искусства Просвещения уступил место сложной картине взаимодействия различных течений и стилей, а вследствие этого обнаружилось те невидимые раньше нити, которыми Романтизм и последующие формы и модели культурного движения связаны с Просвещением. Романтическая теория народности вряд ли была бы возможна без современного понятия «народа» и «нации», сформулированного в Польше впервые в 90-е годы XVIII века. Гибкость и философичность языка романтиков немислима без фундаментальной работы по очищению, и обогащению национального языка, проведенной просветителями во всех областях письменности — поэзии, драматургии, философии, публицистике, науке. Романтизм перенял от просветителей и политическую активность идеологии, обогатив и усовершенствовал формы ее выражения.

⁶³ T. Mańkowski, *Genealogia sarmatyzmu*. W-wa, 1946; ten że, *Malarstwo na dworze Jana III*. — *Biuletyn Historii Sztuki*, R. XII, 1950, z. 1—4, s. 201—288; ten że, *Orient w polskiej kulturze artystycznej*. W-wa, 1959. Внимания заслуживают также: *Sarmatia artistica*. Praca zbiorowa. W-wa, 1968. T. Ulewicz, *Sarmacja*. Studium z problematyki słowiańskiej XV i XVI wieku Kr. 1950; он же, *Zagadnienie sarmatyzmu w kulturze i literaturze polskiej: problematyka ogólna i zarys historyczny*. — *Zeszyty Naukowe* UJ, Prace Historyczno-Literackie, z. 5, Filologia, z. 9. Roman Pollak, *Wśród literatów staropolskich*. W-wa, 1966.

Die künstlerische Wahrheit in Lev Tolstoj's Trilogie „Kindheit“ „Knabenjahre“ „Jugend“

L. LIEBER

Die Aufgabe dieser Arbeit besteht darin, zu untersuchen, worin die künstlerische Wahrhaftigkeit der Trilogie besteht. Die erste Voraussetzung dafür ist die Aufrichtigkeit des Schriftstellers, die sich sowohl auf das Erleben des Ideenkonfliktes als auch auf das persönliche Erleben des Schriftstellers, sowie die Erlebnisse des Helden und all dessen, was mit dem Helden geschieht, bezieht. Auch die Wirklichkeitstreue spielt dabei eine Rolle. Hier wird zuerst die Glaubwürdigkeit der einzelnen Seelenzustände, Erlebnisse, dann die der Gesamtheit der seelischen Entwicklung des Helden untersucht. Beim letzteren ziehen wir das echte und unechte Verhalten des Helden in Betracht. Das Unechte hat seine Gründe in den konkreten historischen Umständen und so wird die psychische Entwicklung von Nikolenka Irtenjew gesellschaftlich bedeutend.

Im Dienste der künstlerischen Wahrheit steht auch die Kunstfertigkeit. Hier wird die Ausdruckskraft des Stils, die Plastizität und zuletzt die Änderung, die Annäherung, Entfernung der doppelten Perspektive, der „Doppelgleisigkeit“¹ der Trilogie behandelt.

* * *

In seinem ersten bedeutenden Werk, in seiner Trilogie, stellt Tolstoj die Entwicklung des Charakters eines jungen Mannes dar. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wenden sich die Schriftsteller in Rußland mit Interesse der jungen Generation zu. Dieses Interesse hat gesellschaftliche Gründe. Durch den Aufstand der Dekabristen wurde die allgemeine Aufmerksamkeit auf die Krise, auf die Überlebtheit der alten Gesellschaftsordnung gelenkt. Dichter und Schriftsteller versuchen auf immer brennender werdende Probleme Antwort zu geben. Das Studium des Schicksals der jungen Generation erweist sich als eine dankbare Aufgabe, da „история молодого человека первой половины 19 века, выросшего в условиях крепостнической действительности, в условиях 'переходного' времени, заключала в себе множество сложных коллизий,

¹Leo N. Tolstoj: „Kindheit — Jugend“ Vollmer Verlag, Wiesbaden—Berlin, Nachwort von Professor v. Setschkareff, S. 340.

она естественно, затрагивала самые различные явления общественной жизни² Die Darstellungsweise des kritischen Realismus wendet sich allmählich von den Widersprüchen der gesellschaftlichen Umgebung ausgehend den inneren Konflikten zu. Da sich die gesellschaftlichen Widersprüche in der menschlichen Seele widerspiegeln, erhält diese mittelbare Darstellung der Widersprüche bzw. der Überlebtheit der feudalen Ordnung eine große Überzeugungskraft.

Puschkin dringt noch nicht in die Tiefe der menschlichen Seele. Im Mittelpunkt seiner Darstellung steht die gesellschaftliche Umwelt. Wie G. A. Gukowskijs Hinweis besagt, finden wir in Puschkins Onegin bloß die Möglichkeit des Guten.³ Es wird nicht der Prozeß sondern das Ergebnis der Entwicklung des Charakters gezeigt. Onegin ist von Anfang an ein „überflüssiger Mensch“, infolge der gesellschaftlichen Umstände. In Gogols Helden ist das Gute keine bloße Möglichkeit mehr, es wird zur Realität. Pulcherija Iwanowna und Afanasij Iwanowitsch lieben einander nicht mit der aufflammenden, schnell vergehenden Leidenschaft der romantischen Helden. Ihre Liebe widersteht der Macht der Zeit, sie wird zur Gewohnheit. Das Gute, das in der Tiefe ihrer Seele schlummert, kann sich infolge der gesellschaftlichen Umstände nicht entwickeln. Die ausführliche Darstellung der Vereitelung des Guten verleiht der hemmenden Wirkung der Gesellschaft eine große Glaubwürdigkeit.

Das Hauptverdienst der realistischen Schriftsteller der Natürlichen Schule in den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts besteht darin, daß sie die vollkommene Determination der Menschen durch ihre Umgebung darstellten. Das gesellschaftliche Milieu bestimmt die psychischen Eigenschaften. Aus den Eigentümlichkeiten der menschlichen Psyche kann man auf die Eigenschaften der Umgebung schließen. (F. M. Dostojewski: *Arme Leute*. Der Schriftsteller knüpft an Gogols „Mantel“ an.) Die feudalen rückständigen Verhältnisse ersticken schon in den Keimen alles Gute und Edle im Menschen. Die Schriftsteller der Natürlichen Schule stellen die positiven Möglichkeiten der menschlichen Natur nicht dar. „При изображении детства в центре оказывалась не чистота и непосредственность детского сознания, не способность ребёнка развиться в человека с характером высоким и благородным, а враждебность среды, условий детского сознанию и устремлениям” (Достоевский: *Неточка Незванова*)⁴.

Am Anfang der 50er Jahre übernimmt und entwickelt Tolstoj die Errungenschaften von Gogol und der Natürlichen Schule weiter. In seiner Trilogie vertieft er den Gegensatz zwischen der Güte der menschlichen Seele und dem gesellschaftlich Schlechten. „Когда я писал ‚Детство‘, то мне казалось, что до меня ещё никто так не почувствовал и не изобразил всю прелесть и поэзию

² М. Б. Храпченко: «Лев Толстой как художник» Советский писатель, Москва, 1963, стр. 10.

³ Г. А. Гуковский: «Реализм Гоголя» ГИХЛ, Москва—Ленинград, 1959, стр. 96—102.

⁴ Я. Билинкис: «О творчестве Л. Н. Толстого» Советский писатель, Ленинград, 1959, стр. 20.

детства”⁵. Der Schriftsteller dringt in die Seele von Nikolenka Irtenjew, er schließt von innen Reinheit, Einfachheit, Natürlichkeit, Glück der Kindheit auf. Das aristokratische Milieu zerstört die Harmonie dieser Welt, der Held findet nicht mehr sein inneres Gleichgewicht wieder, nicht einmal der Erzähler, der Erwachsene-Irtenjew. „Вскрыть корни, заблуждений‘ своего героя, показать то, что препятствовало всестороннему развитию его богатых от природы нравственных и умственных способностей — такова была основная задача, стоявшая перед Толстым...”⁶.

Herzen analysiert in Jahre 1850 im seinem Artikel „Omnia mea mecum porto“ die verschiedenen Typen des Verhältnisses zwischen Mensch und Gesellschaft.⁷ In der Epoche des revolutionären Aufschwungs erscheinen tatkräftige, energische Persönlichkeiten auf der Bühne der Geschichte, die heroischen, selbstaufopfernden Taten scheinen natürlich. Demgegenüber werden der Verlust der die menschliche Würde ausdrückenden Gefühle, Lüge, Gewalt, Borniertheit in den sich selbst überlebenden Gesellschaftssystemen vorherrschend. Und es gibt schließlich Zeiten, die friedlich, lahm, „schläfrig“ sind, wenn die Kontakte zwischen Mensch und Gesellschaft infolge ihrer Inertie kaum eine Vorwärtsbewegung, eine Entwicklung haben, sie laufen einfach weiter. Es ist die Zeit der ethischen Routine. Die Menschen übernehmen gedankenlos die ethischen Normen ihrer Vorfahren, ihr ganzes Leben wird von den in der Kindheit angeeigneten Gewohnheiten bestimmt. Es fehlt ihnen die Kraft, das Gute und das Schlechte auf ihren Inhalt hin neu zu überprüfen. Es erfolgt in dieser Umgebung eine Entfremdung des Menschen von seinem wahren Ich, er strebt nach Geltung und Anerkennung durch das Aneignen der von der Gesellschaft (von der Aristokratie) anerkannten Werte.

Tolstoj wuchs in dieser „wohlerzogenen“ Umgebung heran. Er hat die quälende Spannung zwischen seinem wahren und gesellschaftlichen, unechten Ich von innen erlebt. Er trägt schon am 17. März 1847 in sein Tagebuch ein: „Отделись человек от общества, взойди он сам в себя, и как скоро скинет с него рассудок очки, которые показывали ему всё в превратном виде, и как уяснится взгляд его на вещи, так что даже непонятно будет ему, как не видал он всего того прежде”⁸. Der Schriftsteller sucht in seiner Trilogie leidenschaftlich die Wahrheit. Was verbrigt sich hinter der Maske der Höflichkeit und der Tugend? Was erblicken wir, wenn wir den Nebel der allgemeinen Heuchelei, der Lüge voreinander und des Selbstbetruges durchdringen? Was befindet sich hinter den Worten, Gesten, Taten, offiziellen Kontakten, der äußerlichen Sittlichkeit der Menschen? Der Schriftsteller will den Menschen in seiner „Nacktheit“ sehen. Tolstoj wird vor allem unter der Wirkung von Rousseau zu einem lei-

⁵ В. Ф. Булгаков: «Лев Толстой в последний год его жизни» М., 1920, стр. 12.

⁶ Е. Н. Купрянова: «Детство». «Отрочество.» «Юность». *Лев Николаевич Толстой. Сборник статей.* Гос. уч. пед. изд. М., 1955, стр. 72.

⁷ Лидия Гинзбург: «О психологической прозе» Советский писатель. Ленинградское отделение. 1971, стр. 442—443.

⁸ Л. Н. Толстой: *Собрание сочинений в 20 томах.* Том 19. Дневники 1847—1894 гг., ГИХЛ, М., 1965, стр. 31.

denkschaftlichen Sucher der Wahrheit. In der Zeit, wo er an seiner „Jugend“ arbeitet, schreibt er: „Никогда не забуду сильного и радостного впечатления и того презрения к людской лжи и любви к правде, которые произвели на меня произведения Руссо“⁹.

Tolstoj's Charaktere haben einen ähnlichen Lebensweg wie er selbst. Dieser Weg ist lang, mühsam, reich an Kämpfen und Irrtümern. Am Ende erwartet sie das Erkennen, besser gesagt, die „Verinnerlichung“, das „Einverleiben“ der Wahrheit. Sie wenden sich vollkommen von der Aristokratie ab, und eignen sich die Anschauung der Bauernschaft an. Nikolenka Irtenjew will dieser Klasse den Rücken kehren, da er die Heuchelei, die „Wohlerzogenheit“ der aristokratischen Umgebung erkennt, am eigenen Leibe spürt, in der eigenen Seele fühlt. Der Held der Trilogie ahnt schon die edle Sittlichkeit des Volkes in der Liebe von Natalia Sawischna, in der Einfachheit und Natürlichkeit der Rasnotschinzenstudenten.

Tolstoj meistert dadurch die Grenzen der realistischen Darstellung der 40er Jahre. Die Entwicklung des Helden wird nicht mehr von derjenigen Klasse, Schicht bestimmt, in der er geboren wird, sondern er erlebt die Wirkung des ganzen Querschnittes der Gesellschaft. (In den 50er Jahren erscheinen nach den typischen Gestalten der Landbesitzer, Bauern, Beamten Nikolenka Irtenjew oder Sascha von N. A. Nekrassow¹⁰) Die psychische Entwicklung von Nikolenka wird gesellschaftlich bedeutsam. Die „Kindheit“ erschien zuerst im Jahre 1852, die „Knabenjahre“ 1854 und die „Jugend“ 1857. Auf das Werk wirkten die ideologischen Veränderungen in der russischen Gesellschaft, die in dieser Zeit stattfanden. Die Rasnotschinzenideologie beschleunigte den Zerfall der alten feudalen Ordnung, der aristokratischen Lebensweise. Der Schriftsteller baut diesen Ideenkonflikt, den er in der Wirklichkeit erlebt hat, in den Lebensweg seines Helden ein.

Wenn wir die Trilogie durchlesen, so haben wir das Gefühl, daß die Darstellung des ideologischen Konfliktes aufrichtig ist. Die unentbehrliche Bedingung für die Glaubwürdigkeit, Wahrheit der im literarischen Werk dargestellten Welt ist die ästhetische Norm der Aufrichtigkeit. In der Trilogie haben wir es einmal mit der Aufrichtigkeit des Erlebens eines Ideenkonfliktes, und zum anderen mit der des persönlichen Erlebens zu tun. Der Dichter steht mit seiner ganzen Persönlichkeit hinter dem Werk, hinter seiner Aussage. Es spiegelt Überzeugung, durchlebtes Erlebnis wider. János Barta weist darauf hin, daß die Aufrichtigkeit kein anderes Meßinstrument als den nüchternen Sinn des Lesers hat.¹¹ Wir fühlen die Eigenschaften der dichterischen Persönlichkeit aus dem Werk heraus, wir können auch feststellen, ob sich diese Eigenschaften notwendigerweise zu einem Ganzen zusammenschließen, und zwar zur Persönlichkeit des Dichters. Um festzustellen, ob die Trilogie der Forderung der Aufrichtigkeit gerecht wird, müssen wir in den Aufbau des

⁹ E. H. Купреянова: «Эстетика Л. Н. Толстого» Изд. Наука, Москва — Ленинград 1966, стр. 182.

¹⁰ Я. Билинкис: «О творчестве Л. Н. Толстого», стр. 24.

¹¹ Barta János: „Élmény és forma“ Magvető, Budapest, 1965, S. 116.

Werkes eindringen. Der Held, Irtenjew erzählt, gestaltet seine Kindheit und Jugend, und er interpretiert seine Entwicklung gleichzeitig von zwei Gesichtspunkten aus. Der eine ist der des immer größer werdenden Nikolenka, der andere ist der des schon erwachsenen, erfahrenen, (aber noch nicht alles wissenden) Irtenjew, der zur Zeit der Erzählung die Ereignisse, Erlebnisse seiner früheren Entwicklung neu gestaltet. Indem der Schriftsteller die zwei Gesichtspunkte ständig wechselt, entwickeln sich zwei Zustände ein- und derselben Persönlichkeit in zwei verschiedenen Zeitperioden. Tolstoj wechselt die Aspekte, er nähert sie einander an, aber in bestimmter Hinsicht entfernt er sie gleichzeitig voneinander (s. am Ende der Arbeit) auf die Art und Weise, daß wir an Hand unserer Lebenserfahrung fühlen, daß die zwei Zustände, wertenden Aspekte, zwei verschiedene Lebensphasen ein und derselben Persönlichkeit sind. (Die Form der Ich-Erzählung ist noch nicht ausreichend, um uns davon überzeugen zu können.) Die Individualität Nikolenka Irtenjews ist einheitlich, abgeschlossen und wirklichkeitstreu. Diese tiefste Realität der Persönlichkeit des Helden bildet das Kriterium der Aufrichtigkeit des Schriftstellers. Tolstoj hat seinen Helden von innen, aus dem eigenen Ich geformt, und sein Held ist wirklichkeitstreu, weil er sich so gab wie er war, also aufrichtig war. „The creation of characters may be supposed to blend, in varying degrees, inherited literary types, persons observed, and the self. . . Only selves recognized from within as potential can become ‚living characters‘, not ‚flat‘ but ‚round‘. Whatever characters a novelist has succeeded with must be parts of himself and not ex nihilo, could he give them life“¹². Das Schicksal von Nikolenka Irtenjew ist wahr, glaubwürdig, weil dieses Schicksal aufrichtiges, durchlebtes Erlebnis spiegelt und weil es (das Schicksal) wirklichkeitstreu ist.

* * *

Tolstoj ist seit Beginn der 50er Jahre immer mehr bestrebt, die konkrete gesellschaftlich-historische Wirklichkeit, in der er lebt, kennenzulernen, sein eigenes Verhältnis zu dieser Wirklichkeit, zu ihren Klassen und Schichten zu bestimmen, sein eigenes Lebensziel zu bestimmen und auf diese Weise durch sich selbst das Ziel des menschlichen Lebens im allgemeinen zu erkennen. Er ahnt in der nahen Zukunft große Veränderungen um sich. Er betrachtet das Sich-Selbst-Erkennen als den ersten Schritt zur Überwindung des Gefühls der Unsicherheit. A. F. Zweers sieht, richtig, in diesem Streben des Schriftstellers den Grund für den selbstanalytischen Charakter der Eintragungen in das Tagebuch. Die Neigung des Schriftstellers zur Selbstanalyse überträgt sich auf den Helden der Trilogie. „. . . when writing his ‚Childhood‘, did not understand himself completely, that he started to analyze himself in his diaries and transferred his analytical inclination into the hero of his first literary work“¹³. Hier handelt es sich nicht bloß darum, daß der Schriftsteller seine Individualität auf seine Helden überträgt. Die Neigung von Irtenjew zur Selbstanalyse ist auch Ergebnis bewußten schriftstellerischen Strebens. Tolstoj

¹² R. Wellek—A. Warren: „The theory of literature“ N. Y. 1949, S. 84—85.

¹³ A. F. Zweers: „Grown-up narrator and childlike hero“ Mouton, 1971, S. 43.

schreibt selbst: „I was interested to follow my development, I wanted mainly to find some of a principle — a striving in the off-print of my life which could guide me...“¹⁴. Der Schriftsteller stellt nicht nur die Tagebucheintragungen, sondern auch seine Werke, seine Helden in den Dienst seiner Bestrebungen, den Sinn seines und des menschlichen Lebens überhaupt kennenzulernen. Er beobachtet, analysiert die Erfahrungen seiner Helden, ebenso wie sie. Er glaubt nur an diejenigen Lebenserfahrungen, Erkenntnisse, die den Charakter psychischer Überzeugungskraft haben, die von innen erlebt werden. Der Held der Trilogie wird mit der Methode der psychologischen Induktion dargestellt¹⁵. (Gegenüber dem Ende der 70er Jahre. Von dieser Zeit an wird der psychische Aufbau des tolstojschen Helden schon vollkommen von der in der Gesellschaft eingenommenen Funktion bestimmt. Iwan Iljitsch's ganzes Leben ist bewegungslos, „tot“, er hat kein inneres Leben, keine inneren Kämpfe und Schwankungen, im Gegenteil, er gibt sie zugunsten der gesellschaftlichen „Wohlerzogenheit“ vollkommen auf. Nach der weltanschaulichen Krise hat der Schriftsteller die psychologische Darstellungsmethode der sozialen Deduktion.)

Tolstoj zeigt die tiefsten und kleinsten Regungen der Gefühls- und Gedankenwelt seines Helden. Auf diese Weise kann der Leser den Weg der Entwicklung dieses Charakters mit all seinen Fallen und Widersprüchen von innen verfolgen. Es entfaltet sich vor uns ein Charaktertyp (Markiewicz)¹⁶, der von Zweifeln gequält wird, der den Sinn seines Lebens sucht, und der schließlich mit der Welt und mit sich selbst uneins wird. Nikolenka ist kein Gesellschaftstyp, kein Typ der damaligen aristokratischen Jugend, im Gegensatz zu seinem Vater, seiner Großmutter, zu Wolodja, Dubkow, zum Prinzen Iwan Iwanitsch, zur Prinzessin Kornakowa usw. Je gründlicher und ausführlicher die psychologische Motivation der Entwicklung dieses Charaktertyps ist, umso gültiger ist die Darstellung der Wirklichkeit, desto überzeugender ist für uns diese Entwicklung und ihr letztes Stadium, das Erkennen, das Erlebnis des Lebensinhalts. Der Leser gelangt wirklich zu der Überzeugung, daß Irtenjew in jedem Augenblick seines Lebens nach innigster Überzeugung handelt, denkt, sucht und versucht, seine Stellung unter den konkreten gesellschaftlichen Umständen zu finden. Einen solchen Eindruck erweckt der Schriftsteller in uns nur dann, wenn die Welt der Trilogie mit unseren Erfahrungswerten über die Wirklichkeit übereinstimmt, wenn die Handlungen des Helden von der äußeren und inneren Welt motiviert, determiniert werden. Die Glaubwürdigkeit der Darstellung von Nikolenka Irtenjew benötigt nicht nur die Norm der Aufrichtigkeit. Die Überzeugungskraft der fiktiven Welt der Trilogie wird auch durch die Wirklichkeitstreue der Darstellung erhöht. Wir gewinnen einen Einblick in die Erlebnisse des Helden, in deren System, Verhältnis zueinander, und das dynamische, bewegliche, „fließende“ System der Erlebnisse entfaltet vor uns einen konkreten Charakter. Die Gestaltungsarbeit

¹⁴ Ebenda, S. 58.

¹⁵ Е. Н. Купреянова: «Эстетика Л. Н. Толстого». стр. 232.

¹⁶ Barta János: „Élmény és forma“ S. 190.

des Schriftstellers besteht einmal in der Auswahl des Lebensmaterials (körperliche, seelische, moralische Eigenschaften) und zum anderen in der Konkretisierung dieses Materials. Beides geschieht, natürlich, gleichzeitig. Tolstoj will seine Aussage überzeugender darstellen und deshalb konzentriert er sich bei der Auswahl des Lebensmaterials in der Hauptsache auf die psychischen Eigenschaften, auf das System der Kenntnisse und Erlebnisse. Wir untersuchen erst die Glaubwürdigkeit der Mikrowelt der Entwicklung des Helden, und dann die Wahrheit des Ganzen dieser Entwicklung, des Schicksals von Nikolenka Irtenjew.

Irtenjews seelische Welt ist sehr empfindlich. Seine Umgebung löst in ihm tiefe Erlebnisse aus. Die starken Gefühle belasten die Aufmerksamkeit, erfüllen das Bewußtsein. Das Erlebnis ist desto reiner, je vollkommener, je weniger sein Ablauf vom Denken gestört wird. Der Held zieht sich öfters und immer leidenschaftlicher in die harmonische, „aufrichtige“ Welt der Natur zurück. Der Schriftsteller weist nur mit einigen Worten auf das Erlebnis des Helden hin. Er war sich darüber im klaren, daß die menschlichen Gefühle nicht in Worte gefaßt werden können. Tolstoj zeigt die Erlebnisse des Helden durch ausführliche Darstellung der ihn umgebenden Natur. Wenn wir diese Bildbeschreibungen durchlesen, geraten wir viel näher zu den Erlebnissen von Irtenjew, als wenn sie vom Schriftsteller unmittelbar bestimmt worden wären. „... вид старых берёз, блестящих с одной стороны на лунном небе своими кудрявыми ветвями, с другой — мрачно застилавших кусты и дорогу своими чёрными тенями, и спокойный, пышный, равномерно, как звук, возраставший блеск пруда, и лунный блеск капель росы на цветах перед галереей, тоже кладущих поперёк серой рабатки свои грациозные тени, и звук перепела за прудом, и голос человека с большой дороги, и тихий, чуть слышный скрип двух старых берёз друг о друга, и жужжание комара над ухом под одеялом, и падение зацепившегося за ветку яблока на сухие листья, и прыжки лягушек, которые иногда добирались до ступеней террасы и как-то таинственно блестяли на месяце своими зеленоватыми спинками, — всё это получало для меня странный смысл — смысл слишком большой красоты и какого-то недоконченного счастья“¹⁷

Wenn die Außenwelt stark auf uns wirkt, so haben wir das Gefühl, als ob die den Gefühlszustand auslösende Erscheinung die Verwirklichung, Objektivierung dieses Gefühlszustandes wäre. Auf diese vollständige Verschmelzung weisen die lyrischen Attribute hin wie „der ruhige, großartige Glanz des Teichs... ihre anmutigen Schatten... das Springen der Frösche... deren ... Rücken ... geheimnisvoll... glänzen“ usw. (spokojный, пышный, грациозные, таинственно). Nikolenkas Schönheitserlebnis, grenzenloses Glück saugt auch die kleinsten Momente der Natur in sich. Er ist Teil eines mächtigen Ganzen, die Natur ist eins mit seinem erweiterten Ich. Die Ausweitung des Ichs, die Annäherung der Natur an den Helden, ihr Eindringen in ihn und auf diese Weise die Reinheit und die Kraft der Erlebnisse wird auch noch dadurch

¹⁷ Л. Н. Толстой: *Собрание сочинений в 20 томах*. Том. I. «Детство», «Отрочество», «Юность». стр. 320. Alle anderen Zitate aus der Trilogie sind aus diesem Buch.

ausgedrückt, daß Nikolenka Erscheinungen, die in verschiedener Entfernung von ihm sind, sieht und hört. „...der Wachtelschlag *hinter dem Teich* ... das Summen einer Mücke *unter der Decke, dicht an meinem Ohr*... das Springen der Frösche, die sich manchmal *bis an die Stufen der Veranda* verirren...“ (за прудом, с большой дороги, над ухом под одеялом, до ступеней террасы). Der Held sieht diese Momente nicht, er hört sie. Die subjektiven Erlebnisse haben eine engere Verbindung zu den gehörten Erscheinungen als zu den gesehenen. Die menschlichen Sinnesorgane nähern die Momente der Außenwelt in verschiedenem Maße. „... bei den niederen — dem Temperatur-, Schmerz-, Tast-, Geruchs- und Geschmacksinn — der subjektive Erlebnisträger sich selbst in der Form von Zuständlichkeit miterlebt, also noch keine strenge und eindeutige Trennung zwischen Subjekt und Objekt, zwischen Innenbereich und Außenbereich des Erlebens erfahren wird, dann aber im Hören der Stimme das Du als Inhalt der Sphäre des Draußen zur Begegnung kommt, so ist es schließlich der Gesichtssinn, durch den die Umwelt als ‚es‘ in der Form reiner Gegenständlichkeit erschlossen wird“¹⁸. Bemerkenswert ist in dieser Hinsicht die annähernde Funktion des Gleichnisses „der ruhige, großartige, *gleichmäßig wie ein Ton* anwachsende Glanz des Teichs“ (равномерно, как звук возрастающий блеск пруда). E. N. Kuprejanowa weist darauf hin, daß die akustischen und visuellen Eindrücke des Helden miteinander in assoziativer Verbindung stehen. Wir erkennen die Gesetzmäßigkeiten der psychischen Widerspiegelung. „... ‚блеск пруда‘ не может возрастать ‚как звук‘; в темноте нельзя видеть, как падает, цепляясь за ветку, яблоко на сухие листья. Но зрительное ощущение (‚блеск пруда‘) может ассоциироваться со слуховым (‚равномерно нарастающий звук‘), а слуховое ощущение (звук падающего яблока) может вызвать зрительное представление невидимого в темноте самого яблока, ветки, за которое оно цепляется, и сухих листьев, на которые оно падает и т. д.“¹⁹.

Irtenjew dringt auch mit seiner Vernunft in sich und in die ihn umgebende Welt. (In den „Knabenjahre“-n sind der Vater oder die Großmutter nicht mehr in jener unerreichbaren Höhe wie in der „Kindheit“. Z. B. die Kapitel „Das Schrot“ und „Papa“ im zweiten Teil der Trilogie.)

Tolstoj sah schon während der Arbeit an der „Kindheit“ den Unterschied zwischen der Unnatürlichkeit, dem Unechten der Aristokratie und der Echtheit der einfachen Menschen. Nikolenka ist nach dem Tod der Mutter am Sarg nur einige Augenblicke imstande, echten Kummer zu fühlen. Während und nach der Beerdigung paßt er schon auf die Ausdrucksbewegungen des Kummers auf; er will die Aufmerksamkeit anderer auf sich lenken. „Вспоминая теперь свои впечатления, я нахожу, что только одна эта минута самозабвения была настоящим горем. Прежде и после погребения я не переставал плакать и был грустен, но мне советстно вспомнить эту грусть, потому что к ней всегда пришивалось какое-нибудь самолюбивое чувство: то желание показать, что я огорчен больше всех, то заботы о действии, которое я произвожу на других...“ (110—111). Nikolenkas Erlebnisse bilden für den Erzähler das Material der

¹⁸ Philipp Lersch: „Aufbau der Person“ Johann Ambrosius Barth. München. 1966. S. 363.

¹⁹ E. N. Kuprejanowa: *Лев Николаевич Толстой. Сборник статей*. стр. 95—96.

Erinnerung. Der kleine Held ist noch nicht fähig (im Gegensatz zu Ja. Bilinkis's Feststellung)²⁰, zwischen der Natur seines und Natalja Sawischnas Kummer bewußt zu unterscheiden. Die geistige Bearbeitung, der Vergleich der Eindrücke wird noch vorläufig vom Erwachsenen-Irtenjew durchgeführt. Nach diesem war Natalja Sawischna so einfach und natürlich, daß sie überhaupt nichts von der Existenz der Ausdrucksbewegungen gewußt hatte, geschweige denn, daß sie auf sie geachtet hätte. Sie hat keine Spur der Unechtheit. „Рассуждая об этом впоследствии, я понял, что, несмотря на то, что у неё делалось в душе, у неё доставало довольно присутствия духа, чтобы заниматься своим делом, а сила привычки тянула её к обыкновенным занятиям. Горе так сильно подействовало на неё, что она не находила нужным скрывать, что может заниматься посторонними предметами; она даже и не поняла бы, как может прийти такая мысль”. (117)

In den „Knabenjahren“ erfolgt aber schon auf der Ebene der rationalen Erkenntnis, eine Annäherung zwischen dem Knaben-Helden und dem Erwachsenen-Helden. Nach dem Tod der Großmutter ist Nikolenka schon in der Lage, seine Gefühle mit denen von anderen zu vergleichen. Er hat schon die Erfahrung, aus den Ausdrucksbewegungen auf die Gefühle zu schließen. Der wilde Schmerz der Zofe Gascha macht ihn staunen. „Я не жалею о бабушке, да едва ли кто-нибудь искренно жалеет о ней. Несмотря на то, что дом полон траурных посетителей, никто не жалеет о её смерти, исключая одного лица, которого неистовая горесть невыразимо поражает меня. И лицо это — горничная Гаша. Она уходит на чердак, запирается там, не переставая плачет, проклиная самое себя, рвёт на себе волосы, не хочет слышать никаких советов и говорит, что смерть для неё остаётся единственным утешением после потери любимой госпожи”. (195—196)

Der Schriftsteller stellt seinen Helden und die einfachen Menschen in eine und dieselbe Situation, um den Unterschied zwischen ihnen darzustellen. Diesen Unterschied bemerkt aber nicht nur der Leser und nicht nur durch den Erwachsenen-Erzähler. Für uns ist hier wichtig, festzustellen, daß Nikolenka in den Knabenjahren erkennt, daß er in ein und derselben Situation anders fühlt als die Vertreter des Volkes, auf diese Weise überzeugt er sich von der eigenen Leere Gascha gegenüber, während er noch in der Kindheit fähig war, echte Gefühle zu erleben. Die Situationsgestaltung ist ein Mittel für den Schriftsteller nicht nur zur Überzeugung des Lesers sondern auch zur Darstellung der geistigen Entwicklung des Helden und deren Motivation.

Die rationale Erkenntnis wird ständig von der emotionalen begleitet und unterstützt. Am Anfang der Knabenjahre erfolgt in Irtenjews Entwicklung eine qualitative Wendung. Er verläßt die warme, vertraute, gewohnte Umgebung der Kindheit, sein Gesichtskreis erweitert sich. Im Laufe der Reise nach Moskau erblickt er neue Häuser, Menschen, Familien, und er versteht auf einmal, daß nicht nur er und die Familie Irtenjew auf der Welt existieren, sondern daß es auch andere Menschen, auch arme Menschen gibt, zu denen auch Mimis Tochter, Katjenka, seine Spielkameradin der Kindheit gehört.

²⁰ Я. Билинкис: «О творчестве Л. Н. Тостого» стр. 47.

„Мне в первый раз пришла в голову ясная мысль о том, что не мы одни, то есть наше семейство, живём на свете, что не все интересы вертятся около нас, а что существует другая жизнь людей, ничего не имеющих общего с нами, не заботящихся о нас и даже не имеющих понятия о нашем существовании. Без сомнения, я и прежде знал всё это; но знал не так, как я это узнал теперь, не сознавал, не чувствовал”. (139) Die bedeutenden Änderungen in der Entwicklung des Helden erfolgen in allen Schichten der Persönlichkeit. Das Sammeln von Erfahrungen, die immer gründlichere Erkenntnis der Gesetze der Welt erfolgt gleichzeitig sowohl in der Gefühls- als auch in der Gedankenwelt. Das Gefühl vertieft den Wahrheitsgehalt der Gedanken, es erhöht deren Überzeugungskraft.

Die tiefsten, reinsten, ernstesten, echten Erlebnisse des Helden, die ganz in der Nähe der zentralen Achse seiner Individualität gelagert sind, entstehen durch das Zusammentreffen des Selbstwertstrebens und der Außenwelt. Infolge dieses Strebens wendet sich Nikolenka von der Heuchelei der Aristokratie ab, wählt er Nechljudow zu seinem Freund, flieht er in die Natur, denkt er mit Nostalgie an die Kindheit, die nie zurückkehrt.

Die Entwicklung des Helden wird aber nicht nur vom Selbstwertstreben sondern auch von der Selbstliebe, vom Geltungsstreben bestimmt. In den Knabenjahren und in der Jugendzeit will Nikolenka immer mehr unter den ihn umgebenden Menschen eine günstige Meinung über sich hervorrufen. Wolodja und seine Freunde, der Vater, die Großmutter schätzen nur die Heuchelei. Nikolenka wird also vom Schriftsteller auch durch ein System von anderen Erlebnissen charakterisiert, das durch das Zusammentreffen des Geltungsstrebens und der „comme il faut“ Normen der Aristokratie entsteht. Diese Erlebnisse finden aber kein Echo in der Tiefe der Persönlichkeit des Helden. Am nächsten steht Irtenjew das Erlebnis-System des Selbstwertstrebens. Dieses Prisma schwächt, stört das Erlebnis-System des Geltungsstrebens.

Eine der Formen des Geltungsstrebens ist das Streben, anderen zu gefallen. Dies ist auch eine Art, sich selbst Anerkennung zu verschaffen. Dieses Streben belastet Nikolenka schon in der Kindheit. In dieser Zeit ahnt noch nicht, daß später diese Kraft in ihm zu seinem größten Gegner wird. Er entschließt sich, zum Namenstag der Großmutter ein Gedicht aufzusagen. Erfolg will er nicht nur durch das Gedicht sondern auch durch sein gepflegtes Aussehen haben. Zufrieden betrachtet er seine Kleidung. „Наконец-то и у меня панталоны со штрипками, настоящие! — мечтал я, вне себя от радости, осматривая со всех сторон свои ноги. — Хотя мне было очень узко и неловко в новом платье, я скрыл это от всех, сказал, что, напротив, мне очень покойно и что ежели есть недостаток в этом платье, так только тот, что он немножко просторно”. (67) Die Lüge, Heuchelei schleicht unbemerkt in die Seele des Helden. Um sich Anerkennung zu verschaffen, behauptet er von der engen Kleidung, daß sie weit sei. Dies ist noch eine kleine Lüge, wir lächeln nachsichtig darüber. Hier sagt er bloß inbezug auf seine Kleidung nicht die Wahrheit, später will er aber schon sein wahres Ich leugnen, um sich der „wohlerzogenen“ Umwelt anpassen zu können. Vor dem Spiegel stehend müht er sich lange ab, die Haarbüschel auf dem Wirbel zu glätten. Kurz nach dem Vortrag des Gedichts, mit

dem die Großmutter sehr zufrieden war, obwohl Nikolenka fühlte, daß er gelogen hat, behauptend, die Großmutter wie die eigene Mutter zu lieben, besucht die Prinzessin Kornakowa die Familie Irtenjew. Der Vater stellt Nikolenka vor, er sagt, daß aus ihm ein Dichter werde. „— Который? — спросила княгиня, удерживая меня за руку. — А этот, маленький, с вихрами, — отвечал папа, весело улыбаясь”. (73) Nikolenka wird vom Vater an der empfindlichsten Stelle getroffen. „Что ему сделали мои вихры. . . разве нет другого разговора? — подумал я и отошёл в угол.” (73) Der Schriftsteller wählt an dem Äußeren seines Helden eine unbedeutende Kleinigkeit, die hartnäckig widerstehenden Haarbüschel, er stellt das Verhältnis Nikolenkas zu dieser äußeren Eigenschaft dar, und auf diese Weise erscheint vor uns das entstehende Geltungsstreben in Nikolenka. Auf diese Weise entsteht das Thema des Geltungsstrebens, aber nicht selbständig sondern kontrapunktisch zum Selbstwertstreben. Irtenjew ist erst sechs Jahre alt, wenn sich seine Mutter mit den folgenden Worten an ihn wendet: „— Ты это знай, Николенька, что за твоё лицо тебя никто не будет любить; поэтому ты должен стараться быть умным и добрым мальчиком”. (73) Die Worte der Mutter lösen im Helden entgegengesetzte Gefühle aus. Der erste Teil des Satzes findet im Geltungsstreben, der zweite im Selbstwertstreben ein Echo. „Эти слова не только убедили меня в том, что я не красавец, но ещё и в том, что я непременно буду добрым и умным мальчиком”. (73) Die breite Nase, die dicken Lippen und die kleinen grauen Augen bringen ihn in Verzweiflung, daß er Gott anfleht. „. . . я просил бога сделать чудо—превратить меня в красавца, и всё, что имел в настоящем, всё, что мог иметь в будущем, я всё отдал бы за красивое лицо”. (73—74) Für ein Kind bedeutet seine Gegenwart und die sich hoffnungsvoll entfaltende Zukunft alles. Das Kind lebt in der Gegenwart und Zukunft, in einem viel engeren, instinktiven Kontakt als der Erwachsene. Wird dem Kind seine Gegenwart und Zukunft entnommen, so hört es auf, zu existieren. Und der Held hätte für ein schönes Gesicht dieses alles, sich selbst, seine Existenz geopfert. Tolstoj gestaltet den grundlegenden Konflikt zwischen dem Selbstwertstreben und dem Geltungsstreben in Nikolenka, von dem die ganze Entwicklung des Charakters gekennzeichnet wird. Das Geltungsstreben kennt kein Erbarmen, keine Grenzen. Es verrichtet immer stärker seine zerstörende Arbeit, es vergiftet die echte, reine, harmonische Welt der Kindheit.

Jedes Gefühl, jeder Zustand hat eine äußere Verhaltensweise, Geste. Diese Bewegungen, Gesichtsausdrücke sind echt, natürlich, wenn sie von innen unwillkürlich stammen. Wir fühlen anhand unserer Erfahrung, daß die äußeren Ausdrucksformen der Gefühle von wahren, echten Erlebnissen koordiniert, zu einer Einheit geschmolzen werden. Das Geltungsstreben keilt sich zwischen die Gefühle und die Ausdrucksbewegungen ein, es trennt die ersten von den letzteren, vernichtet sie vielleicht vollkommen. Es entfaltet sich in Nikolenka ein falsches, unechtes Erlebnissystem. Der „comme il faut“ Mensch kümmert sich nicht um wertvolle moralische oder geistige Eigenschaften, er wendet seine Aufmerksamkeit bloß Äußerlichkeiten, den langen gepflegten Nägeln, modischen Kleidern, einem bestimmten, „vorgeschriebenen“ Verhältnis der Stiefel zu der Hose, der ausgezeichneten französischen Unterhaltung zu.

Das Ergebnis ist eine innere Verarmung, die Unechtheit, Forciertheit der Ausdrucksbewegungen. Es lohnt sich z. B. zu beobachten, daß die Musik ganz anders auf den Helden in der Kindheit als in der Jugend wirkt. Im 11. Kapitel der „Kindheit“ hört Irtenjew seiner Mutter zu. Sie spielt Klavier. „Маман играла второй концерт Фильда — своего учителя. Я дремал, и в моём воображении возникали какие-то лёгкие, светлые и прозрачные воспоминания. Она заиграла патетическую сонату Бетховена, и я вспоминал что-то грустное, тяжёлое и мрачное. Маман часто играла эти две пьесы; поэтому я очень хорошо помню чувство, которое они во мне возбуждали. Чувство это было похоже на воспоминание; но воспоминания чего? казалось, что вспоминаешь то, чего никогда не было“.(48) Das Erlebnis des Helden ist rein, echt. Der Erzähler erinnert sich an das Gefühl zurück, das von den Tönen des Klaviers in ihm hervorgeufen wurde. Tolstoj weist durch das Wort *etwas* (что-то) auf die Reinheit des Erlebnisses hin; man kann dieses Erlebnis nur fühlen und höchstens so ungefähr bestimmen. Die Echtheit des Erlebnisses wird auch noch dadurch dargestellt, daß es eine bewußtseins erfüllende Wirkung hat; höchstens mischt sich die einfachste Form des Denkens, die unsicheren, nicht bestimmbareren Spuren der Erinnerung, es wird von ihnen gefärbt, mal leicht und durchsichtig, mal traurig, schwer und finster. Tolstoj, nach N. G. Tschernyschewski, „наблюдает, как чувство, непосредственно возникающее из данного положения или впечатления, подчиняясь влиянию воспоминаний и силе сочетаний, представляемых воображением, переходит в другие чувства, . . .“²¹ Im 30. Kapitel der „Jugend“ erfahren wir, daß ein junger Mann ins Dorf kommt und auch die Familie Irtenjew besucht. Es stellt sich heraus, daß er gut Klavier spielen kann. Nikolenka beobachtet gespannt sein Spiel. „Мне очень нравилась его игра, поза за фортепьянами, встряхиванье волосами и особенно манера брать октавы левой рукой, быстро расправляя мизинец и большой палец на ширину октавы и потом медленно сводя их и снова быстро расправляя.“ (309) Der Held interessiert sich nicht mehr für die Tiefe, für das Wesen der Musik, sondern für die Ausdrucksbewegungen. Er haftet an den Bewegungen des Spiels, an der Pose, an dem Zurückwerfen der Haare, seine Aufmerksamkeit ist so intensiv, daß er auch die kleinsten Veränderungen in der Bewegung der Finger bemerkt. Die ausführliche Darstellung der Bewegung der Finger und des Äußeren des Mannes überhaupt weist auf die Intensität der Aufmerksamkeit hin. Diese Aufmerksamkeit wird aber vom Geltungsstreben gelenkt. Nikolenka prägt diese Bewegungen in sein Gedächtnis, damit er später durch sein Spiel einen ähnlichen Erfolg, wie der junge Mann, haben kann. Der Schriftsteller konkretisiert durch die ausführliche Beschreibung des Verhaltens dieses Mannes Nikolenkas Geltungsstreben.

Der Held der Trilogie wird von seinen Erlebnissen gelenkt. Tolstoj läßt seinen Helden fühlen, wo der richtige Weg ist, in welcher Richtung er den Sinn des Lebens suchen soll. In Nikolenkas Seele sind Schichten verschiedenster Tiefe vorhanden. Die oberflächlicheren Erlebnisse verlieren durch das Prisma

²¹ Н. Г. Чернышевский: «Детство и отрочество». Л. Н. Толстой в русской критике. Сборник статей. ГИХЛ, стр. 87.

der tieferen ihre Reinheit, Durchsichtigkeit. Die Erlebnisse des Selbstwertstrebens beschatten, stören die des Geltungsstrebens, die letzteren werden nie so ernst, zentral, bedeutend, wie die ersteren. Goethe schreibt: „Ein guter Mensch in seinem dunklen Drange, ist sich des rechten Weges wohl bewußt“²². Auf diese Weise könnte man den Seelenzustand von Irtenjew in der Jugendzeit charakterisieren. Erwachsen zu sein heißt bei ihm, sich die „comme il faut“-Normen der Aristokratie anzueignen. Er ist so weit mit der eigenen „Wohl-erzogenheit“ beschäftigt, daß er sich um die ernstesten, bedeutenderen Seiten des Lebens nicht kümmert. Die Universitätsprüfungen rücken immer drohender heran, aber er strengt sich an, seine Ruhe zu bewahren. Er ist ein Mensch vom „comme il faut“-Charakter, ihm muß alles gelingen. „... я был всю зиму эту в таком тумане, происходившем от наслаждения тем, что я большой и что я comme il faut, что, когда мне и приходило в голову: как же держать экзамен — я сравнивал себя с своими товарищами и думал: Они же будут держать, а большая часть их ещё не comme il faut, стало быть, у меня ещё лишнее перед ними преимущество, и я должен выдержать”. (358—359) D. h. Nikolenka befindet sich in einem Zustand von Umnebelung. Es ist in der Tiefe seiner Seele etwas, in dessen Spiegel er das Gefühl hat, daß sein gegenwärtiger Seelenzustand nicht der wahre ist, daß dieser Zustand nicht seinem innersten Wesen entspricht. Dieser sonderbare Zustand begleitet ihn bis zu den Prüfungen; er ist auch während der Prüfung gleichgültig und zerstreut. „Наконец настал первый экзамен, дифференциалов и интегралов, а я всё был в каком-то странном тумане, и не отдавал себе ясного отчёта о том, что меня ожидало”. (370) Irtenjew fühlt instinktiv, daß der rechte Weg bei Suchin und dessen Kameraden ist. Er fühlt, daß sie wirklich wertvolle Menschen sind, daß ihr Leben nicht von der aristokratischen „Sittlichkeit“, nicht vom Geltungsstreben, sondern vom Selbstwertstreben, vom Streben nach der Bereicherung an echten moralischen und geistigen Werten bestimmt wird. Dementsprechend sind sie nicht hochmütig, sondern bescheiden, einfach, natürlich, sie sind nicht auf das Lob ihrer Umgebung angewiesen. Suchins Stolz, das Bewußtsein der eigenen Vollkommenheit bewirken bei ihm keinen Hochmut, im Gegenteil: „Он знал, что он был умён, гордился этим и вследствие этой гордости был одинаково со всеми прост в обращении и добродушен”. (365) Nikolenka bemerkt, daß sie über Literatur und Musik mehr wissen als er. Er hat aber keine Zeit mehr, sich über die Wertlosigkeit der eigenen „Wohl-erzogenheit“ mit seinem ganzen Ich zu vergewissern, er ist noch mehr entfernt davon, sich gegen die Umwelt aufzulehnen, die in ihm das Geltungsstreben so unheimlich stark entwickelt hatte. Das bei den Rasnotschinzenstudenten entdeckte Gute kann in ihm nicht stärker werden, er ist zu sehr an die eigene Klasse gebunden. Nikolenka fällt in der Prüfung und gleichzeitig im Leben durch. Obwohl er sich am Ende der „Jugendzeit“ wieder dem Selbstwertstreben zuwendet, wissen wir, daß dieser Versuch hoffnungslos ist. Das Selbstwertstreben findet ja in der falschen, heuchlerischen Gesellschaft keinen äußeren Verbündeten, alles bleibt wie zuvor. Tolstoj weist mit dem Wort *plötzlich* (вдруг), wie so oft, auf die Tiefe und Heftigkeit der moralischen Neugeburt. Dies wirkt

²² Goethes Werke in zehn Teilen, Berlin—Leipzig—Wien—Stuttgart. Verl. Bong. Band 4. S. 13.

aber nicht überzeugend. „Я думал, думал и наконец, раз поздно вечером, сидя один внизу и слушая вальс Авдотьи Васильевны, вдруг вскочил, взбежал на верх, достал тетрадь, на которой написано было: „Правила жизни“, открыл её, и на меня нашла минута раскаяния и морального порыва. Я заплакал, но уже не слезами отчаяния. Оправившись, я решился снова писать правила жизни и твёрдо был убеждён, что я уже никогда не буду делать ничего дурного, ни одной минуты не проведу праздно и никогда не изменю своим правилам.

Долго ли продолжался этот моральный порыв, в чём он заключался и какие новые начала положил он моему моральному развитию, я расскажу в следующей, более счастливой половине юности“. (372—373) Der realistische Sinn des Schriftstellers hat gegen die Darstellung der weiteren Entwicklung des Helden protestiert. Die unveränderte gesellschaftliche Wirklichkeit gab dazu keine Möglichkeit. Es bleiben die Tatsache des moralischen Durchfallens, die zerstörende Kraft des moralischen Normensystems des „Comme il faut“ und die Frustration des Selbstwertstrebens, das in der Tiefe der Seele des Helden weiterlebt. Es bleibt, was W. G. Belinski als „тоска по идеалу“²³ bezeichnet hat. Mit diesen Worten kann der Seelenzustand von Nikolenka bezeichnet werden, dieses Gefühl bleibt in uns, nach dem wir die Trilogie gelesen haben.

Wir haben gesehen, daß der Held der Trilogie unter den Erlebnissen des Geltungsstrebens, das durch die aristokratische Umgebung ausgelöst wird, leidet. Seine Abwendung von der Aristokratie ist dadurch motiviert. Wenn sich aber Nikolenka unter den Vertretern der eigenen Klasse nicht wohl fühlt, an wen oder wohin soll er sich wenden, wohin soll er sich fliehen? Die Kindheit gehört unwiederruflich der Vergangeheit an. Er kann sich auch nicht endgültig in die Natur zurückziehen, er muß als Mensch weiterhin in der Gesellschaft leben. Tolstoj gibt auch auf diese Frage Antwort, wenn auch nicht so entschlossen wie seine abweisende Haltung gegenüber der Aristokratie. In der Trilogie gibt es auch die Vertreter des einfachen Volkes. Irtenjew fühlt die selbstlose Liebe von Natalja Sawischna. In der Gesellschaft dieser edlen Seele benimmt er sich frei, ungezwungen. „Бывало, под предлогом необходимой надобности, прибежишь от урока в её комнату, усядешься и начинаешь мечтать вслух, несколько не стесняясь её присутствием“. (55—56) Dieses Vor-sich-hin-Träumen ist eigentlich die Darstellung der Liebe von Natalja Sawischna. Der Held fühlt sich „gesichert“, aufgetaut, ausgeglichen. Ihre Liebe findet in der Tiefe seiner Seele ein Echo. Die Liebe ist ein wichtiges wenn auch kein zentrales Erlebnis des Selbstwertstrebens des Helden. Sie ist besonders in der Kindheit intensiv, in der Hauptsache der Mutter gegenüber. Später wird dieses Gefühl von der Natur immer wieder wachgerufen. Die Liebe ist die vereinigende Kraft zwischen dem Helden und der Natur. „И всё я был один, и всё мне казалось, что таинственно величавая природа, притягивающий к себе светлый круг месяца, остановившийся зачем-то на одном высоком неопределённом месте бледно-голубого неба и вместе стоящий везде и как будто наполняющий собой всё необъятное пространство, и я, ничтожный червяк, уже оскверненный всеми мелкими, бедными

²³ Л. И. Тимофеев: «Основы теории литературы» Изд. Просвещение, Москва, 1966, стр. 38.

людскими страстями, но со всей необъятной могучей силой воображения и любви, — мне всё казалось в эти минуты, что как будто природа, и луна, и я, мы были одно и то же“ (321) Der Tolstojsche Held ahnt schon in der Trilogie, daß der Sinn des Lebens in der tätigen Liebe liegt. Mit seinem ganzen Wesen erfaßt die Bedeutung dieser Liebe erst Andrej Bolkonski, dann Lewin, nachdem sich Olenin, der aus der unnatürlichen, unechten aristokratischen Welt zur Natürlichkeit der Kosaken und der Natur flieht, in dem Lebensideal der Natürlichkeit getäuscht hat.

Zur Intensivierung der Wirklichkeitstreue ist vor allem der Stil geeignet. Das Ziel des Schriftstellers ist die Darstellung seiner Aussage von abstrakten Ideen durch reiches Lebensmaterial. In Tolstojs Trilogie kommt sowohl die Darstellungs- als auch die Ausdrucksfunktion der Tropen (Gleichnisse, Metaphern, Attribute, Ironie usw.) maximal zur Geltung. Durch diese sprachlichen Mittel wird nicht nur das Äußere der Charaktere und ihrer Umwelt sondern auch ihr Seelenzustand ausführlich dargestellt.

Oft findet zwischen dem Helden und der Natur eine vollkommene Verschmelzung statt. In solchen Fällen bildet das Bild über die Natur gleichzeitig auch den Ausdruck der momentanen emotionellen Gefühlsregungen und des Seelenzustandes von Irtenjew. Im II. Kapitel der „Jugend“ (Der Frühling) stellt der Erzähler die aus dem Winterschlaf erwachende Natur folgendermaßen dar: „Какое-то новое для меня, чрезвычайно сильное и приятное чувство вдруг проникло мне в душу. Мокрая земля, по которой кое-где выбивали ярко-зелёные иглы травы с жёлтыми стебельками, блестящие на солнце ручьи, по которым вились кусочки земли и щепки, покрасневшиеся прутья сирени с вспухлыми почками, качавшимися под самым окошком, хлопотливое чиликанье птичек, копошившихся в этом кусте, мокрый от таявшего на нём снега черноватый забор, а главное — этот пахучий сырой воздух и радостное солнце говорили мне внятно, ясно о чём-то новом и прекрасном...“ (212) Zu Beginn der „Jugend“ wendet sich Nikolenka wieder mit neuer Kraft der „Einfachheit“, der „Aufrichtigkeit“ der Natur zu. Er hat während der Knabenjahre die Heuchelei, den „comme il faut“ Charakter seiner Umgebung kennengelernt und er sehnt sich in die reine, ausgeglichene, naive, konfliktfreie Welt seiner Kindheit zurück. Er findet eine solche Welt in der Natur. Das Zitat stellt denjenigen Seelenzustand dar, der im Helden unter der Wirkung der Natur entstanden ist. Im ersten Satz und im letzten Teil des zweiten Satzes weist der Schriftsteller unmittelbar auf diesen Zustand hin. Nikolenkas Seele wird von einem ganz neuen, außerordentlich starken und wohltuenden Gefühl erfüllt (какое-то новое чрезвычайно сильное приятное чувство). Tolstoj hat nach diesem Satz das Gefühl, daß diese Attribute nur ein armes Bild von der Gefühlswelt des Helden geben können. Deshalb stellt der Schriftsteller im ersten Teil des zweiten Satzes diejenigen Naturerscheinungen ausführlich dar, die dieses neue, starke und wohltuende Gefühl auslösen. Dieses Gefühl ist neu und stark. Nikolenka lebte lange Zeit unter Menschen und er entdeckt jetzt und saugt gierig auch die feinsten Regungen der Natur in sich. Das Naturbild wirkt durch die Attribute, attributive Konstruktionen und Nebensätze mit psychischer Überzeugungskraft auf uns. Der Held bemerkt nicht nur die verschiedensten Farben, sondern er hört auch

das *eifrige* Zwitschern der Vögel und spürt die *duftende, feuchte* Luft (хлопотливое пахучий сырой). Die Feuchtigkeit der Erde und der Luft erfrischt nicht nur die Naturerscheinungen sondern dadurch werden auch die Gefühle des Helden erfrischt, gereinigt. Alle Sinnesorgane werden von Tolstoj in den Dienst der Darstellung gestellt. Die Sonne ist für Nikolenka *fröhlich* (радостное). Dieses lyrische Attribut spiegelt den Grundton der Gefühle des Helden wie eine verkappte Metapher wider. Die Natur übt nicht nur „eine große Wirkung“ auf Irtenjew sondern sie *spricht* (говорит) von etwas Neuem und Schönem. Diese Natur lebt, nicht nur ihr eigenes Leben sondern auch das des Helden. Die Natur ist *schön* (прекрасна). Nikolenka sieht die Naturerscheinungen deshalb als schön, weil er spürt, daß seine innere Welt sichtbar wird. Diese Erscheinungen sind also von tiefem seelischem Inhalt erfüllt, wir bewundern zusammen mit dem Helden, durch den Helden das Naturschöne. Dieses Naturbild ist wahrhaftig in seiner Sinnlichkeit, in seinem Erfülltsein von Lebensmaterial.

Außer den Attributen findet man auch noch andere Formen der Tropen, die aber wesentlich seltener vorkommen. Da bei den Gleichnissen die Gefahr besteht, daß sie die Aufmerksamkeit des Lesers von der Charakterentwicklung des Helden ablenken, wendet sie Tolstoj selten an. Der Schriftsteller war sich darüber im klaren, daß in den guten Gleichnissen die verglichene Erscheinung mit der gleichenden miteinander in organischer Verbindung stehen sollen. Er übt scharfe Kritik an den Gleichnissen von Lamartine. „Сравнение одно из естественнейших и действительнейших средств для описания, но необходимо, чтобы оно было очень верно и уместно, иначе оно действует совершенно противоположно. „La lune sur un clocher comme un point sur un ‚i‘ — образчик неуместности сравнения, хотя принадлежит тому же великому Ламартину“.²⁴ Durch die wenigen aber künstlerisch vollkommenen Gleichnissen und Metaphern erreicht Tolstoj, daß ihre Funktion, durch ihre geringe Zahl, größer wird. Die wesentlichen Punkte der charakterlichen Entwicklung des Helden werden durch sie hervorgehoben.

Irtenjew bemerkt in den „Knabenjahren“ die Arroganz des französischen Gouvernanten, St.-Jérôme. Nikolenka haßt ihn, so stark, daß er den Franzosen auch schlägt. St.-Jérôme schließt ihn in die Kammer ein. Am nächsten Tag, an einem Sonntag, führt ihn der Franzose vor die Großmutter. Während sie durch den Saal gehen, wird Irtenjew von seinen Geschwistern und von Katenka beobachtet. Der Schriftsteller konkretisiert den Gesichtsausdruck von Katenka, Ljubotschka und Volodja durch ein Gleichnis. Auf diese Weise wird ihr Seelenzustand dargestellt. „Катенька, Любочка и Володя посмотрели на меня в то время, как St.-Jérôme за руку проводил меня через залу, точно с тем же выражением, с которым мы обыкновенно смотрели на колодников, проводимых по понедельникам мимо наших окон“ (174) Auf Nikolenka wird nicht mit solchem, sondern sogar *mit demselben* (точно с тем же) Ausdruck gesehen, mit dem gewöhnlich auf die Sträflinge geblickt wurde.

²⁴ Л. Н. Толстой о литературе. ГИХЛ, М., 1955, стр. 7.

Die Tropen lassen nicht nur den augenblicklichen Seelenzustand von Nikolenka erscheinen, sie konkretisieren die Umgebung nicht nur so, wie sie vom Helden in einem bestimmten Augenblick gesehen wird, sondern sie drücken auch das wertende Verhältnis des erfahrenen Erzählers den Ereignissen und Erlebnissen der eigenen Kindheit und Jugend gegenüber aus. Die Ausdrucksfunktion der Tropen wird belastet, sie drücken gleichzeitig den „damaligen“ und den „gegenwärtigen“ Seelenzustand, die „frühere“ und die „jetzige“ Meinung, wertende Haltung des Helden aus.

Zwischen den „Knabenjahren“ und der „Jugend“ bildet Nikolenkas Freundschaft zu Nechljudow die Grenze. Diese Freundschaft wird vom erfahrenen Erzähler durch eine Metapher charakterisiert. Diese Metapher stellt sowohl die vertraute, beginnende, harmonische Verbindung zwischen dem Helden und seinem Freund als auch die positive wertende Haltung des Erzählers dar. „Души наши так хорошо были настроены на один лад, что малейшее прикосновение к какой-нибудь струне одного находило отголосок в другом. Мы находили удовольствие именно в этом соответственном звучании различных струн, которые мы затрагивали в разговоре. Нам казалось, что недостаёт слов и времени, чтобы выразить друг другу все те мысли, которые просились наружу“. (203) Eine wahre Freundschaft entsteht nur zwischen Menschen, die hinsichtlich Weltanschauung, moralischer Gesinnung, Interessenkreises nahe zueinander stehen. In solchen Fällen erkennt man eigentlich seinen wahren Freund durch sich selbst. Es genügen ein Wort, eine Bewegung und der andere gewinnt sofort einen Einblick in die Welt der Gedanken und Gefühle. Diese tiefste, gleichzeitig aber auch die kleinsten Regungen innehabende innerliche Verbindung zwischen zwei Seelen, die Empfindlichkeit, Natürlichkeit dieser Verbindung wird durch nichts anderes als durch ein zusammengezogenes Gleichnis zwischen der Seele und einem empfindlichen Musikinstrument besser dargestellt. Eine solche Freundschaft kann nur zwischen aufrichtigen Menschen entstehen. Nikolenka wird von der inneren Leere und Heuchelei seiner Umgebung immer mehr gewürgt. Von einer solchen Freundschaft wird er erfrischt, seine seelischen Energien gesteigert wie von dem betäubenden Zauber des erwachenden Frühlings. Der Erzähler schätzt vor allem den Ernst, die Echtheit dieser Freundschaft hoch.

Es ist schon erwähnt worden, daß der Schriftsteller die charakterliche Entwicklung von Irtenjew unter zwei Aspekten darstellt. Der eine ist der ständig wechselnde Aspekt des sich in der Entwicklung befindenden Helden, der andere der des Erwachsenen-Irtenjews, der aus einer zeitlichen Entfernung seine Vergangenheit neugestaltet. Aus der Wertung des erfahrenen Erzählers gestaltet sich Nikolenkas aktueller, mit der Charakterentwicklung gleichzeitig wechselnder Aspekt heraus. Dadurch hebt sich diese Entwicklung als etwas Selbständiges, Einheitliches, Ganzes ab. Der Aspekt, die Erlebnisse, Gedanken des sich entwickelnden Helden bestimmen nicht nur seine Individualität in ihrer Einmaligkeit sondern diese Erlebnisse und Gedanken sind für eine bestimmte Entwicklungsphase typisch. Der Kinderheld hat seine eigene kleine Welt, die nur für das Kind im allgemeinen charakteristisch ist. Der kleine Nikolenka erfaßt seine Umgebung aus eigenem, kindlichem Aspekt,

reduziert, eingeschränkt. Er vertieft sich selbstvergessen in das Spiel. Das Spiel versetzt ihn in das Gefühl der inneren Freiheit. Nikolenka konstruiert durch die Phantasie eine Welt, in der er den Gegenständen der wirklichen Welt, seinen Spielkameraden und sich selbst eine bestimmte Rolle zuschreibt. Daraus erklärt sich Irtenjews feindliche Haltung Wolodja gegenüber, der diese Welt zerstören, die aus dem realen Leben genommenen Gegenstände ihrer Funktion im Spiel berauben und dadurch Nikolenka vom Spiel ernüchtern will. „Снисхождение Володи доставило нам очень мало удовольствия; напротив, его ленивый и скучный вид разрушал всё очарование игры. Когда мы сели на землю, изо всех сил начали грести, Володя сидел сложа руки и в позе, не имеющей ничего схожего с позой рыболова“, (44) Der Kinderheld dringt noch nicht tief in die Wirklichkeit ein. Der Schriftsteller hat aber die Absicht, jeden Moment der Charakterentwicklung für den Leser verständlich zu machen. Deshalb gibt er oft ergänzende Interpretationen, und so erfahren wir mehr über die Anfangsphase der Entwicklung des Helden. „С тех пор, как я себя помню, помню я и Наталью Савишну, её любовь и ласки; но теперь только умею ценить их, — тогда же мне и в голову не приходило, какое редкое, чудесное создание была эта старушка“. (55) Die Wörter *jetzt* und *damals* (теперь, тогда) drücken die Entfernung zwischen den zwei Aspekten aus. Später entwickeln sich die Intelligenz und die Gefühlswelt von Irtenjew und zwischen den zwei Aspekten erfolgt eine Annäherung. In vielen Kapiteln der „Jugend“ haben wir schon das Gefühl, daß Nikolenka über die Geschehnisse und über seine Erlebnisse im Augenblick des inneren oder äußeren Geschehens berichtet und daß er frühere Momente der eigenen Entwicklung noch während dieser Entwicklung interpretiert. Wenn der Erzähler die Erlebnisse des Selbstwertstrebens interpretiert, werden die zwei wertenden Aspekte auch emotionell miteinander in Deckung gebracht. Gleichzeitig mit der Annäherung der Aspekte können wir aber auch eine Entfernung feststellen, In dem Maße, in dem das Unehliche in Nikolenka dringt, wendet sich immer stärker der Erzähler von dieser falschen Richtung seines Lebens ab. Und während der Erzähler mit echter Begeisterung an die Kindheit zurückdenkt („Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства! Как не любить, не лелеять воспоминаний о ней?“ (62) fühlt man in seinem Ton echten Kummer, sogar Verzweiflung, als er sich an den „comme il faut“ Charakter seiner Entwicklung erinnert. Der Erzähler will den Leser vor der aristokratischen Umgebung abschrecken. Er glaubt, daß die Erlebniswelt, das Leiden des eigenen früheren Lebens nicht überzeugend genug wirkt. Er hält es für notwendig, seinen Widerwillen in einem besonderen Kapitel zum Ausdruck zu bringen. Das 31. Kapitel der „Jugend“ fängt auf die folgende Weise an: „...чувствую необходимость посвятить целую главу этому понятию, которое в моей жизни было одним из самых пагубных, ложных понятий, привитых мне воспитанием и обществом“. (312)

Im Charakter und in der Entwicklung des Helden sind viele autobiographische Züge. Die Trilogie insgesamt aber ist keine Autobiographie. Da sie aber in der Form der Erinnerung eines erwachsenen Menschen geschrieben ist, „... благодаря этой форме создаётся эстетическая ошутимость автобиографиз-

ма образа Николеньки Иртенъева . . .²⁵. Der Gang des Erzählens wird nicht von der realen Reihenfolge der Geschehnisse sondern vom freien Erinnerungsprozeß des Erzählers bestimmt. Der Erzähler erinnert sich an diejenigen Erlebnisse, Ereignisse zurück, die einst seine Entwicklung geistig oder emotionell wesentlich beeinflußt hatten. Das Variieren der doppelten Perspektive erweckt in uns die Illusion des selbstbiographischen Charakters, des persönlichen Erlebens, der Aufrichtigkeit, d. h. sie steht im Dienst der künstlerischen Wahrheit.

²⁵ Е. Н. Купреянова: *Лев Николаевич Толстой. Сборник статей*, стр. 73.

Ференц Лист в письмах А. К. Толстого

ЯН ОРЛОВСКИЙ

Среди выдающихся представителей европейской культуры, личных знакомых известного венгерского пианиста и композитора Ференца Листа (1811—1886) были, как известно, В. Гюго, О. Бальзак, А. де Мюссе, Г. Гейне, Жорж Санд, Н. Паганини и др. К числу его хороших знакомых и поклонников его таланта принадлежал также русский поэт и драматург Алексей Константинович Толстой (1817—1875). Хорошо образованный, владеющий несколькими иностранными языками автор «Князя Серебряного» много путешествовал по разным странам Европы, знакомился со многими выдающимися людьми. Во время своих заграничных поездок познакомился также и с Ференцем Листом, с которым он встречался в Риме и Веймаре. Они стали не только близкими знакомыми, но и настоящими друзьями, а в письмах Алексея Толстого можно найти очень много теплых и сердечных слов о венгерском композиторе.

Впервые вспоминает Толстой о Листе в письме известной русской поэтессе и переводчице Каролине Павловой (1807—1893). В этом письме от 22 февраля 1864 года, отправленном из Рима, где проживал тогда Лист, есть следующие слова:

С тех пор как мы в Риме, мы время от времени видим Листа. Вчера он был даже так любезен, что играл у нас, совсем не заставив себя просить. Он с удовольствием вспоминает время, проведенное вместе с Вами в Веймаре, и хранит о Вас самую лучшую память. Когда я ему сказал, что Вы перевели «Дон Жуана» и «Смерть Иоанна IV», два действия из которого были напечатаны, он выразил желание прочесть и то и другое и не раз повторил это в разговоре со мной¹.

Вторая заметка о Листе в письме К. Павловой от 3 апреля 1864 г. касается личной жизни композитора и его отношений с княгиней Каролиной Сайн-Витгенштейн, близкой знакомой поэта. Толстой писал здесь к Павловой:

Вам, наверно, известно, что муж княгини Витгенштейн умер. Это значит, что Лист вместо того, чтобы сделаться монахом, как уже предполагали, мог бы жениться и т. д. Говорю: вместо того, чтобы сделаться монахом, так как в газетах об этом была речь².

¹ А. К. Толстой: *Собрание сочинений*, том 4. Москва, 1964, стр. 160—161.

² Там же, стр. 162. См. также примечание 2 к этому письму.

В биографии Листа известен факт, что он познакомился с княгиней Витгенштейн в 1847 году в Киеве, и что она оставила мужа и уехала за границу, где жила вместе с Листом долгое время в Веймаре и Риме. Их брак не состоялся, а Лист, как известно, принял в 60-х годах малое пострижение и звание аббата. Об этом именно факте всоминает здесь Толстой.

С нескрываемым восторгом писал поэт из Рима в 1866 году об игре и мастерстве Листа-пианиста. В письме, адресованном своему другу, писателю и публицисту Болеславу Маркевичу, читаем следующее:

«Уже запечатав это письмо, вернее — заклеив конверт, я вдруг вспомнил, что ничего не рассказал Вам о Листе. Он по-прежнему чрезвычайно мил с нами. Вчера он у нас обедал с княгиней Шаховской, дочерью урожденной Четвертинской (Вы, кажется, видали ее в Дрездене), и после кофе, даже не дожидаясь наших просьб, сел за рояль и играл так, что совсем унес нас из мира обыденной жизни и перенес в иной мир, который мы уже не могли покинуть весь вечер. Тут уже не приходится говорить о приемах мастерства — даже те, к которым он прибегает, не замечаются или не ощущаются как таковые. Нет больше ни рояля, ни даже звуков, и мы воспринимаем их не слухом, а по-иному. Мне кажется, что никогда, даже и во время величайших своих триумфов, он не был ни так велик, ни так прост в своем величии»³.

В письме княгине Сайн-Витгенштейн от 20 февраля 1867 года Толстой обещал получить копию «полной красок и оригинальности» музыки Серова к своей трагедии «Смерть Иоанна Грозного», чтобы прислать ее «нашему милому г-ну Листу». В заключении письма поэт добавлял:

«Скажите, пожалуйста, нашему милому и доброму Листу, с какой дружбой, с каким глубоким уважением мы думаем о нем. Скажите ему, что я его целую от всего сердца и что его часто вижу во сне»⁴.

Эти слова вполне достаточно характеризуют отношение Толстого к венгерскому композитору, чувствуется в этих словах правдивая сердечная дружба и глубокое уважение.

В 1868 году была поставлена на веймарской сцене известная трагедия Толстого «Смерть Иоанна Грозного» в переводе К. Павловой на немецкий язык. Постановке пьесы содействовал Лист, читавший ее раньше и давший ей хорошую рекомендацию. Автор трагедии выразил ему за это искреннюю благодарность в письме от 2 февраля 1868 года, обращенном непосредственно к нему:

«Дорогой господин Лист!

Испытываю сейчас внутреннюю потребность написать Вам, чтобы сказать, что мне принесла счастье царящая в Веймаре духовная атмосфера, которая исходит от Вас. В течение недели, что я нахожусь здесь, я много думал о Вас, думал с чувством дружбы и благодарности (поверьте, что это не пустая фраза), и если я прежде всего Вам обязан принятием

³ Там же, стр. 179—180.

⁴ Там же, стр. 204—205.

ва веймарскую сцену моей трагедии «Смерть Иоанна», то мне также приятно думать, что той магнетической силе, которой Вы подкрепили Вашу рекомендацию, я обязан действительно неожиданным успехом этой пьесы при первом ее представлении»⁵.

В конце того же письма поэт обращался к Листу с очень милыми, дружелюбными словами:

«Послезавтра я уезжаю к жене в Петербург. Не прошу Вас писать нам, Вы и так слишком заняты, но думайте иногда о нас, любящих Вас сильнее, чем это можно выразить словами. Да хранит господь, дорогой господин Лист, от всей души обнимаю Вас. Напомните обо мне княгине Витгенштейн.

Всецело Ваш
Алексей Толстой»

В письмах, обращенных княгине Витгенштейн, Алексей Толстой всегда просил передать слова любви «многолюбимому аббату Листу». В письме княгине от 26 мая 1873 года находится следующая интересная заметка:

«Как я счастлив, что моя баллада нравится Листу. Проезжая через Дрезден, я ее отдал г-же Павловой, и она в два дня перевела семь строф — великолепно. Как только перевод будет готов, она пошлет один экземпляр Листу, один мне, и я сейчас же перешлю Вам копию»⁶.

Говорится здесь о балладе «Слепой», положенной на музыку Листом. Этот факт был трогательно принят поэтом, о чем он сообщал в другом письме княгине Витгенштейн:

«Я не нахожу слов, чтобы благодарить Листа за его желание употребить свой гений для изложения песни моего сердца, и честь, которую он хочет мне сделать, наполняет меня гордостью и радостью; я тоже не могу выразить ему, насколько я тронут и благодарен за его дружбу. Я его часто вижу во сне, и чувство, которое я тогда испытываю, — чувство *безграничного* преклонения, которое меня возвышает в моих собственных глазах. Скажите ему, что я его люблю — вот все, что я могу выразить словами»⁷.

Из письма к К. Павловой от 14 февраля 1875 года узнаем, что Лист сам обращался в своих письмах к Толстому с просьбой прислать перевод баллады «Слепой», интересовался также и другими балладами, но они не подходили к характеру его музыки. Как видно, знакомство Листа с поэтом не осталось без влияния на творчество венгерского композитора. Написал он также музыку на слова следующего лирического стихотворения Толстого:

Не брани меня, мой друг,
Гнев твой выразится худо,
Он мне только нежит слух,

⁵ Там же, стр. 226.

⁶ Там же, стр. 411—412.

⁷ Там же, стр. 437.

Я слова ловить лишь буду,
Как они польются вдруг,
Так посыпятся, что чудо, —
Точно падает жемчуг
На серебряное блюдо!⁸

В тесных и близких контактах Алексея Толстого с представителями культурной жизни разных народов, его знакомство и дружба с Листом является важным и интересным фактом, который нашел отражение в музыке композитора и оставил глубокий след в переписке русского поэта с его друзьями и знакомыми.

⁸ См. А. К. Толстой: *Собрание сочинений*, том I. Москва, 1963, стр. 745 (примечания).

„Arbeit“ und „Kollektiv“ im sowjetischen Kurzroman

L. JAGUSZTIN

Unser Jahrhundert ist die Epoche der großen Schöpfungen und Veränderungen. Es erschafft nach der antiken und christlichen Kultur ein wahrhaftigeres Daseinserlebnis bietendes wissenschaftliches Weltbild des Menschen, das frei von jeglichem Mythos ist. Die Weltgestaltung ist das Ergebnis kollektiver Bestrebungen, ihre Gründe bilden, von Anfang an, die verschiedenen Kollektive unterschiedlichen Grades der Organisiertheit. Als ihr Mitglied, fühlt das Individuum die strafende Armut seines Daseins verleugnet. Durch diese Kollektive wird sein Gefühl, das Individuum schreite unafhaltsam auswärts aus der Welt, aufgelöst. Der Mensch ist letzten Endes egoistisch. In jeder seiner Tätigkeit beschäftigt er sich mit sich selbst; er ist durch sein Selbstbewußtsein extrem und fatal dazu prädestiniert. Der Mensch ist unfähig, den Problemen und dem Sinn seines Daseins allein ins Auge zu schauen. Deshalb ist er gezwungen, sich zu gruppieren. Dadurch erhält er im Kollektiv Unterstützung und Beschränkungen zugleich. So kommt ein bipolares Verhältnis zustande, neben dem Stoffwechsel zwischen Mensch und Natur, zwischen dem Individuum und der Gesellschaft als einem Kollektiv.

Dieses sich stets reproduzierende Verhältnis ist sehr hierarchisch, in seiner konkreten Verwirklichung ist es unter dem Gesichtspunkt des Daseins der Persönlichkeit bei weitem nicht harmonisch. Die Grundtendenz unserer Geschichte besteht darin, eine bequeme Existenz für Individuen zu sichern — durch die Übereinstimmung der Interessen, das ist nur unter den Verhältnissen des Kollektivs perspektivisch zu lösen. Diese realisierten Variationen waren nie annehmbar vollkommen. Ihre Entstehung ist zwar gesetzmäßig, aber ihre Verhältnisse haben sich verändert, sie sind für die unter ihnen lebenden Einzelnen nicht lebensfähig.

Die Unzufriedenheit hat sich letzten Endes im Subjekt realisiert, eine ganze Reihe von Reaktionen auslösend: Von dem Versuch eines höhnischen Außenstehens, den kritischen Individualismus und die Kapitulation hindurch bis zur tätigen Aufruhr, vorwiegend aber als ein individueller Versuch, oder eine spontane Gruppierung ist sie zum Vorschein gekommen. Das angehäuften Material von Erfahrungen hat sich nur allmählich zum Erkennen der gesell-

schaftlichen Gesetze formuliert, bis man erkannt hat, daß auch das gesellschaftliche Dasein bewußt und richtig zu formulieren sei, werde man das innerhalb einer im Existenzkampf in der Natur entstandenen Gruppierung mit kollektiven Entschlüssen tun. Die Idee und die Wirkungskraft des Kollektivismus kennt man schon seit langem. Die erfolglosen Versuche der Kollektivisten haben des öfteren den Gedanken der Hoffnungslosigkeit in der Gesellschaft inspiriert, als hätten die wirkenden Kräfte, ihre an dem Menschen meßbaren Verhältnisse verloren. Gegen diese Verhältnisse versucht das Individuum in den personalen Beziehungen ein Gegengewicht zu suchen, wenn die Gesellschaft in ihrer Gesamtheit ihm keinen Schutz gewährt; sie ruft sie sogar hervor. Dieses Gegengewicht kann helfen, aber es ist nur in bestimmten und konkreten Einzelfällen, und nur vorläufig möglich, wie es zum Beispiel den Helden des Romans „Drei Kameraden“ von E. M. Remarque gelingt. N. Janowsky¹, der die Idealtypen und Wirkungskräfte der neuesten Sowjetliteratur analysiert, kommt zu der Erkenntnis, daß die Wirkung der Idee des Kollektivismus dermaßen stark sei, daß die Erschütterung oder ihr Verlust zu einem tragischen Lebensgefühl führt, sowie zur Zersplitterung und Verzerrung der Persönlichkeit.

Die kollektive Reaktion, der Kollektivismus ist nicht homogen: Von einer geringen Möglichkeit (mindestens zwei Personen braucht man zur Handlung) kann sie die gesamte Menschheit umfassen, abhängig von Ziel und Möglichkeiten.

In der künstlerischen Bearbeitung bedeutet der Kollektivismus einen menschlichen Wert, wenn sich das Subjekt in den bestimmten Situationen danach richtet und sich seine Einstellung konsequent in solchen Reaktionen realisiert, die ein sozial positives Ergebnis aufweisen. Hier kommt das Prinzip der kollektiven Nützlichkeit zur Geltung, sollte es momentan auch dem ausführenden Individuum eine Schädigung, oder einen Energieverlust bedeuten. In hervorragenden historischen Ereignissen (Krieg, Revolution) ist diese Handlung eine Pflicht, die auch durch den Zwang eines Befehls eingehalten werden kann. Unter ruhigeren Umständen ist sie freier, freiwilliger.

In der sowjetischen Gesellschaft ebenso, wie in allen Ländern, wo eine Diktatur des Proletariats entstanden ist, hat der Kollektivismus die materiellen Grundlagen für die kollektive soziale Handlung durch das Kollektiveigentum geschaffen. Er hat den ausschließlich individuellen teilenden Charakter der materiellen und existenziellen Interessenunterschiede aufgelöst, dadurch ist die kollektive Handlung für das neue Menschenbild zu einer gesamt-gesellschaftlichen erweitert worden. Das kollektive Handeln ist in den Jahren des Aufbaus in Form der physischen Teilnahme aufgetreten in den Strukturen der Kollektive verschiedener Ebene. Heutzutage ist das Hauptgebiet der gegenseitigen Fürsorge: die Formung der Persönlichkeit, heldenhafte gelegentliche Selbstaufopferung und Hilfe, sowie Schaffung harmonischer, geistiger Verhaltensmechanismen durch Nachahmung, Belehrung und persönliche und gemeinsame Aufeinanderwirkung. Irgendwie nach intensiver und extensiver

¹ Н. Яновский: Романтический подход, Октябрь, 1963/1

Vollkommenheit strebend, die Hierarchie von dem Gesamtgesellschaftlichen bis zum Einzelnen übereinstimmend. In dieser Beziehung wird versucht die Konfliktmöglichkeiten zu entdecken und für sie eine richtige Lösung zu finden. Das Gleichgewicht der allgemeinen Interessen der Bevölkerung ist die optimistische Absicherung, die diesen Kollektivismus vom Eventuellen zum Pflichtmäßigen, Permanenten macht.

Die Anerkennung des Primats des Kollektivums und die Geltendmachung auf der Ebene verschiedener sozialer Strukturen kann sich realisieren, Hauptgebiet aber ist die Arbeit, Interessenschutz der bauenden Gesellschaft. Das Gebiet ist anders geworden, die malischkinschen „gottverlassenen Menschen“ sind infolge der technischen Entwicklung schneller erreichbar.

In den Figuren von Tschwilichin, Granin, Makanin, Aksjonow, Rekemtschuk wird irgendwo neben dem Bewußtsein des Eigenwertes der Persönlichkeit die erkannte Einstellung, die Achtung der Gemeinschaft sichtbar. In den Arbeitssituationen bei Aschajew, Ehrenburg, Malischkin, Kirow hat der Triumph des Kollektivprinzips vorwiegend eine handlungs- und konfliktlösende Rolle. Im allgemeinen wird die Lösung durch die Vernichtung und der Enthüllung der regierenden Kräfte gegeben.

Bei den Zeitgenossen von Tendrakow, Konezki, und Rekemtschuk ist die Gemeinschaft mit ihrem äußeren Rahmen gegeben und ihre vorhandene Struktur läßt innerhalb ihrer geschlosseneren Welt die Verhältnisse zwischen den Individuen kämpfen. Selbst die Wirkung der Arbeit bekommt aber keine direkten Funktionen, wird nur außerhalb der Geschehnisse im Leser formuliert, das heißt die Wirkung wird in den Beziehungen fortwährend reproduziert, sie ist kein einmaliges und auf eine bestimmte Weise wirkendes Mittel, sondern eine ständige innere Komponente. Dubinin wird in dem „Dreier, Siebener, As“ zum Fall gezwungen, weil der Gedanke, — „außer dir leben auch noch andere“ in der Brigade nur nach seiner Abführung aufbricht, und auch das, daß die Hilfe nicht nur für den in seinem Leben bedrohten Menschen natürlich ist.² Deshalb können sie gegen den Willen Buschujews nicht auftreten und erleben nur ihren Kontrapunkt, sie fühlen sich dabei von allem frei. Der Brigadier ist gerade in dieser Hinsicht über seine Männer gestellt. Sein Leiterinstinkt und Verantwortungsgefühl rettet die Brigade von den destruktiven Absichten Buschujews. (Es ist ein uraltes Motiv, daß der Leiter eines Kollektivs für dessen Mitglieder und statt ihrer kämpft.)

Die Gemeinschaft Zipljakows oder Balujews, ihre Arbeitskollektive sind anderer Prägung.³ Der Charakter der Arbeit und der Leiter in seiner Person garantieren die Übereinstimmung der Interessen. Sie sind vervollständigte Nachfolger der krimowschen Basow-Figur, wo das dargestellte Prinzip in den Individuen seinen Willen durchführt. Um einen Grad selbstbewußter, aber ein wenig so, wie in den Werken mit Kriegsthemen, wo die Situation nur die Kollektividee fetischisiert, und sie zur zwangsmäßigen macht. Jede verleugnende

² В. Тендряков: Тройка, семёрка, туз, Москва, 1966, *Находка*

³ В. Кожевников: Знакомьтесь, Балуев! Москва, 1966

Variante bekommt antihumanen und negierenden Charakter, so daß die Möglichkeit der Wahl normalerweise ausgeschlossen ist.

Auch die Erlebnisse und Ereignisse des Krieges werden in den 60er Jahren in den Werken von Scholochow, Bondarew, Simonow neu formuliert gestaltet, an Stelle des streitenden Volkes tritt der kämpfende Mensch, der sich vor dem Tode fürchtet, der leben wollte, der aber weiß, daß einer sterben muß, um die anderen zu retten.

Der Schüler im Roman von Okudschawa reift in einer sich aufopfernden Gemeinschaft zum Soldaten.⁴ Der Kurzroman von Meras trägt den Titel „Was hält die Welt zusammen?“⁵ Die Antwort ergibt sich aus dem Verhalten der Heldin, die Hilfe und die Vereinigung sollen perspektivisch immer erfolgreich sein. Dies hält die Welt der Menschen mit unterschiedlichen Interessen zusammen. Der Hauptheld erzieht ein im Krieg verwaistes Kind, er pflegt und hütet es für eine bessere friedliche Zeit. Der Kollektivismus bekommt dadurch eine breitere, allgemeinere Bedeutung und auch seine beispielgebende Geltung ist universeller. Zoltán Héra macht irgendwo eine sehr treffende Bemerkung über eine ähnliche Lösung, daß jene das übertrieben harmonische Verhältnis des absoluten Individuums des Kollektivistens sei. Die Autoren rufen solche Modelle von Persönlichkeiten ins Leben, in deren Beziehungen der chronikartige Charakter durch den wertenden Gedanken abgelöst wird. Aksjonow spricht einmal in einer seiner Schriften über seine Erlebnisse in Japan.⁶ Einmal bleibt ein neugieriger Tourist in einer Gletscherspalte stecken. Der Schriftsteller sagt folgendes: „Und wir alle, die dabei waren, abgesehen von unseren politischen Ansichten und unserer religiösen Zugehörigkeit, halfen ihm herauszuklettern. ‚Friedliche Koexistenz‘ — dachte ich.“ Die Szene selbst ist wohl eventuell naiv und unbedeutend, der Gedanke aber erscheint bei ihm erneut: die natürlich gewordene Einstellung zu helfen ist das größte Kollektiv innerhalb der menschlichen Beziehungen. In seinem Kurzroman „Die Kollegen“ ist der moralische Sieg des Helfens, der auch zusammenschmiedet, konventionell didaktisch, sogar seine auf Freundschaft beruhenden Gründe machen die Handlung steif und zu konventioneller Pflicht, mag der Autor auch noch so sehr danach streben, den Schein der Eventualität durch die räumliche Entfernung der Figuren zu stärken.⁷ In der Erzählung „Es ist Zeit, mein Freund . . .“ ist der Hauptheld schon ein Vertreter des vollständigen Kollektivums, dessen natürliches Lebenselement die Annahme und Formung jeglicher Gemeinschaft ist, deshalb kämpft er gegen die Mörder des getöteten unbekanntes Chauffeurs so, als ginge es um seine eigenen Freunde.⁸

Die Qualität der Struktur hat sich aber nicht nur bei Aksjonow verändert. Die lokal geschlossene und funktional bestimmte Gemeinschaft hat den

⁴ Б. Окуджава: Будь здоров, школяр, Калуга, 1961

⁵ И. Мерас: На чём держится мир?, Москва, 1966

⁶ В. Аксёнов: На полпути к луне, Москва, 1966

⁷ В. Аксёнов: Коллеги, Москва, 1961

⁸ В. Аксёнов: Пора мой друг, Москва, 1965

Arbeiter-Intellektuellen als Grundtyp. Der Schauplatz ist in die innere Welt des Individuums und die Familie verschoben worden. Der Einzelne verwirklicht sich im Kollektivum, das sich selbst im Individuum immer vollständiger macht. Die Grundlagen für die Selbstverwirklichung bilden die Homogenität der Werte und die Gleichheit der Partner. Die interpersonalen Beziehungen beruhen auf den von störenden Interessen freien Eigenwerten. Sollten sie auch zuweilen auf eine Probe gestellt und verzeichnet dargestellt werden, wie bei Edward Sim oder Kasakewitsch und Wiktor Rewunon.

Koshewnikow „Tage, die sich verändern“, Rekemtschuk „Langweilige Gegend“, Ribakow „Todesursache Gift“, Wladimow „Der echte Erz“, Antonow „Der zerrissene Rubelschein“, Wolodin „Übernimm die Inspektion“, Sanitschew „Im Sturm“, Granin „Forscher“, Tendrjakow „Kurzschluß“, Aksjonow „Apfelsinen aus Marokko“ . . . stehen die Kurzromane nebeneinander, als Beweise dafür, daß die Arbeit einen neuen, veränderten Charakter zeigt. Sie ist auf ein gleiches Niveau mit dem ausführenden Menschen gesunken. Sie hat eine neue Qualität, die physische Leistung ist natürlich geworden, der Arbeiter, der Techniker, der Ingenieur schaffen mit Vernunft und der Maschine. Nicht den Wald, den schlauen Lagerwärter und den korrupten Bauleiter hat man zu bewältigen, sondern die Probleme einer Kandidatsarbeit und die Schwierigkeiten der modernen Planung.

Die Arbeit hat die fehlerhaften und irrenden Helden, und sie hat diese auf ein gleiches Fundament mit denen gestellt, die sich von vornherein gut verhielten. Während der inzwischen verflossenen Zeit sichert die Häufung der Hindernisse eine dauernde Handlung, die sich mit ihrer Struktur dem hierarchischen Beziehungssystem der Figuren anpaßt, das aber oft mit den qualitativen Stufen der ausgeführten Arbeit zusammenklingt. Die Schwierigkeiten benötigen in erster Linie eine Willensanstrengung, um die in Raum und Zeit geschlosseneren umständlichen und persönlichen Verhältnisse umzuformen.

Koshewnikow versucht in seinem Werk „Tage die sich verändern“ diesen Problemkreis geschichtlich zu bearbeiten. Die Vorgeschichte der einzelnen Figuren vereint die charakteristischen Richtungen einer Epoche. Sidor Iwanowitsch ist eine umgreifende und wertende Persönlichkeit, er ist der Bauleiter, die Arbeit ist das Wesen seiner Individualität, dies beweisen vor allem seine Gedanken. Er hält das für natürlich und heldenhaft zugleich, für eine alltägliche Heldentat, die in ihrer zeitlichen Ausbreitung breiter, in ihrer Energie und Form weniger gefällig und auffallend als die kämpferische Aufopferung ist, es ist aber eben seiner Dauerhaftigkeit zufolge wohl auch eine schwierigere menschliche Aufgabe. „— Wir alle haben also einen Schlüssel. Jeder will jederzeit besser sein als er selbst. Nun das ist nur der einzige Schlüssel zum Menschen, der nicht nur für sich allein leben will, sondern auch für die Menschheit“ (140). Seine Frau, Ljudmilla Porfirjewna ist seine gleichrangige Lebensgefährtin, die immer arbeitete, im Krieg als Krankenschwester tätig war, momentan im Straßenbau, ihr Sohn ist gestorben, sie gebärt erneut ein Kind, ihr ganzes Leben ist von einer energischen Selbstaufopferung durchdrungen. An hand der mit komplizierten Ereignissen gefüllten Geschichten von Wjetoschkin werden die Fragen des Personenkults veranschaulicht, Finnikows

Egozentrismus stellt fast jeder einen Beziehung ihren Kontrapunkt gegenüber.⁹ Im Grunde genommen werden diese drei Lebensbereiche im Straßenbau vertreten. Die Kontakte der Figuren werden sehr wenig dargestellt, der Dialog kommt sehr selten zu Wort, er wird durch rivalisierende Ausführungen ersetzt. Die Arbeit auf dem Bau dient eher nur zur Bezeichnung der gegenwärtigen Zustände. Was in dieser Beziehung fehlt, ist alles im Kurzroman „Ich stelle Balujew vor“ dargestellt. Beide zusammen wirken sehr harmonisch und vollkommen. Auch Pawel Gawrilowitsch ist Bauleiter von Beruf, er leitet das Legen einer Gasleitung, seine Frau studiert und beschäftigt sich mit Forschungsarbeit, sie opfert nicht nur für das Wohl der Gemeinschaft. Die Gedanken führt auch hier der Kommentar des Autors, und die abwechslungsvolle Reihe von Erinnerungen, die Momente der Gegenwart treten als Beweise auf. Die Arbeit bekommt aber größere Geltungsbereiche mit all ihren Schwierigkeiten und der gesellschaftlichen Notwendigkeit der zuerschaffenden Leistung.

Ähnliche Gedanken werden durch die Figuren G. Guljajews und des Ingenieurs Skirdin im Kurzroman von J. Karpow „Ufer in Bewegung“¹⁰ in konventioneller und schlichter Lösung mitgeteilt. Der Grundinhalt des Lebens ist auch hier die Arbeit, die die individuellen Energien in sich aufsaugt, und verewigt ebenso wie die Aufgaben und die Befriedigung. Die gesellschaftliche Anerkennung der Tätigkeit vergrößert die Sicherheit der Selbsteinschätzung der Bauenden. Die potentielle Möglichkeit der Erfolglosigkeit unterstreicht die Notwendigkeit und das Verantwortungsgefühl aber die Art der Aneinanderknüpfung der Geschehnisse, die nichts Neues darbietet, dem Leser weniger Spannung gewährt. Die krimowsche Kampffähigkeit der Charaktere ist trotz ihrer Wahrhaftigkeit nicht im Stande, ein die Sympathie überschreitendes Interesse im Leser hervorzurufen, infolge des Wiederholens und der Durchschnittlichkeit der Handlungsformen. Der ein wenig demonstrative Anblick führt nicht zu stärkeren Erlebnisschichten, ebenso wie in der Geschichte des Ingenieurs Mironow bei A. Ribakow.¹¹ Es ist zwar wahr, daß die Mitteilung modischer ist und die Zurückerinnerungen mischen sich mit der die Ursachen suchenden Gegenwart, aber die durch die Zeitebenen gegebenen Möglichkeiten bleiben nur geschickte technische Griffe. Die Bearbeitung des die Epoche umfassenden angehäuften Lebensmaterials in einer ereignisreichen, lesenswerten Form wird unnatürlich.

Markanter stellt die Möglichkeiten seiner Geschichte Tendrjakow im „Kurzschluß“¹² dar. Die Handlung ist wie gewöhnlich bei ihm sehr gedrängt und enthält ein gewichtiges Element. Wegen eines Kurzschlusses wird das elektrische Licht in einer Stadt einige Minuten ausgeschaltet, danach wird es wieder angeschaltet. Deswegen bricht in einer Chemiefabrik Feuer aus, und ein Mensch kommt um. Der Tod ist der Konfliktansatz wie in mehreren anderen Kurzromanen. Nirgends ist der Tod selbst tragisch, in der Regel

⁹ В. Кожевников: *День*, Москва, 1966

¹⁰ Ю. Карпов: *Сдвинутые берега*, Москва, 1968

¹¹ А. Рыбаков: *Лето в сосняках*, *Новый мир*, 1964/12

¹² В. Тендряков: *Короткое замыкание*, Москва, 1964

spielt er als Requisite eine Rolle, das Zentrum des Problems wird durch die Verbindung der Lebenden kompliziert. Iwan Sokowitsch hat das Gefühl, er solle die moralische Last auf sich nehmen, wegen der ungestörten Unterhaltung der Leute, wegen ihres gelegentlich-zufälligen Sterbens. Auf dieses Doppelmoment schichtet sich jedes Element des Geschehens: Sein Verhältnis zu seinem Freund im Elektrizitätswerk, der sein Untergebener und zugleich Schwager ist, dem in seinem Leben nie gegönnt wurde, das aktive Handlungsmoment selbst leiten zu dürfen; die Geschichte seines Sohns und seiner Schwiegertochter, das Erwarten des Kindes und die Geburt; die wohlgesinnten Taten der unbekanntenen Helfer. So teilt sich das Geschehen in drei Schauplätze: Sokowins Wohnung, das Elektrizitätswerk und den Chemiebetrieb und vereint sich wieder in der Identität der Figuren. Tendrjakow wendet die Schicksale seiner Gestalten etwa auf seine traditionelle verleugnende Weise befriedigend. Niemand wird ein offenes, unbeantwortetes Dilemma haben, die Moral wird formuliert. Bei ihm wird der Gedanke, in einer ungewöhnlich zivilisierten, städtischen Umgebung ausgesprochen, allein die robust geformten Figuren bewahren etwas von der natürlichen und offenen Härte.

Die Arbeit, als eine Art der gesellschaftlichen Tätigkeit, steht also auch heute im Wertang der Möglichkeiten an erster Stelle, ihre Formeigenart ist aber klarer geworden, sie ist kein Ziel, nur ein Mittel um die einzelnen harmonischen Zustände zu erreichen. In dieser Qualität ist nicht der wirklicher Verlauf das wichtigste, sondern die Bereicherung der Ausführenden an Eigenschaften und Werten während des Arbeitsprozesses. J. Susun sagt im Kurzroman von Lipatow folgendes:¹³ „Wenn der Mensch im Sterben liegt, kann der Wert seines Lebens danach bestimmt werden, wieviel unvollendete Sachen auf der Erde zurückgelassen hat.“ Er ist schon Rentner, kann aber nicht ohne Tätigkeit existieren, geht auf seinen Arbeitsplatz, führt Verhandlungen, sucht fast selbstquälerisch die Arbeitsgelegenheit, die für ihn die Existenz bedeutet, womit er seine Kraft und seine Fähigkeiten auf die Probe stellt, und sie rechtfertigt, und zugleich den Sinn alles bisherigen. (Im Kurzroman von M. Venturi „Der letzte Segler“ fliehen die alten Seeleute mit einem wackeligen Schiff auf das Meer hinaus, sonst würde sie das Nichtstun töten, die Erinnerungen an die Tätigkeit sind quälend lockend, die Ankunft im Hafen verjüngt sie und setzt sie im Wert höher.)

Es wird oft mit übernommener Annäherung dem Erschweren der Umstände der Tätigkeit der Größe der Anstrengung gemessen. Je mehr es beseitigte Hindernisse gibt, desto edler und stärker ist die Persönlichkeit der Sieger. Um der physischen Beanspruchung, des Risikos willen bereitet der Autor seinen Helden Schwierigkeiten. Die Handlungsmomente sind dementsprechend Einheiten von gleicher Struktur, in denen sich die Verhältnisse der einander gegenüberstehenden Positionen (Aufgabe—Mensch) ändern, und sich etwa parallel vergrößern. G. Wladimow schickt in „Der echte Erz“ zwei „Erze“ in

¹³ В. Липатов: Смерть Егора Сусуна, Москва, 1966

den Kampf, in dem der echtere Erz Wiktor siegt, sollte er auch sein Leben aufs Spiel setzen.¹⁴

Für das Erschweren der Umstände bietet sich eine günstige Möglichkeit dadurch, daß der Schauplatz auf ferne Gebiete umgesetzt wird, wo der traditionelle und zugleich erneuerte Kampf um die Bezwingung der Naturkräfte dem Resultat einen höheren Rang verleiht. Es wird oft beispielsweise ein Unternehmen im Fernen Osten gewählt mit seinem harten Klima. Diese Grundsituation wird dann mit den zuständigen in der Produktion, der Leitung, der Versorgung mit Baumaterial oder die Reinheit der Arbeit betreffend vereint, eventuell mit strukturellen Schwierigkeiten einer kleineren Gemeinschaft, wie Freundschaft, Liebe, Neid. Eine verhältnismäßig neuere Lösung ist dir, daß aus der Reihe der Verhältnisse und Möglichkeiten das unmittelbare Verhältnis zwischen Mensch und Arbeit in den Vordergrund gestellt wird, und das Resultat wird nicht durch die Beedigung der Bauarbeiten sondern durch die Umformung der Eigenschaften des Arbeitenden, die Bekräftigung seiner Charakterzüge präsentiert. Der junge Held in Wereschtschagins Kurzroman „Saisonarbeiter“ erlebt diesen Prozeß während der Steinförderung.¹⁵ Die Figuren von S. Antonow im „Leerlauf“ ertragen auf eine lobenswerte Weise die harte Winterkälte und die Schneewehe samt den inneren Konflikten ihrer geschlossenen Welt mit Betrug und Liebe, bis die erwünschte Reinheit der Beziehungen befriedigend wiederhergestellt wird.¹⁶ (Ein treffendes Beispiel dafür ist das Schicksal Legostajews und Shamins in den Schriften von Tschiwichilin.)

Die nordischen Erdölarbeiter und ihre Lebensmöglichkeiten werden in „Skudny Matjorik“ von Remektschuk, den „Apfelsinen aus Marokko“ von Aksjonow dargestellt, im Norden bauen die Helden von S. Woronin eine neue Eisenbahnlinie, in dem Kurzroman: „Zwei Leben“. Sehr schwer können die Menschen in diesem scheinbar endlosen Raum vorwärtsdringen, in der Welt der Jäger und Holzflößer, aber sie bezeichnen hoffnungsvolle Lösungen, wenn auch nur in ihren Perspektiven. Die Arbeitsfakten sind zwar weniger geworden, und ihr Dasein ist natürlicher, mehr innere Kontrapunkte findet man in dem Prozeß der Produktion, die Entwicklung der Charaktere wendet sich an sich selbst.

Die Arbeit ist das Element, das für die Erfüllung eine Garantie gewährt, der philosophischen Grundkonzeption des Handlungsbaus entsprechend. So wird eine beliebige Reihe der Variationen von den einzelnen Momenten durch solche Elemente abgeschlossen, die keine weitere Ergänzung wünschen. Die Umgebung erneuert sich ständig, die Verhältnisse und Fragen sind veränderlich, die Anzahl der Mittel und ihre Kompliziertheit wächst, aber der Endpunkt ist gemeinsam, nämlich der letzte, schaffende Mensch, für dessen Tätigkeit die Bedingungen vorhanden sind. Der Mensch kann entsprechend seinen Vorstellungen seine Welt für das Wohl seiner Gemeinschaft umformen.

¹⁴ Г. Владимов: Большая руда, Москва, 1960

¹⁵ Н. Верещагин: Сезонники, Москва, 1961/1

¹⁶ С. Антонов: Пустой ход, Москва, 1964

Dabei findet er immer Möglichkeiten, tätig zu sein, auf weltliterarischem Niveau oder wohl in der Weltliteratur alleinstehender Eintracht und Fleiß.

Die Anschauung des Lesers und des Autors werden durch die Errungenschaften der Wissenschaft und der Technik indirekt oder unmittelbar umgestaltet. Sie treten auch als neue Themen auf: Wiktor bei Aksjonow macht kosmobiologische Versuche, der Hauptheld im Makanins Kurzroman experimentiert auf dem Gebiet der Physik, Kostrow bei Nagibin bekommt ein neues Herz. Auch der Stoff der Kunst ist neu: Fahrrad oder ein Pkw als Komposition, in dem Kurzroman von Heinrich Böll „Ende einer Dienstfahrt“ stecken Johann und Georg Gruh einen Pkw in Brand. Da die Sache heikle Folgen haben kann, behandelt sie das Gericht der kleinen Stadt liberal, es nimmt an, daß das Entzünden des Pkw und dessen Umstände ein künstlerisches Produkt seien, eine eigenartige und modische Form der Gedankenäußerung.¹⁷ Die bildenden Künste haben schon seit langem die Grenzen der konventionellen Anwendung des Materials überschritten. Modisch sind die verschiedenen Metalle und Kunststoffe, sowie die sog. kombinierte Verwendung des Materials. Auch in der Wortkunst erscheinen die neuesten Ereignisse der Sprachforschung. Es ist interessant, daß was die äußere technische Verwendung des Materials betrifft, bewahrt dieser Kunstzweig jedoch die Traditionen am meisten. Wahrscheinlich deshalb, weil er nicht selbständiger Besitzer der angewandten Materien ist, so daß er die Entwicklung nicht primär bestimmen kann. Aber sie können im Hintergrund der Persönlichkeitsfragen als Zeiger der Entwicklung, als Bauzeichen erscheinen. Und der Einmarsch der Resultate der Sprachforschung in die Wortkunst wird des weiteren seine Intensität vermehren, denn das Erkenntnismaterial verdoppelt sich jedes fünfte Jahr, wächst die Zahl der interdisziplinären Gebiete und ein einfacher Haushalt von heute ist besser mechanisiert, als ein Betrieb vor 150 Jahren.

Dem Tempo der Entwicklung zu folgen und zu registrieren, ist eine nicht geringe Aufgabe. „In der zweiten Hälfte des 20. Jh. ist die Kunst auf aller Welt zum Rückzug gezwungen. Sie hat wohl scheinbar ihre Wirkungsbereiche schon verbreitet: Die Höhe der Auflagen der Romane ist überall bedeutend gestiegen, die Zahl der Besucher der Museen und Ausstellungen hat sich erhöht. Massen gehen ins Kino, das Fernsehen ist entstanden. Dennoch hat heute im Leben von Vielen die Kunst eine geringere Rolle, als früher. Dem sollte das Zurückbleiben der Sprache, der Kunst hinter den unerwarteten Wendungen in der Wissenschaft und dem gesellschaftlichen Leben zugrundeliegen¹⁸ „sagt Ehrenburg in seinen Erinnerungen, und dabei ist er beim Aufwerfen des Problems nicht zu weit gegangen. Heutzutage spricht man sogar über „zwei Kulturen“ nicht selten stellt man die Frage: „Entweder Vergil oder die Technik“. Einen Teil der von dem ersteren gewährten Erkenntnisse hält man für überflüssig, veraltet, für den Menschen von heute und morgen für wirkungslos, so daß ihre Aneignung durch die Individuen keinen Sinn hat. Roger Garaudy schlägt in seinem Antwortbrief an Paul Sartre vor, man habe unbe-

¹⁷ H. Böll: Ende einer Dienstfahrt, Erzählung — Köln — Berlin, 1966

¹⁸ И. Эренбург: Люди, годы, жизнь, Москва, 1964

dingt die Erkenntnisse der Psychologie, Soziologie und der Naturwissenschaften in die Kunst tiefer einzubauen, damit die Welt mindestens aktiver zu erklären sei, könne die Kunst sie sowieso nicht verändern.

Die veränderten Umstände fordern mit veränderten Erkenntnissen versehene Individuen, deren Umgebung immer mehr nicht von uns unabhängig existiert, sondern durch unser Mitwirken und für uns. Deshalb müssen wir ihre Welt erkennen. Das Subjekt wird in seiner Umgebung geboren, es ist aber nicht im Stande, sie in ihrer Gesamtheit zu verstehen und auch durch Lernen begreift es nur deren Wesenscharakter, sehr stark vereinfacht.

Es wendet seine Umgebung an, es arbeitet auf mehreren Gebieten übt aber statt der komplexen schaffenden Arbeit eine simplifizierte Tätigkeit aus. Die Rolle seiner Urteile und Entschlüsse in bestimmten Situationen hat an Bedeutung verloren. Die Umwelt paßt den ihr Funktionieren Menschen sich selbst an, sie verwischt sein gesellschaftliches Wesen, beschränkt seine Persönlichkeit auf bestimmte Fähigkeiten. Dementsprechend beurteilen die Mitglieder der Kollektive einander. Georg Klaus sagt, der Mensch lenkt die Arbeit der Maschine, die aber dessen Tätigkeit regelt, und die Anpassung zwischen ihnen ist gegenseitig: „Zwischen Menschen und Maschine besteht eine Symbiose, deren maschinelle Seite in vieler Hinsicht den Menschen der Maschine unterordnet hat.“¹⁹ Die ständige, monotone Informationsflut verdrängt die Gehirntätigkeit, uniformisiert die Fähigkeit — den Ausweg meint er in den adaptiven Maschinen und der Bionik gefunden zu haben, sowie in der sorgfältigeren Vorbereitung der Fähigkeit im strukturellen Umformen der motivierenden Faktoren.

Die heutige burgeoise Ideologie hat — mit den wirklichen Problemen manipulierend — die verschiedenen Nuancen des Technizismus zustandegebracht. Die Ansichten von Spengler, Jaspers, Dessauer und anderen prüfend, schreibt László Ágoston folgendes: „Der Technizismus vereinfacht und banalisiert die komplizierten Wechselwirkungen des Lebens der Gesellschaft. . . Er versieht die moderne Technik mit solcher Kraft, als ob sie — durch ihre technischen Eigenarten — Politik, Staatsform, Moral, Schönes, Weltanschauung, Eigenschaften des Menschen, Zukunft des Menschen und der Gesellschaft unmittelbar bestimmte.“²⁰

Die Technik wurde mit einer von der nötigen breiteren Bedeutung bekleidet, obwohl es wahr ist, daß von der Maschinenstürmerei an, durch die fantastischen Vorstellungen von Verne und Welles, bis zu den heutigen Tagen viele geahnt haben, daß die Produkte des Menschen unter gewissen Verhältnissen über ein selbständiges Dasein verfügen und der Leitende nicht fähig ist, auf die spontanen Erscheinungen seiner Umwelt bewußt zu reagieren. Babits totalisiert in seinem Kurzroman „Elsa, die Fliegerin“ die Zustände des I. Weltkrieges, die Maßstäbe und Einrichtungen der Kriegstechnik zu einer fantastischen Größe verzerrend, die die menschliche Gesellschaft schon völlig unter sich

¹⁹ G. Klaus: Kybernetik in philosophischer Sicht Berlin, 1963

²⁰ L. Ágoston: Az ember és a technika (Der Mensch und die Technik), Budapest, 1965

gezwungen und uniformisiert hat.²¹ Die die Freiheit darstellende Schöpfung, die schon eine vergegenständlichte Form hat, wandte sich gegen ihre Schöpfer und bedrohte ihn. Reporter haben Charles Chaplin gefragt, warum er in der Konsumentengesellschaft, in der Great Society in Amerika nicht leben wolle, worauf er antwortete: „Amerika hat sich verändert, ebenso wie New York. Die Veränderungen in der Industrie, die erschütternden Maßstäbe der kommerziellen Reklame, die Presse und das Fernsehen haben mich von Amerika entfremdet. Ich bevorzuge die andere Seite der Medaille, das schlichtere, individuellere Leben...“²² Ja, die Urbanisation mit ihrem unglaublichen Komfort hat Vielerlei aus dem Leben des zivilisierten Menschen verdrängt. Die Masse wird einsam, von außen gelenkt; die Persönlichkeit wird verengt, sie hat eine günstige Position, sie erfüllt gesellschaftliche Verpflichtungen, befriedigt Ansprüche, wird zur Funktion degradiert, das Odium der Entschlüsse überträgt sich auf andere.

All dies ist so summiert, daß das Verhältnis zwischen dem Menschen und der von ihm zustandegebrachten *zweiten* Natur *entfremdet* ist, die ursprünglichen Funktionen sind verblaßt und verändert: die Formung der Natur, das Zustandebringen der Produktionsverhältnisse bedrohen und zerstören die Formung des Menschen.

Die Grundquelle dafür sah man auch in dem die zweite Natur erzeugenden Prozeß, in der Arbeit. Man hat das Gefühl, heute gelte ausschließlich indirekt das alte Prinzip. Die Umwelt sei das Produkt des Menschen. Der hineindenkende Kafka bezweifelt, ob die gesellschaftlichen Strukturen über dem Menschen angepassten Verhältnisse und Funktionen verfügen. Und auf Grund der Erscheinungen wird wohl auch noch Sartre recht haben: Das Subjekt existiert anders, als das „aus seiner Existenz folgen würde“.

Bei der Untersuchung der differenzierten Erscheinungsmöglichkeiten der Entfremdung taucht die Frage auf: Kann man beim Vorhandensein gewisser Ähnlichkeiten der Erscheinungen ihr Wirken unter den gesellschaftlichen und ökonomischen Verhältnissen des Sozialismus aufweisen?

Adam Schaff, der polnische Philosoph hat den ganzen Fragenkomplex zu seinem Untersuchungsmaterial gewählt, und hat die folgenden Hauptgebiete unter dem Gesichtspunkt der Entfremdung bezeichnet: — Der Mensch ist in jedem Paar die unveränderte Komponente — Die Natur infolge der Urbanisation; die Arbeit, als etwas beschränkte Gehirntätigkeit Forderndes; die Gesellschaft, ihre hierarchische Institutionsart; die Bewußtseinsformen und er selbst.²³ Er meint, es sei die Möglichkeit ihrer Auflösung vorhanden, da die Entstehung der entfremdeten Verhältnisse nicht notwendigerweise aus den sozialistischen Verhältnissen folgt. Er macht nur auf dem Gebiet der Arbeit gewisse Vorbehalte, indem er die Verkürzung der Arbeitszeit für einzige Lösung hält. András Diószegi erwähnt als Gegenbeispiel die in

²¹ M. Babits: *Elza pilóta vagy a tökéletes társadalom* (Der Pilot Elsa oder die einwandfreie Gesellschaft), Budapest, 1934

²² Ch. Chaplin: *My autobiography*, Harmondsworth, 1966

²³ A. Schaff: *Le marxisme et l'individu*, Paris, 1968

hohem Grade vergesellschaftlichte Arbeit des sowjetischen Aufbaus in den 20er 30er Jahren, wo die humanisierende Wirkung der Arbeitstätigkeit zweifellos nachweisbar ist.²⁴ Diese waren aber außerordentliche Situationen, die Tätigkeit hat sich meistens auf ein großes Unternehmen beschränkt, wo Harmonie zwischen der Teilarbeit und dem Endziel existierte. In den 50—60er Jahren bei der qualitativ neuen und permanenten Produktion sind die Bedingungen schon anders geworden.

Kostja und Wolodja bei Makanin sind auch im Bewußtsein des Endzieles, mit den ihnen zugeteilten Aufgaben nicht zufrieden, denn sie sehen ihre Bedeutung nicht.²⁵ Der junge Mathematiker, in seinem Erstlingsroman hat wohl die ersten Erlebnisse seiner eigenen Laufbahn aufs Papier geworfen. Sie rechnen und rechnen ins Unendliche, bekommen aber nur nach längerer Zeit selbständige Aufgaben, während der Versuche ist ein Mensch umgekommen, die Fahndung beginnt, wer den Fehler begangen hat. Wolodja geriet in Verdacht, wird aber endlich freigesprochen und beide arbeiten weiter. Die gerade Linie wird zum Symbol der Ereignisse. Das Problem wird im allgemeinen objektiviert geschildert, meistens durch die wiederholte Funktionierung irgendeiner sachlichen Form, durch ihre ungewöhnliche Verwendung, so kann man die nichtvorhandene Identifizierung anschaulich machen. Die jungen Helden des Kurzromans „Fahrkarte mit Stern“ stehen während ihrer Abenteuer mit einem Kolchos in einem Arbeitsverhältnis, Dimka arbeitet auf einem Bau. „Dem Fuchs bauen wir einen Stall.²⁶ Nimmst dir zwei Ziegel und legst sie auf das Laufband. Das haben sie fein ausgedacht, diese Teufelmaschine: das Förderband. Es wartet nicht. Nimmst dir zwei Ziegel, legst die auf das Band unten sind immer weniger Ziegel geblieben, die Wand ist aber kaum höher geworden. . . Nimmst dir zwei Ziegel und legst sie auf das Laufband, nimmst dir zwei Ziegel, legst sie auf das Laufband.“ Der monotone Rhythmus der wiederholten Sätze gibt die bei weitem nicht abwechslungsreiche Eigenart der Arbeitstätigkeit wieder. Das ist eine Ergebnislosigkeit die sogleich die von anderen, von der Gesellschaft zu eng determinierte Lebensmöglichkeiten symbolisiert. Mit dem Verstehen der Aufgabe wird hier die schöpferische Tätigkeit schon abgeschlossen. Besonders steigert die Kontrastwirkung, daß es hier um Teenagers geht, die bisher noch keine andere Arbeit geleistet haben. Der Autor hat die Effektivität der Formulierung auch mit Kontrapunktierung unterstützt. Am nächsten Tag bekommt der rebellierende und protestierende Dimka eine neue Möglichkeit zu arbeiten: „Und ich breche mit Krampe eine alte Mauer, die niemandem nötig ist. Ich breche mit Krampe die alte Mauer! Mit Krampe breche ich sie! Ich breche sie! Krampe auf die Schulter und los, weitergehen! Durch die ganze Welt, mächtige zerfallende niemandem nötige, alte Mauern suchen, und mit voller Kraft sie zerschlagen. Das ist nicht dasselbe wie Ziegel auf ein endloses Laufband legen. Sehr interessant ist es zu beobachten, wie das anfangs konkrete Bild durch die Gegenüberstellung und den

²⁴ A. Diószegi: A mai regény vilásképe (Das Weltbild des heutigen Romans), Budapest, 1966

²⁵ В. Makanin: Прямая линия, Москва, 1965/8

²⁶ В. Аксёнов: Звёздный билет, Юность, 1961/6—7

einzelnen wiederholten Wechsel der Ebenen symbolische Bedeutung bekommt, die Erläuterungsmöglichkeiten der visuellen Teilmomente und der rhythmischen Einteilungen der Satzparallele vertiefen.

In der Deutung des Niederreißen der alten Mauer gehen die Variationen auseinander, bedeutet es die hemmenden Traditionen zu zerstören, oder wird dadurch das Streben nach Neuem, und dessen Dialektik gezielt: Es wird gebaut (es wird zerstört oder es ist einfach ein Mittel der bildlichen Gegenüberstellung. Die Bilderreihe wird am Ende des Kurzromans ergänzt, das Haus der jungen Hauptfiguren „das Barcelona“ wird abgerissen, der Zerfall der Alten ist hier nicht das Symbol der Aktivität, sondern das der Auflösung der bisherigen Lebensweise.)

Das Verhältnis zwischen der Erfüllung einer Teilaufgabe und dem nach selbständigem Schaffen strebenden Individuum wird in einem anderen Kurzroman von Aksjonow, „den Kollegen“ mit gleichem und umgekehrten Vorzeichen vertreten, in dem Kettenglied-Motiv hat jede Arbeit gleichen Wert, das ist wichtig. Wird die eine schlecht gemacht, bricht die Kette. Aber der Unterschied im Lebensalter motiviert Dimkas Abneigung, der mit Demut auszuführende Arbeit, denn eine Eigenart seiner Generation ist, das sie schnell Feuer und Flamme dafür ist, wofür sie, älter geworden, mit Stolz arbeitet. Der Grund des Verhaltens ist die sich formende Arbeitsmotivation, das Streben in der bewußten Formung der Persönlichkeit, die Unzufriedenheit zu vermeiden, die materielle Sicherheit und die geistige „Gesundheit“ ins Gleichgewicht zu bringen.

Die völlige Entfremdung der primären Natur ist sehr selten, vielleicht nur in den Geschichten, die ausschließlich auf städtische Schauplätze konzentriert sind. Aber auch dort nicht mit der bewußten Absicht, um die Distanz zwischen Mensch und Natur begrifflich zu machen. Das ist wohl selbstverständlich, denn die sowjetischen Städte sind nicht überfüllt und das ganze Land verfügt auch über „nichtzivilisierte“ Naturgebiete. Nur in Spuren ist es zu erkennen, daß man in einigen Städtebildern die Naturerscheinungen sehr rationell, hinsichtlich der Nützlichkeit und der Funktion betrachtet.

Dagegen erscheint z. B. bei Saligin, Tendrakow, Kasakow die Natur in ihrer Schönheit an sich, oft ohne jegliche Kultur, in ihrer Originalität. Im Kurzroman von Kasakow „Teddy“ macht die Beschreibung der Bilder des Lebens der Wälder einen bedeutenden Teil aus, auch die Schilderung der Schonungslosigkeit und Freiheit des Lebens; etwa die Anwesenheit des zugreifenden Menschen ablehnend.²⁷

All das sind unmittelbare Erscheinungsformen der Technik, die sich bildlich im allgemeinen kaum aktivisieren. Die Erkenntnisse der Wissenschaft sind auf indirekte Weise noch organischer in der künstlerischen Widerspiegelung.

Es scheint einfach zu sein, die dargestellten Lebensgebiete um den Helden herum voneinander abzutrennen, die Zahl der Möglichkeiten ist nicht zu groß, und es lohnte sich, nicht alle daraus aufzuzählen. Das Verhältnis der

²⁷ Ю. Казаков: Тедди, Москва, 1966

erscheinenden Werke wird heute in die Richtung der Intellektuellen und Arbeiter-Intellektuellen, entsprechend der sozialen Zugehörigkeit der Figuren. Es ist überflüssig, die gesellschaftliche und historische Annäherung getrennt zu deuten, ihre Grundsätze sind einander sehr stark bedingt.

Die Aufmerksamkeit der Kurzromane richtet sich nur selten auf frühere geschichtliche Fakten. Einerseits, weil unsere Gegenwart genügend Material anhäuft, andererseits sich die Gesichtspunkte der Bearbeitung verändern; die Gesamtheit unseres Weltbildes löst sich in Häufung von Fakten auf. Der Anspruch auf eine andauernde, epische Darstellung ist kein wirkender Faktor, weil die rasche Veränderung der sachlichen Elemente ihre Gültigkeit sowieso fragwürdig machen würde.

Angesichts der Beziehungsformen der Figuren stehen die Beziehungen zwischen Generationen und die Lage der einzelnen Generationen im Mittelpunkt des Interesses, in erster Linie infolge der gesellschaftlichen Entwicklung der jüngsten Vergangenheit. Die beliebteren Lösungen der konkreten Realisationen: Die Schilderung der Spannungsfelder innerhalb der Familie, die Herstellung der personalen Beziehungen oder das Spiel mit dem einsamen Helden, mit den Spannungsmöglichkeiten der wirtschaftlichen oder kulturellen Hierarchie in den kleineren Gemeinschaften.

Unter den ausgeübten Tätigkeiten steht die Arbeit an erster Stelle, mit all ihren Beziehungen und Verhältnissen, vor allem aber der Sieg der physischen Anstrengungen und die Probleme der Verstärkung der geistigen Beanspruchung spielen eine größere Rolle. Neuerdings bekommt die Thematik über die engeren Tätigkeitsformen der Persönlichkeit eine Verbreitung, insbesondere in bezug auf die Bereicherung des Inhaltlichen, wie: Liebe, Freundschaft, Genossen. Die Zahl der Werke, die das Verhalten bevorzugen, nimmt ständig zu.

Das Verhältnis zur Handlung wird allmählich zu traditionell traditionsleugnenden. Die Rolle der Handlung im Gedanklichen spielt eine größere Rolle. Die Elemente gewinnen dadurch eine größere Selbständigkeit. Die Merkmale können ihre Besitzer beliebig wechseln, ihre Reihen sind willkürlicher, umwechselbar die Darstellung der Wirklichkeit wird subjektiver. Die kompositionellen Lösungen sind abwechslungsreicher, aber zugleich in reiner Form beschreibbar, da die übrigen Prinzipien in der Verteilung der Elemente selbständiger und dauernder ihren Willen zur Geltung kommen lassen.

Mit der in der Regel konstatierbaren Verengung der Handlung gestaltet sich die heraufbeschwörende Wirkung intellektueller. Man wendet sich öfters den gegebenen Vorstellungsmöglichkeiten der logischen und bildlichen Verbindungen zu. Nicht selten ist die leitende Absicht unendlich rein, besonders wenn es sich um pragmatisch verbindungssuchende Grundbeziehungen handelt, wo die These nach ihren eigenen Beweisen forscht. So entsteht eine ganze Reihe von neuen Analysen, Romanstudien, Problemromanen, Thesenromanen, pragmatischen Romanen, Gedanken- oder Essayromanen. Das beweist zugleich die verhältnismäßig reinere und schärfere Absonderung der einzelnen Bedeutungsschichten.

Diese Modalitäten werden im sowjetischen Kurzroman mäßig verwendet, die ästhetischen Grenzen werden durch das Prinzip umgezeichnet: der epische Held kann seine die ganze Welt formende Handlung nicht leugnen, weil er dadurch sein Wesen fragwürdig machte.

**Ритмико-метрическая структура стихотворения Я. Смелякова:
«Если я заболею»**

Н. ШЛИТСКАЯ-ЯНОШКА

1. Эстетическое воздействие литературного произведения часто находится в прямо пропорциональной зависимости от внутренней организации его текста, от его упорядоченности соответственно законам построения художественного произведения. Анализ этой внутренней организации может быть одним из аспектов изучения текста. Предметом анализа нами выбрано стихотворение Ярослава Смелякова «Если я заболею...». Исследователя в этом стихотворении привлекают такие его особенности, как метафорическая насыщенность, построенная на соединении единиц разных, несовместимых в обыденной речи лексических полей (*постелите мне степь, занавесьте мне окна туманом*), ярко выраженный параллелизм синтаксических конструкций и некоторые особенности его ритмико-метрической структуры.

Первоначально эта статья была задумана как анализ метафорического уровня рассматриваемого стихотворения, но в процессе работы выяснилось, что без исследования более низких уровней организации этого текста такой анализ был бы неполным. Поэтому целью данной статьи является попытка исследовать первоначально одну из сторон внутренней организации стихотворения, а именно его ритмико-метрический уровень.

Вместе с тем ритмико-метрический уровень рассматриваемого текста может служить яркой иллюстрацией одного из общих принципов построения художественного произведения, так называемого «закона третьей четверти», который заключается в том, что «если взять текст, который на синтагматической оси членится на четыре сегмента, то почти универсальным будет построение, при котором первые две четверти устанавливают некоторую структурную инерцию, третья ее нарушает, а четвертая восстанавливает исходное построение, сохраняя, однако, и память об его деформации»¹.

Особенностью метрической системы этого стихотворения является то, что фоном, на который накладывается «живая игра ударений» стихотворного текста, является двухстопный анапест (двухкратный трехдольник третий с двухдольной анакрузой, контрольный ряд [— —] [— —]]). По мнению Г. Шенгели «этот раз-

¹ Ю. М. Лотман, *Анализ поэтического текста*, Ленинград, стр. 51 (в дальнейшем — АПТ).

мер, как все двухстопные, редок, встречается преимущественно с женскими и мужскими окончаниями, то есть, наращенным и полномерным². Этот основной размер разнообразно комбинируется автором не только с одностопным, двухстопным, трехстопным и четырехстопным анапестом (одно-, трех- и четырехкратный трехдольник третий), но и с двух- и трехстопным амфибрахийем (трехдольник второй) и с двухстопным дактилем (трехдольник первый).

В «Поэтическом словаре» Квятковского³ говорится о том, что «большой мерой правильного ритмического процесса является тактометрический период, он объединяет в себе кратное количество элементарных групп — не менее трех и не более шести трехдольников», следовательно, двухкратному трехдольнику как бы не дается «гражданских прав». Это делает исследование ритмико-метрической структуры такого характера еще более заманчивой.

Кроме того, имеются две редакции рассматриваемого стихотворения, что дает возможность сопоставить два варианта ритмико-метрической структуры одного и того же текста и проследить эволюцию авторского мастерства. В статье сначала рассматривается ритмико-метрический уровень позднейшего варианта, потом сопоставляются два имеющихся варианта между собой.

Так как понятия стопы и краты (малая метрическая мера многодольников) при ритмологическом анализе трехдольников совпадают (по Квятковскому), не видим препятствий к использованию в данной работе традиционной терминологии: анапест, амфибрахий, дактиль.

2. Вторая редакция стихотворения перепечатывается по сборнику 1967 года⁴:

1 Если я заболею,
2 к врачам обращаться не стану.
3 Обращаюсь к друзьям
4 (не сочтите, что это в бреду):
5 постелите мне степь,
6 занавесьте мне окна туманом,
7 в изголовье поставьте
8 ночную звезду.

1 Я ходил напролом.
2 Я не слыл недотрогой.
3 Если ранят меня в справедливых боях,
4 забинтуйте мне голову
5 горной дорогой
6 и укройте меня
7 одеялом
8 в осенних цветах.

1 Порошков или капель — не надо.
2 Пусть в стакане сияют лучи.

² Г. А. Шенгели, *Техника стиха*, Москва, 1960, стр. 73 (в дальнейшем — *Техника стиха*).

³ А. Квятковский, *Поэтический словарь*, Москва, 1966.

⁴ Я. Смеляков, *Избранные произведения*, Москва, 1967, Т. 1, стр. 74.

3 Жаркий ветер пустынь, серебро водопада —
4 вот чем стоит лечить.

1 От морей и от гор
2 так и веет веками,
3 как помотришь — почувствуешь:
4 вечно живем.
5 Не облатками белыми
6 путь мой усеян, а облаками.
7 Не больничным от вас ухожу коридором,
8 а Млечным Путем.

Анализ ритмико-метрического строя данного стихотворения показывает, что он представляет собой строго упорядоченную структуру, характеризующаяся сложной соотношенностью упорядоченностей и их нарушений, где «сами нарушения — упорядоченности, но лишь другого типа» (АПТ, стр. 50).

Подсчет и запись ударных и безударных слогов (см. таблицу 1) дает следующую картину: большинство ударений приходится на 3, 6, 9 и 12 слоги, что соответствует анапесту; три строфы имеют равное количество (по четыре) стихов с двухстопным анапестом (АН²); исключение составляет третья строфа, где АН² встречается только один раз — в конце строфы.

Стихотворение построено из четырех строф. Первая, вторая и четвертая состоят из равного количества стихов: каждая — 8; третья строфа имеет всего 4 стиха (ровно половину S^{1*}, S² и S⁴), т. е. стиховая кратность в строфе не нарушена (четное число стихов в строфах). Ритмическая структура первого стиха первой строфы расшифровывается не так легко. Здесь вызывает сомнение: куда падает ритмическое ударение и падает ли оно куда-нибудь вообще, кроме предпоследнего слога, т. е. в принципе возможны варианты:

—	—	—	—	—	I	—
—	—	I	—	—	I	—
I	—	—	—	—	I	—
+	—	I	—	—	I	—

Помимо прочего, выбор варианта зависит и от того, считать ли я проклитикой: *язаболёю* или самостоятельно звучащим словом. М. Л. Гаспаров пишет, что «сомнительные ударения — это вечный вопрос (рязрядка моя, Н. Ш.—Я.) о тонировании и атонировании отдельных слов»⁵. Нам кажется, что наиболее

* Используемые в статье условные обозначения: N — количество слогов; АН² — двухстопный анапест (индекс — число стоп); АМ — амфибрахий; Д — дактиль; КМ, КЖ, КД — клаузулы: мужская, женская, дактилическая; нр — стопа, наращенная на один слог; ус — усеченная стопа; СД — ритмический сдвиг; f_{max} — самая длинная строка в строфе; f_{min} — самая короткая строка в строфе; : — 'представляет собой'; ⊃ — знак включения; n — количество ударений; S — строфа (индекс наверху — порядковый номер строфы, внизу — стиха).

⁵ М. Л. Гаспаров, Акцентный стих Маяковского, *Труды по знаковым системам*, Тарту, 1967, стр. 328.

Изометрическая таблица 1

Слоги Стихи ↓	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	N	n	m	
1	+	—	I	—	—	I	—							7	2	3	АН ² нр су КЖ
2	—	I	—	—	I	—	—	I	—					9	3	3	АМ ³ КМ
3	—	—	I	—	—	I								6	2	2	АН ² КМ
4	—	—	I	—	—	I	—	—	I					9	3	3	АН ³ КМ
5	—	—	I	—	—	I								6	2	2	АН ² КМ
6	—	—	I	—	—	I	—	—	I	—				10	3	3	АН ³ нр КЖ
7	—	—	I	—	—	I	—							7	2	2	АН ² нр КЖ
8	—	I	—	—	I									5	2	2	АМ ² ус КМ
														59	19	20	
1	—	—	I	—	—	I								6	2	2	АН ² КМ
2	—	—	I	—	—	I	—							7	2	2	АН ² нр КЖ
3	—	—	I	—	—	I	—	—	I	—	—	I		12	4	4	АМ ⁴ КМ
4	—	—	I	—	—	I	—	—						8	2	2	АН ² нр на 2 слога КД
5	I	—	—	I	—									5	2	2	Д ² ус КЖ
6	—	—	I	—	—	I								6	2	2	АН ² КМ
7	—	—	I	—										4	1	1	АН ¹ нр КЖ
8	—	I	—	—	I									5	2	2	АМ ² ус КМ
														53	17	17	
1	—	—	I	—	—	I	—	—	I	—				10	3	3	АН ³ нр КЖ
2	—	—	I	—	—	I	—	—	I					9	3	3	АН ³ нр су КЖ
3	+	—	I	—	—	I	—	—	I	—	—	I	—	13	4	5	АН ⁴ нр КЖ
4	—	—	I	—	—	I								6	2	2	АН ² КМ
														38	12	13	
1	—	—	I	—	—	I								6	2	2	АН ² КМ
2	—	—	I	—	—	I	—							7	2	2	АН ² нр КМ
3	—	—	I	—	—	I	—	—						8	2	2	АН нр на 2 слога КД
4	I	—	—	I										4	2	2	Д ² ус на 2 слога КМ
5	—	—	I	—	—	I	—	—						8	2	2	АН ² нр на 2 слога КД
6	I	—	—	I	—	—	—	—	I	—				10	3	3	Д ² +АН ¹ нр КЖ
7	—	—	I	—	—	I	—	—	I	—	—	I	—	13	4	4	АН ⁴ нр КЖ
8	—	I	—	—	I								—	5	2	2	АМ ус КМ
														59	19	19	

вероятное звучание последнее, со сверхсхемным ударением на первом слоге. «В чистом анапесте два безударных слога первой стопы могут нести сверхсхемные ударения. Первый слог — без ограничительных условий» (Техника стиха, стр. 82).

Итак, первый стих разбивается на две анапестические стопы. Косвенное подтверждение ударности *я* находим в том, что и вторая и четвертая строфы начинаются тоже с АН². Если принять во внимание, что обычно первая строфа (подробнее об этом в АПТ) задает некоторое ритмическое ожидание⁶, то здесь оно намечено следующим образом (см. таблицу 1):

Первая строфа (S^1) состоит из 8 стихов, делящихся на две равные группы по 4 стиха. Нечетные стихи S_1^1, S_3^1, S_5^1 и S_7^1 представляют собой АН² с КМ (S_3^1, S_5^1) и с КЖ (S_1^1, S_7^1) четные стихи являют собой более сложную картину: АМ³, АН³, АН³, АМ². Таким образом, в строфе трижды происходит ритмический сдвиг: от S_1^1 к S_2^1 , от S_2^1 к S_3^1 и от S_7^1 к S_8^1 . Строфа начинается АН² и заканчивается усеченным АМ² с КМ. Эта концовка повторяется и в конце второй и четвертой строф, поддерживая и удовлетворяя ритмическое ожидание.

Вторая строфа (S^2) при сопоставлении с первой дает следующую картину:

$$\left. \begin{array}{l} S_1^2 : \text{АН}^2 \\ S_8^2 : \text{АМ}^2 \text{ ус КМ} \\ S^2 \ni 4 \text{ АН}^2 \end{array} \right\} \text{ как и в } S_1^1, \text{ но}$$

$$\begin{array}{l} N = 53 \\ n = 17 \\ f_{\max} = 12 \\ f_{\min} = 4 \end{array}$$

Напряжение — разрушение и восстановление ритмического ожидания — в ритмическом ряду S^2 , как видим, выражено следующими нарушениями в заданном S^1 ожидании: распределение АН² — другое: $S_1^2; S_2^2; S_4^2; S_6^2$. В пятом стихе появляется усеченный на один слог дактиль (D^2), а четвертый стих сокращен до одной анапестической стопы: самый короткий стих в строфе — всего четыре слога. В третьем стихе четыре стопы (АН⁴) — самый многостопный стих в строфе. Четвертый стих имеет новый вид клаузулы — дактилический (КД). Количество стоп — 17, ударных слогов — 17. Количество ритмических сдвигов сохраняется — три.

Третья строфа (S^3) в ритмическом отношении кажется взятой из другого стихотворения, написанного разностопным анапестом. В ней всего четыре стиха вместо заданных двумя первыми строфами восьми: АН³ АН³ АН⁴ АН². В сопоставлении с первыми двумя строфа имеет следующие особенности:

$$\begin{array}{l} S_1^3 : \text{АН}^3 \neq S_1^1 = S_1^2 \\ S_3^3 : \text{АН}^4 = S_7^1 \\ S^3 \ni I \text{ су} \\ \text{СД} = 0 \\ f_{\max} = 13 \end{array}$$

Как мы видим, отбрасывается почти все общее, что имели первые две строфы, кроме анапестического размера. «Однако сама эта возрастающая неупорядо-

⁶ В. А. Зарецкий, Ритм и смысл в художественных текстах, *Труды по знаковым системам*, Татру, 1965, стр. 64.

ченность ряда есть одновременно возрастающая упорядоченность другой — поэтической — структуры»⁷. S_3^3 имеет 13 слогов — первый самый длинный стих в стихотворении. Дополнительной упорядоченностью выступает правильное чередование клаузул КЖ КМ КЖ КМ. Ритмическое ожидание этой строфы напрягается до предела и удовлетворяется следующей, четвертой строфой.

Четвертая строфа (S^4) как бы синтезирует ритмико-метрические структуры первых трех строф, восстанавливая основные общие и частные особенности их и удовлетворяя расшатанное ритмическое ожидание. Но вместе с тем ее структура не просто копия, но и корректив упорядоченностей и их нарушений, встречавшихся в первых трех строфах. В сопоставлении S^4 с S^1 , S^2 и S^3 имеют место следующие закономерности:

$$\left. \begin{array}{l} S_1^4 : AN^2 \\ S_8^4 : AM^2 \text{ ус } KM \\ S^4 \ni 4 AN^2 \end{array} \right\} \text{ как в } S^1 \text{ и } S^2$$

$$\left. \begin{array}{l} N=59 \\ n=19 \end{array} \right\} \text{ как в } S^1$$

$$\begin{array}{l} S_2^4 : AN^2 \text{ (ср. } S_2^2 : AN^2) \\ S^4 \ni 2 \text{ КД (ср. } S^2 \ni 1 \text{ КД)} \\ \text{СД} = 5 \\ \text{сy} = 0 \\ f_{\text{max}} = 13 \\ f_{\text{min}} = 4 \\ S_7^4 : AN^4 \text{ (ср. } S_3^2 : AN^4, S_3^3 : AN^4) \end{array}$$

Имея четко упорядоченную структуру и заключая цикл строф, S^4 придает строгую законченность всей ритмико-метрической структуре стихотворения в целом и, как видим, четко подчиняется (как и все стихотворение) упомянутому выше «закону третьей четверти». Этот факт в свою очередь подтверждает четкость и упорядоченность ритмико-метрической структуры рассматриваемого стихотворения.

3. В первой публикации в 1940 году «Если я заболел...» имело другой вариант строф, не 4, а 5. Уменьшение количества строф в редакции 1967 г. произошло за счет того, что две последние строфы, имевшие по 4 стиха, были объединены автором в одну.

Имелось и еще одно отличие: третья строфа состояла из 5 стихов:

Порошков или капель — не надо.

Пусть в стакане сияют лучи.

Жаркий ветер пустынь,

Серебно водопада —

Вот чем стоит лечить.

В позднейшей проанализированной выше редакции, как мы видим, третий и четвертый стихи объединены в один. Сопоставим эти два варианта стихотворения и проследим, какие изменения вносит данная операция в ритмико-метрический строй отдельных строф и всего стихотворения в целом, и вместе с тем и эволюцию авторского мастерства.

Итак, в первоначальном варианте имелось 5 строф: два восьмистишия, одно пятистишие и два четверостишия. Можно сказать, что такая строфическая струк-

⁷ Ю. М. Лотман, *Структура художественного текста*, Москва, 1970, стр. 118.

Изометрическая таблица 2

Слоги Стихи ↓	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	N	n	m	
1	—	—	I	—	—	I	—	—	I	—	10	3	3	АН ³ нр КЖ
2	—	—	I	—	—	I	—	—	I		9	3	3	АН ³ КМ
3	+	—	I	—	—	I					6	2	3	АН ² КМ
4	—	—	I	—	—	I	—				7	2	2	АН ² нр КЖ
5	+	—	I	—	—	I					6	2	3	АН ² КМ

тура стихотворения (высшая метрическая мера стиха по Квятковскому) аритмична, хотя удвоение строф в начале и в конце носит в какой-то мере симметричный характер: 8, 8, 5, 4, 4. Нарушенное третьей строфой ритмическое ожидание еще больше колебала четвертая и почти не восстанавливала пятая. Однако ритмико-метрический строй третьей строфы (см. таблицу 2), имеющий 3 стиха с двустопным анапестом, усиливал позицию, что фоном, т. е. исходным размером, на котором построено стихотворение можно считать АН². Пятистишие как строфа довольно редка, и хотя вопрос о рифмическом уровне рассматриваемого стихотворения не входит в задачу данной статьи, небезынтересно упомянуть, что по мнению Г. Шенгели «всего чаще для пятистишия даны пара и тройка рифм в любой последовательности». Следовательно, вариант рифмовки, абсаб данный Смеляковым в третьей строфе, еще более редок, порядок клаузул совпадает с порядком рифм, еще более упорядочивая структуру стихового текста.

Четвертая строфа — катрен. Она заканчивалась Д², еще больше разрушая заданный как АМ² последний стих строф: S¹ : АМ²; S² : АМ²; S³ : АН²; S⁴ : Д². И только в пятой строфе, тоже катрене, вновь появлялся в конце АМ². Еще больше «расшатывало» этот строфический строй то обстоятельство, что две последние строфы не имели самостоятельной рифмовки. Вместе с тем относительно общей ритмико-метрической структуры стихотворения, ритмико-метрический (и рифмический — abcdebfd) уровень этих двух последних строф несомненно тяготеет друг к другу, как к единой системе, что уже было отмечено в первой части этой статьи. Соединив две последние строфы в одну, автору удалось еще больше упорядочить то, что само собой напрашивалось всей ритмической (и рифмической) структурой стихотворения.

На вопрос о значимости соединения или несоединения двух стихов (3 и 4) в третьей строфе в один, как нам кажется, исследование только одного уровня — ритмико-метрического — не может дать ответа. Это же можно сказать и о соединении/несоединении строф, и так как вопрос о структуре других уровней рассматриваемого стихотворения не входит в задачу данной статьи, ограничимся только замечанием, что, например, если на синтаксическом или семантическом уровне два последних четверостишия вполне ощутимо отделимы, то значимость соединения или несоединения стихов в третьей строфе явно выходит за сферу этих двух уровней.

Critica et Bibliographia

Ф. П. Филин: Происхождение русского, украинского и белорусского языков Изд. Наука, Ленинград, 1972.

F. P. Filin's new work like its predecessor¹ to which it is closely related, embraces a wider territory than is indicated by its title. The reviewer is somewhat at a loss, because this monograph gives such a detailed analysis of Russian, Ukrainian and Byelorussian phonetical and morphological development that one cannot give even a sketchy introduction within the frames of a short review.

The most important point of this work is philological accuracy: no works of importance connected with the above mentioned themes, regardless of whether they be Russian, Soviet or foreign, have escaped the author's attention. This is why his method repeats itself chapter by chapter: after contrasting the different views he develops his own opinion, thus synthesizing what has been said about the given problem.

The statement may seem to be a commonplace, nevertheless its truth cannot be denied: the history of the language should not be scrutinized independently of the people's history. This is why F. P. Filin reaches back to the deepest roots: his work begins with a treatment of the problem of the Slavs' original home. He criticizes the theory which places the original home of the Slavs on the territory between the Vistula and the Oder, because it supposes closer contacts with the Proto-Germanic tribes than can be proved by linguistic facts. At the same time this hypothesis renders the explanation of Slavic-North Iranian contacts more difficult, although the latter can be verified by linguistic data, too.² One can only regret that concrete examples are not quoted. The supposition of Slavic-Iranian links leads logically to placing the Slavs' country of origin to the south of the Baltic peoples and emphasizing the closeness of Baltic-Germanic connections and the looseness of Baltic-Iranian ones.

In the introduction one can also read about the formation of the East Slavic peoples. According to the usual practice, Filin bases this chapter on a criticism of Shakhmatov's well-known theory. The author considers the great scholar's chief mistake to be his antihistorical approach, consisting in absolutizing the dialectal features of contemporary East Slavic languages and placing them "back" in the past, archaizing them in order to preserve the proportionality of his conception. A review of post-Shakhmatov theories (those of R. Avanesov, L. Bulakhovski, T. Lehr-Splawinski, to mention only the most outstanding ones) brings the author to the conclusion that in explaining the historical formation of dialectal zones one should avoid the application of 'pure' linguistic factors, but the latter must not be changed for general historical theories.

¹ Ф. П. Филин: *Образование языка восточных славян*. М.—Л., 1962.

² Since then the author has repeatedly elaborated his views in "Вопросы языкознания" No. 5, 1972, pp. 3-12.

From the chapter on “Фонетические диалектизмы древнерусского языка” we stress the importance of the part dealing with akanie which occupies a considerable number of pages because of its significance. In treating this problem Filin follows his usual method: he surveys the history of the question in special literature from its beginnings — here, too, denoted by Shakhmatov’s activity — up to our days. The point in question is the chronology of the rise of akanie which is dated by Shakhmatov and his followers at about the turn of the 8th and 9th centuries, whereas the adherents of the so-called “reductional hypothesis” regard it as being the result of later development (13–14th centuries). The author, considering carefully the views of both sides, the data of early written records, contemporary dialects and other Slavic languages,³ comes to the conclusion that akanie has been preserved as an inheritance from the Proto-Slavic phonetical system. The existence of a Proto-Slavic /a⁰/ vowel is presumed, the very nature of which includes the possibility of double development: “изменение в лабиализованный *o* и изменение при полной потере лабиализации в *a*”⁴. From this the simultaneous origin of akanie and okanie follows, at about the end of the Proto-Slavic epoch.

The section on morphology occupies a relatively smaller portion of the monograph; nevertheless it considers a number of basic questions. Here we wish to deal only with one complex of problems, namely that of the extension of the nominal endings of the Proto-Slavic *ũ*-stems. Explaining the preservation of Dat. sing. *-ovi/-evi* Filin posits two big dialectal zones from the beginning of the 11th century: a southern and a northern. In the former nouns denoting male living creatures took this flexion frequently, while in the second it was of secondary importance and went out of usage in about the 13th–14th centuries. So among the East Slavic languages it has been preserved only in Ukrainian and the south-west dialects of Byelorussian. The flexion *-ove/-eve* in Nom. plur. served also to denote human—non-human category, mainly in the southern zone, but less consistently than *-ovi/-evi*. Perhaps this is the reason why it has not been preserved in contemporary East Slavic languages, in contrast with the Western ones. The *-ochь* flexion of Loc. plur. arose as the result of the contamination of the *-schь* ending of the *ũ*-stems and the *-omь* ending of the *ǫ*-stems, and it is from the *ũ*-stems that it spread to other types of nominal declension. It is interesting to note that all the above mentioned remnants of the old *ũ*-stems became widespread in the southern and south-western dialects of the East Slavic languages. From this point of view it would have been worth paying attention to the usage of the Gen. sing. and Loc. sing. *-u* and Gen. plur. *-ov* flexions, especially in Ukrainian and Byelorussian, although Russian dialects also yield rich material (cf. Gen. sing. для государству; Loc. sing. на заводу, на конце, об сыну, при отцу; Gen. plur. местов, делов, ягодов, etc.).⁵

The book closes with chapters on East Slavic syntactic and lexical dialectal features. They sum up the results afforded by works of less importance and significance than those on phonetics and morphology. Nevertheless the author can say with due satisfaction that historico-dialectal research in the lexical field increased after the publication of his basic study.⁶

In the foreword the author makes it clear that the problem of the genesis of the East Slavic languages is mainly a historico-dialectal one. This is why those dialectal phenomena have been scrutinized that preceded or accompanied the formation of the three East Slavic languages and became their distinctive features. Therefore it would have appeared quite natural if the illustrative material of the book had been taken chiefly from contemporary dialects. This is, however, far from being so. F. P. Filin always strikes a sound balance between the application of the data of dialects and those of the written records which is most necessary to throw light upon the point in question. When one speaks of his philological correctness, this fact must also be included.

P. LIELI

³ Akanie can also be observed in certain dialects of the Bulgarian and Slovenian languages.

⁴ See p. 141.

⁵ *Русская диалектология*. Под редакцией Р. И. Аванесова, М. 1964, стр. 108—114.

⁶ Ф. П. Филин: *Лексика русского литературного языка древнерусской эпохи*. Уч. зап. ЛГПИ им. Герцена, т. 80, 1949, стр. 288.

Jiří Jiráček: Интернациональные суффиксы существительных в современном русском языке

Universita J. E. Purkyně, Brno, 1971, ss. 281.

„В интернациональных словах и терминах можно видеть зародыш будущего единого языка всего человечества“ (s. 16) — pisze we wstępnej części swojej książki J. Jiráček. My nie możemy być takimi optymistami, przecież w jakimś bądź stopniu wzrośnie ilość wyrazów międzynarodowych, są one używane w różnych językach w formach różniących się od siebie o tyle, że nie przyczyniają się do wzajemnego i rzeczywiście dokładnego porozumienia. Mimo, że ze względu na odmienność struktur poszczególnych języków, uważamy integrację za skomplikowaną, uwzględniając praktyczne potrzeby naszej epoki, badanie rzeczowników z międzynarodowymi sufiksami jest niewątpliwie bardzo ważne. „В связи с начавшейся научно-технической революцией представляется целесообразным сосредоточиться прежде всего на лексике терминологической, содержащей много заимствованных слов, европеизмов и выражений, образованных с помощью интернациональных суффиксов“ (s. 7) — pisze autor. Praktyczną korzyść badania tego zagadnienia widzi on w sprecyzowaniu niektórych prawidłowości językowych, w rozwijaniu kultury słowa, w opracowaniu jednoznacznej terminologii, w uskutecznianiu nauczania języków obcych oraz w ułatwieniu techniki przekładowej. Tymi zagadnieniami nikt dotąd się nie zajmował w całości i systematycznie. W przeciwieństwie do pracy Mikłósa Fogarasiego (*Beiträge zur Geschichte der internationalen Bildungssuffixe des Russischen*, Budapest 1965) J. Jiráček bada materiał dzisiejszego (właściwie XX-wiecznego) języka rosyjskiego — wyłącznie z aspektu synchronicznego. Omawia on wszystkie „zrusycyzowane“ sufiksy, zestawiając je z ich czeskimi odpowiednikami.

Napisanie stosunkowo obszernej ogólnej części książki było niewątpliwie potrzebne, przecież z pewną przesadą możemy powiedzieć: autor musiał rozproszyć chaos terminologiczny. Znanemu badaczowi także nie udało się przeprowadzić w sposób absolutny rozgraniczenia zapożyczeń, wyrazów międzynarodowych (internacjonalizmów) i wyrazów obcych. Ze względu na pochodzenie morfemów słowotwórczych (словообразовательная морфема) J. Jiráček dzieli stworzone na gruncie języka rosyjskiego wyrazy międzynarodowe na 3 grupy: a) z obcych (greckich, łacińskich) morfemów (*интеллигенция, фагоцит, активист*); b) ze rdzeni rosyjskich za pomocą greckich lub łacińskich morfemów derywacyjnych (*ленинизм*); c) wyrazy rosyjskie oznaczające pojęcia, które stały się powszechnie („międzynarodowo“) znane (*совхоз, спутник*). Twierdzeniu autora, według którego w języku rosyjskim większa ilość wyrazów międzynarodowych istnieje dopiero od czasów Piotra I, nie zaprzeczamy, ale stawiamy nad nim znak zapytania. (Podstawę naszych wątpliwości stanowi praca G. H. Worth, *Foreign Words in Russian*, Berkeley—Los Angeles 1965.)

Definicja międzynarodowego sufiksu także nie jest zupełnie ścisła i jednoznaczna: „это такой суффикс, который выделяется прежде всего (podkreślenie moje — I. M.) в словах, относящихся к интернациональной лексике“ (s. 22). Sufiksy obcego pochodzenia w języku rosyjskim J. Jiráček klasyfikuje w następujący sposób (s. 23):

	займствованные		
	интернациональные		
	русифицированные	нерусифицированные	
неинтернациональные	-изм, -ист	-ант, -ент	незаймствованные
-изн(а) белизна	хвостизм, связист	музыкант, ассистент	-инг митинг

(Sufiks-... -инг nie może być wydzielony w języku rosyjskim jako sufiks.)

Omawiane w książce sufiksy międzynarodowe są następujące: *-изм, -ист, -ит, -изатор, -изация, -(у)фикатор, -(у)фикация, -ёр, -аж, -анция, -енция*. Znaczna część pierwotnie greckich i łacińskich formantów dostała się lub zadomowiła się w języku rosyjskim za pośrednictwem francuskiego, rzadziej niemieckiego, w kilku wypadkach zaś razem z wyrazami pochodzącymi z innych języków europejskich. „Совсем спорадически эти слова заимствовались из польского языка, ср. *академист* (из польск. *akademista*)“ (s. 24) — pisze Jiráček. Co prawda, etymologią zajmuje się on w tej pracy tylko pobieżnie, ale chyba możemy powiedzieć, że prawdopodobnie nie docenia pośredniej roli języka polskiego. (Na podstawie słownika etymologicznego M. Vasmera i wymienionej pracy G. H. Worth możemy przypuszczać, że odegrał on ważniejszą rolę.)

Charakterystyczne jest tak dla częstego *-izm, -ist*, jak i dla pozostałych sufiksów, że zarówno formalnie jak leksykalnie są one podobne do siebie w dzisiejszych językach wschodnio- i południowosłowiańskich. (Dawniej formy polskie wywarły wpływ na odpowiedniki ukraińskie i białoruskie.) Ważniejsze rozbieżności są następujące: w językach wschodnio- i południowosłowiańskich *-ist* i *-it* (na oznaczenie osób) — w zachodniosłowiańskich (z wyjątkiem języków łużyckich) *-ista, -ita*. (W serbo-chorwackim obie formy są używane.) Rzuca się tu w oczy wpływ kręgu łacińskiej kultury i języka. Na języki łużyckie wywarły wpływ odpowiedniki niemieckie. Widocznie dzięki nim używa się w czeskim *-ismus*, w słowackim *-izmus* zamiast formy *-izm* lub jej odpowiedników w pozostałych językach słowiańskich. Autor w wypadku polskiego *socjalizm* zakłada wpływ rosyjski (s. 28), co jest wątpliwe, przecież wpływ francuskiej lub angielskiej kultury i języka na język polski w XIX wieku był także znaczny (por. *socialisme, socialism*).

W podstawowej, analitycznej części książki autor w pierwszej kolejności rozpatruje wzbogacenia się słownictwa rosyjskiego omawianymi wyrazami. Najczęstszym i najdawniejszym sposobem tego wzbogacenia jest przejmowanie obcych wyrazów z międzynarodowymi sufiksami — głównie z francuskiego (np. *режиссёр < régisseur*). Także częste jest tworzenie słów ze rdzeni obcego pochodzenia (np. *акмеизм*). Dość rozpowszechnione jest słowotwórstwo ze rdzeni rosyjskich za pomocą obcych formantów (*большевизм, яровизация*). W materiale zebranym przez Jiráčka kalki są rzadkie (*царизм, royalisme*),

W następnym rozdziale analizuje się omawiane wyrazy nie „tradycyjną“ metodą morfologiczną, lecz według „składników bezpośrednich“ (IC), więc autor uwzględnia tylko bezpośrednią motywację. Rosyjskie rzeczowniki z międzynarodowymi sufiksami tworzy się głównie z rzeczowników, rzadziej z przymiotników, sporadycznie zaś z czasowników. Skrót jako wyraz motywujący w innych językach europejskich występuje rzadko (*ЧК — чекист*). Analiza zależności morfemu derywacyjnego od podstawy derywacyjnej ujawnia ciekawe i mało znane prawidłowości (np. *-it* łączy się przede wszystkim z tematami zakończonymi na *-m, -z, -š, -d, -l, -izacija* i *-izator* z tematami na *-n, -m, -v, -t*).

Dowodem „zadomowienia“ omawianych wyrazów jest to, że z nich z rosyjskimi i obcymi formantami w różny sposób i często tworzy się „wtórne“ wyrazy (głównie rzeczowniki i przymiotniki). Ważniejsze sposoby są następujące: sufiksacja (*монтаж > монтажёр*), resufiksacja (*абсолютизм|абсолютист > абсолютистский*), prefiksacja (*романтизм > предромантизм*), złożenie (*свето|сигнализация*), skrócenie (*военный юрист армии > армвоенюрист*). W wyniku resufiksacji powstają często dwa, rzadziej trzy przymiotniki mające prawie nie różniące się znaczenia leksykalne (*индивидуалистический, индивидуалистский, индивидуалистичный*). Dlatego Czechom lub Słowakom — w których języku jest z reguły jeden sufiks — trudno wybrać odpowiedni rosyjski przymiotnik. Złożenie w języku rosyjskim występuje często, w czeskim na jego miejscu stoi w wielu wypadkach konstrukcja: przymiotnik — rzeczownik (*светосигнализация — světelná signalizace*). Podobnie jest ze skrótami (*телепортаж — televizní reportáž*).

Zagadnieniem akcentu rzeczowników z międzynarodowymi sufiksami zajmowano się dotychczas niewiele. Jeżeli sufiks składa się z więcej niż jedna zgłosek, akcent pierwotnego języka (języka-źródła) na ogół jest zachowany. W wypadku sufiksu jednozgłoskowego akcent pada najczęściej na

sufiks i jego miejsce jest stałe (*альпинист, -а; -ы, -ов*). Akcent nielicznych tylko rzeczowników pada na pierwszą z tyłu zrealizowaną zgłoskę (*блindaж, -á*). Ciekawe jest twierdzenie Jiráčka: „... в русском языке последних десятилетий можно отметить явную тенденцию к постепенному переходу акцентологического типа у двусложных существительных с суффиксом *-аж* от постоянного ударения на суффиксе (т. е. на основе) к ударению конечному“ (s. 69). W dwu pierwszych wydaniach słownika Ożegowa figuruje np. *монтаж, -а*, w późniejszych zaś *монтаж, -á*.

W swojej książce autor daje szczegółową, strukturalno-semantyczną klasyfikację, którego kryterium jest zależność onomasjologicznej bazy i onomasjologicznego motywu. Zestawienie z językiem czeskim wskazuje na to, jak duże rozbieżności są nawet w strukturze dwu bliskich języków pokrewnych. Najczęstszymi kategoriami 2187 rosyjskich rzeczowników z międzynarodowymi sufiksami — w zmniejszającej się kolejności — są następujące: nomina qualitatis (*аболуционизм — abolitionismus*), n. actoris (*автомобилист — automobilista, бамперфляист — motyľkář*), rzeczowniki „nosiela stosunku do substancji“ (им. носителя отношения к субстанции) (*альтруист — altruista, бетховенист — beethovenolog*), n. actionis (*кинофикация — kinofikace*) i n. agentis (*кодификатор — kodifikátor, массажист — masér*). W języku czeskim (gdzie autor nie analizuje kategorii n. qualitatis) kolejność ilościowa jest podobna: grupa „nosiela stosunku do substancji“, nomina actionis, n. actoris i n. agentis. W języku rosyjskim najczęściej występują sufiksy *-ist* i *-izm*. Chociaż w czeskim liczba rzeczowników z międzynarodowymi sufiksami jest znacznie mniejsza, kolejność częstotliwości sufiksów (bez uwzględnienia *-изм — ismus*) wykazuje niespodziewane podobieństwo: ros. *-ist* — cz. *-ista, -izacija — izace, -it — -ér, -or — -it/-ita*. Rosyjskie sufiksy *-izm* i *-ist* oraz ich czeskie odpowiedniki coraz szerzej rozpowszechniają się także w języku mówionym. Ze strony autora było szczęśliwą ideą, że opierał się nie tylko na materiale ze słowników.

Pracę uzupełnia obszerny materiał ułożony w postaci tablic z omawianymi typami słowotwórczymi i sufiksami. Używalność książki Jiráčka zwiększa resumé napisane w trzech (rosyjskim, czeskim, angielskim) językach.

Autor nie uważał za zadanie rozpatrywanie omawianych zagadnień z aspektu historycznego. Naszym zdaniem krótki przegląd uwzględniający stan rzeczy w XIX w. rzuciłby więcej światła na najistotniejsze rozbieżności słowotwórstwa rosyjskiego i czeskiego, bowiem struktura tego ostatniego właśnie w minionym stuleciu uległa znacznym zmianom. Porównawczy charakter pracy z powodu niezbyt dużej liczby przykładów czeskich przesuwają się na dalszy plan. (Szkoda, że Jiráček w niewielkim stopniu uwzględnił odpowiedniki słowackie.) W przyszłości w oparciu na wynikach autora będzie możliwa bardziej wszechstronna analiza omawianych warstw słownictwa (np. głębiej sięgająca ocena wartości stylistycznych takich wyrazów) oraz bardziej skuteczne badanie „internacjonalizmów“ innych, nie indoeuropejskich języków. Książka czeskiego językoznawcy może dać impuls także do analizy rzeczowników języka węgierskiego z międzynarodowymi sufiksami.

I. MOLNÁR

Bazyli Białokozowicz: Z dziejów wzajemnych polsko-rosyjskich związków literackich w XIX wieku

„Książka i Wiedza“, Warszawa, 1971, 388 s.

W XIX wieku polsko-rosyjskie związki literackie były dość znaczne, niezależnie od tego, że wschodnia część Polski znalazła się pod panowaniem caratu. „Przeszkody natury historycznej, politycznej i psychicznej nie mogły oczywiście zahamować wzajemnego przenikania się i oddziaływania kultur, jednakże proces ten niezwykle komplikowały“ (s. 10.) — pisze we wstępie do swojej książki docent Uniwersytetu Warszawskiego. Polsko-rosyjskimi kontaktami literackimi, pod-

bieństwami i paralelami w obydwu literaturach zajmowało się zdaniem Białokozowicza niewiele badaczy. Dzieła literatury polskiej i rosyjskiej rozpowszechniały się nie tylko w przekładach, ale i wśród inteligencji znającej obydwaj języki — także w oryginalnie. Potrzebę badania tych związków uzasadnia i to, że przez kilka wieków Polska odgrywała rolę pośrednika między kulturą środkowo- i zachodnioeuropejską oraz kulturą wschodnich Słowian. Pomimo wagi tego zagadnienia nie powstała jeszcze synteza historycznoliteracka o wzajemnych polsko-rosyjskich związkach w szerokim sensie. Jak autor pisze, do powstania takiej pracy potrzebne są studia porównawcze o charakterze historyczno-typologicznym i historyczno-genetycznym, w których należy kłaść szczególnie nacisk także na analizę zjawisk społeczno-politycznych motywujących paralele, zbieżności i rozbieżności rozwoju obydwu literatur. Podziela on zdanie Istvána Sótéra (I. Sötér, *Zasadnicze problemy kompleksowych badań porównawczych*. „*Pamiętnik Literacki*“ LIX/3, 304.), według którego: „W centrum naszych badań znajdują się rewolucyjne epoki i tradycje... Jednakże dla zbadania zjawisk rewolucyjnych niezbędne jest również przestudiowanie zjawisk nierewolucyjnych“. Polsko-rosyjskie związki literackie były stałe, nieprzerwane. Zgodnie z tym Białokozowicz zamierza analizować sam *proces* tych kontaktów. Za punkt wyjścia i podstawę metodologiczną uważa on prace Mariana Jakóbca w tym zakresie. Uwzględnił stosunkowo bogatą literaturę tego tematu, ale jego celem nie jest całościowe, monograficzne omawianie wzajemnych polsko-rosyjskich związków literackich XIX wieku.

W rozdziale I (s. 15—43.) omawia się kontakty społeczno-literackie od końca XVIII do 30-ych lat XIX wieku, na których rozwój pomyślnie podziałało szerzenie się idei jedności słowiańskiej. Po r. 1812 jako żołnierze przebywali na terenach polskich K. F. Rylejew, A. A. Bestużew—Marliński, P. I. Pestel, dobrze znał stosunki polskie P. A. Wiaziemski, związani byli z polskimi intelektualistami A. S. Gribojedow, P. J. Czaadajew i W. K. Küchelbecker. Ważną rolę w polsko-rosyjskim zbliżeniu się spełniały łoża wolnomularskie: Niektórzy z rosyjskich członków tych łoży później przyłączyli się do ruchu dekabrystów i w ich programie politycznym kwestia polska znalazła się na ważnym miejscu. Wśród nich były popularne utwory I. Krasickiego, W. Bogusławskiego i J. U. Niemcewicza. Znaczne zasługi na polu popularyzacji literatury polskiej w Rosji położyli Wiaziemski oraz Rylejew, który napisał swój utwór p.t. „*Dumy*“ pod wpływem „*Spiewów historycznych*“ Niemcewicza.

W wzmianczeniu kontaktów dużą rolę odgrywał Uniwersytet Wileński, który wywarł znaczny wpływ na myślenie A. Mickiewicza. Podczas zesłania poeta polski utrzymywał kontakty z Bestużewem—Marlińskim, Rylejewem, później zaś z Puszkinem, który także przekładał wiersze Mickiewicza. O wspólnych motywach w ich twórczości pisało już wielu badaczy (między innymi D. D. Błagoj). Poeta polski swój znany wiersz pt. „*Do przyjaciół Moskali*“ poświęcił pamięci dekabrystów, a pierwowzorem jednej z postaci dramatu „*Dziady*“ był M. P. Bestużew—Riumin. Jak Białokozowicz pisze: „*Pobył Mickiewicza w Rosji — to kulminacyjny okres zbliżenia polsko-rosyjskiego*“ (s. 41.), który został przerwany powstaniem r. 1830—31.

W rozdziale II (s. 44—60.) rozpatruje się związki A. Mickiewicza z A. I. Hercenem. W utworach i działalności politycznej tego ostatniego sprawy polskie zajmowały ważne miejsce. W dzienniku pisarza rosyjskiego znajdujemy dużo uwag o paryskich wykładach Mickiewicza na temat literatur słowiańskich. Białokozowicz twierdzi, że poeta polski wywarł znaczny wpływ na rozwój ideowy Hercena, chociaż idealizacja polskiego społeczeństwa szlacheckiego i historii oraz sympatia Mickiewicza do Napoleona były mu obce. Zdaniem autora książki pisarz rosyjski się mylił, kiedy uważał, że w połowie wieku XIX poeta polski nie był już zorientowany w aktualnych zagadnieniach literatury rosyjskiej.

W rozdziale III (s. 61—137.) Białokozowicz rozpatruje odzwierciedlenie polskiego ruchu niepodległościowego XIX wieku w poezji rosyjskiej. Po powstaniu r. 1830—31 także interesowali się literaturą polską W. K. Küchelbecker i A. I. Odojewski. Pod hasłem zachowania jedności Słowian odzywały się głosy antypolskie w wierszach F. I. Tiutczewa, M. J. Lermontowa, W. A. Żukowskiego. Puszkina również nie zrozumiał, że polskie powstanie jednocześnie wzmocnia siły demokratyczne.

Niezależnie od tego tłumaczył wiersze Mickiewicza, którego twórczość prawdopodobnie wywarła pewien wpływ także na poezję Lermontowa.

Po wojnie krymskiej dokonały się w Rosji ważne zmiany polityczne, pod których wpływem znowu wzrosło zainteresowanie literaturą polską wśród inteligencji rosyjskiej. Powiększyła się liczba przekładów i artykułów krytycznoliterackich, między innymi pióra W.G. Benediktowa, N. A. Dobrolubowa i M. I. Michajłowa.

Walki niepodległościowe w l. 1863—64 na kilka lat znowu wstrzymały rozwój kontaktów polsko-rosyjskich. Hercen, Ogariow, Czernyszewski, Pisariew i Sałykow-Szczedrin uznali prawo Polski do niepodległości. Wśród słowianofilów natomiast dojrzała teoria, według której rewolucja w Rosji jest niemożliwa, bo jest obca prawosławnemu duchowi narodu rosyjskiego. Wielu z nich wyraziło pogląd, że wskutek katolicyzmu i wpływów zachodu Polska zdradziła Słowian. Pod wpływem oficjalnej propagandy odzywały się głosy antypolskie w utworach Tiutczewa, Majkowa, Feta, Dostojewskiego. Takie głosy pojawiły się również u Gonczarowa, Pisiemskiego, Leskowa, Turgieniewa, a nawet u Niekrasowa i Lwa Tołstoja.

Sympatia i żywe zainteresowanie literaturą polską cechowały działalność Ogariowa i Michajłowa, którzy położyli poważne zasługi przede wszystkim w popularyzacji twórczości Mickiewicza w Rosji. (Michajłow był również tłumaczem wierszy Petőfiego.) Niekrasow, którego matka była polskiego pochodzenia, w utworze „Komu na Rusi dobrze się dzieje” („Кому на Руси жить хорошо”) przedstawia zesłanych na Syberię Polaków. On także tłumaczył utwory Mickiewicza oraz Z. Kraszińskiego i J. Słowackiego. W dziełach A. K. Tołstoja również znajdujemy polskie motywy i możemy w nich odkryć sympatię do Polaków. Wniosek Białokozowicza: większość najwybitniejszych twórców rosyjskich nie była nastawiona antypolsko.

W rozdziale IV (s. 138—156.) autor omawia stosunek Henryka Sienkiewicza do literatury rosyjskiej, którym to stosunkiem dotychczas zajmował się przede wszystkim znany historyk literatury, J. Krzyżanowski. We wczesnych utworach polskiego pisarza odczuwają się wpływy Gogoła i Turgieniewa. Możemy zaobserwować liczne paralele w kilku utworach Puszkina i Sienkiewicza. Niektóre fragmenty, sytuacje lub postacie są podobne w „Córce kapitana” („Капитанская дочка”) i „Ogniem i mieczem” oraz w „Onieginie” („Онегин”) i „Bez dogmatu”. Pod wieloma względami można przeprowadzić paralele między dziełem „Taras Bulba” Gogoła, powieściami historycznymi M. N. Zagoskina oraz historyczną trylogią polskiego pisarza. Białokozowicz wspomina jeszcze o stosunku Sienkiewicza do Turgieniewa, Dostojewskiego, Lwa Tołstoja i Mereżkowskiego, względnie do ich twórczości.

Rozdział V (s. 157—196.) książki zawiera analizę porównawczą powieści: „Wojny i pokoju” („Война и мир”) z „Trylogią” H. Sienkiewicza i „Popiołami” S. Żeromskiego.

Zainteresowanie literaturą rosyjską wzrosło w Polsce w latach 70-ych i było przede wszystkim zasługą pozytywistów. Wielkie dzieło Tołstoja stało się znane w szerszych kręgach stosunkowo późno, ponieważ zostało przetłumaczone dopiero w r. 1894 — z języka francuskiego. Zresztą krytyka francuska zaważyła na tym, że Polacy zwrócili uwagę na pisarza rosyjskiego. Jak autor pisze: ten fakt, że Tołstoj odnosił się krytycznie do ustroju carskiego, sprzyjał recepcji jego utworów w Polsce.

Zestawiając powieści „Wojna i pokój” i „Trylogię” Białokozowicz udawadnia, że w przeciwieństwie do Tołstoja Sienkiewicz kontynuował inne tradycje powieści historycznej i wzorem dla niego była koncepcja Waltera Scotta, a nawet Aleksandra Dumasa. Dlatego w utworze polskiego pisarza trudno odkryć wpływy Tołstoja, wobec czego analiza porównawcza ich dzieł może wskazać przede wszystkim na różnice w metodzie artystycznej oraz przedstawieniu.

„Wojna i pokój” oraz „Popioły” „основываются на определенных концепциях философии истории; и вместе с тем исторические процессы и события на страницах этих произведений переломляются сквозь призму психологии и поведения живых людей” (s. 387.) — twierdzi autor w napisanym po rosyjsku resumé swojej książki. Jego zdaniem chodzi nie tyle o wpływy Tołstoja na Żeromskiego, lecz o bliskość historyczno-typologiczną. Obaj pisarze dokonali ogromnej pracy

w poszukiwaniu źródeł i przedstawili wyjątkowo dużo autentycznego materiału historycznego. Obaj ukazują wojnę w obnażonej formie, podkreślając jej tragizm. Podobnie pojmują historyczną rolę mas ludowych.

W powieściach tych są także duże rozbieżności. W utworze Żeromskiego analiza psychologiczna odgrywa mniejszą rolę, brak w nim tolstojowskiego fatalizmu i nie ma zaprzeczenia roli osobowości historycznych. Przejawia się to w różniącym się w nich przedstawieniu postaci Napoleona. W powieści Żeromskiego brak dygresji filozoficznych i publicystycznych. Białokozowicz słusznie dostrzega, że styl pisarza polskiego jest bardziej emocjonalny, ekspresywny, ponieważ tendencje modernistyczne wywarły większy wpływ na jego twórczość.

Autor poświęcił rozdział VI (s. 197—237) recepcji utworów Sienkiewicza w Rosji, a właściwie temu, jak jego twórczość była oceniana przez pisarzy rosyjskich.

Sienkiewicz stał się popularny w Rosji w latach 80-ych, co nie w ostatniej kolejności zawdzięcza się niektórym czasopismom. Na przełomie XIX i XX wieku był on jednym z najchętniej czytanych pisarzy zagranicznych. Pomimo licznych przekładów („Quo vadis“ — 33, „Krzyżacy“ — 23) i często dużych nakładów — jak o tym pisze J. Z. Cybienko w rozprawie „Sienkiewicz w Rosji“ („Slavia Orientalis“ 1967/2, 85—86) — do r. 1917 ukazało się w Rosji 410 dłuższych lub krótszych artykułów o pisarzu polskim. Na uwagę zasługuje W. G. Korolenko, który przetłumaczył nowelę „Janko Muzykant“. Prawdopodobnie pod jej wpływem napisał on utwór „История моего современника“. Tolstojowi podobały się powieści „Bez dogmatu“ i „Rodzina Połanieckich“, bowiem apoteoza rodziny, sposób przedstawienia postaci kobiecych, obrona starych norm etycznych, problemy samodoskonalenia były mu bliskie. Jego stosunek do powieści historycznych Sienkiewicza był negatywny, co wywodzi się z rozbieżności dwóch różnych koncepcji przedstawienia. Ciekawe jest twierdzenie Białokozowicza: patriotyzm powieści historycznych polskiego pisarza nie został zrozumiany przez krytyków rosyjskich, którzy — zgodnie z rodzimą prozą ich czasu — wysuwali na pierwszy plan problemy społeczne.

Krytyka polska niezbyt przychylnie oceniła powieść „Bez dogmatu“, rosyjska zaś zwróciła na nią szczególną uwagę, a niektórzy nawet uważali ją za wybitne osiągnięcie literatury europejskiej. Bohatera powieści, Płoszowskiego zaliczono do „zbędnych ludzi“ przedstawionych w wielu utworach rosyjskich. Gorkij wysoko oceniając talent pisarski Sienkiewicza, także z uznaniem pisał o tej powieści.

W zakończeniu książki (s. 238—246) autor stwierdza, że obecnie najbardziej znane są polsko-rosyjskie kontakty pierwszej połowy XIX w. Szczegółowych badań wymaga problem recepcji Dostojewskiego w Polsce, ponieważ wywarł on znaczny wpływ na S. Brzozowskiego i S. Żeromskiego. Mało wiemy o stosunku wielkich prozaików drugiej połowy XIX w. (M. Konopnicka, E. Orzeszkowa, B. Prus) oraz A. Świętochowskiego, W. Sieroszewskiego albo S. Witkiewicza, T. Micińskiego, B. Leśmiana do literatury rosyjskiej i o jej wpływach na ich twórczość. „Na przełomie wieku XIX i XX obserwujemy wyraźne ożywienie polsko-rosyjskich kontaktów kulturalnych“ (s. 244) pisze Białokozowicz. Żeby poznać przyczyny tego ożywienia potrzebna jest gruntowna praca badawcza.

Autor opracował bardzo obszerny materiał, o czym świadczy rozległa bibliografia książki. Białokozowicz rozpatruje kontakty od końca XVIII do początku XX wieku głównie z punktu widzenia historii literatury polskiej. W centrum jego uwagi stanęły trzy większe zagadnienia: 1. Mickiewicz i literatura rosyjska, 2. odzwierciedlenie polskiego ruchu niepodległościowego w utworach rosyjskich, 3. Sienkiewicz a literatura rosyjska. Te kompleksowe zagadnienia dały możliwość Białokozowiczowi na to, żeby zwrócić uwagę także na twórczość licznych innych pisarzy i poetów. Naszym zdaniem literatura omawianych związków jest znaczna, więc autor tej pracy mógłby się podjąć napisania dzieła o charakterze syntezy, nawet wtedy, jeżeliby w pewnych wypadkach musiał się ograniczyć do sygnalizowania zagadnień. Do tego, żeby przedstawić polsko-rosyjskie związki literackie XIX w. jako *proces*, nie wystarczy analizować kontaktów kilku twórców lub ich recepcji. Ponieważ autor omawia nie wszystkie etapy tego procesu, może on wyciągnąć stosunkowo mało wniosków. Ułożenie zebranego materiału metodą pozytywistyczną jest logiczne, ale Białokozowicz

zbyt często opiera się o twierdzenia innych badaczy. Możemy to udowodnić — co prawda, trochę mechanicznie i w sposób rzadko spotykany w recenzjach — za pomocą następujących danych: w zawierającej 388 numerowanych stron pracy nie licząc stron tytułowych, przypisów, bibliografii i resumé, znajdujemy 242 stron drukowanych. Liczba odnoszących się do nich lub uzupełniających je przypisów wynosi aż 783, więc często nie od razu wiadomo, kiedy mamy do czynienia z twierdzeniami Białokozowicza, a kiedy ze zdaniem innych.

Rozpatrując problemy wpływów lub podobieństw niezależnych od siebie autor jest ostrożny (Mickiewicz — Lermontow; Puszkina, Gogol, Zagoskin — Sienkiewicz). Pod tym względem również uważamy za udaną analizę porównawczą powieści „Война и мир“ oraz „Трилогии“ i „Popiołów“. Natomiast Białokozowicz chyba niedostatecznie uwzględnił tych prawie czterdzieści lat, które upłynęły między napisaniem utworu rosyjskiego i powieści Żeromskiego. Nie zaakcentował również całkiem innej atmosfery społecznej i literackiej dzielącej okresy, w których powstawały powyższe powieści. Tołstoj stał się znanym w Polsce dzięki krytyce francuskiej — stwierdza autor. Jego trafne zdanie możemy rozszerzyć i na recepcję innych obcych literatur w w. XX w Polsce. Analiza recepcji twórczości Sienkiewicza w Rosji opiera się na wielu ciekawych sądach i jest dowodem tego, że zdanie krytyki lub znanych pisarzy nie zawsze jest miarodajne przy przyjmowaniu dzieł literackich przez szersze kręgi czytelników.

Zasługą tej książki jest, że zwraca ona uwagę na liczne podobieństwa i rozbieżności literatury rosyjskiej i polskiej w w. XIX. Rozpatrywany przez Białokozowicza obszerny materiał faktograficzny oraz znajdująca się w pracy cenna bibliografia ułatwi opracowanie tematu o charakterze syntetyzującym, a nawet może dać pozytywne wskazówki metodologiczne badaczom związków i podobieństw między innymi literaturami.

I. MOLNÁR

Художественное восприятие

Сборник 1. Под редакцией Б. С. Мейлаха

Ленинград 1971. Наука. 378 стр.

Die marxistische Ästhetik ist in eine schnellere Etappe ihrer Entwicklung getreten. Außer der Geltendmachung der Grundprinzipien, läßt sie immer mehr ihre Erkenntnisse auch in kleineren fachwissenschaftlichen Fragen mit den Ergebnissen der bürgerlichen ästhetischen Forschung übereinstimmen. Ein würdiger Beweis für diese riesengroße und sehr zeitgemäße Arbeit ist der erste Band der von der Sowjetischen Akademie der Wissenschaften herausgegebenen Serie über die Charakteristika des Kunstwerkes und den Kunstgenuß. Die in der Redaktion von B. S. Mejlach erschienene Sammlung enthält, neben den allgemeineren theoretischen Fragen, Schriften über die einzelnen Probleme der Literatur, der Filmkunst, der bildenden Kunst, der Musik und der Theaterkunst.

Ihre grundlegende Zielsetzung ist, die Merkmale der einzelnen Phasen und Beziehungen der Rezeption mit Hilfe neuer Aspekte, neuer Zweige der Wissenschaft genauer, besser analysierbar und meßbar zu machen. Das bedeutet nicht nur die Veränderung der Benennungen und Kategorien, sondern es werden auch neue Elemente und Gesichtspunkte in der Entfaltung der Beziehung zwischen Kunstwerk und Kunstgenießer sichtbar. Sie bewahrt aber größtenteils auch die Elemente der konventionellen Begriffe. An dem Band haben bedeutende Autoritäten mitgewirkt (B. S. Mejlach, L. N. Kogan, W. I. Wolkow, L. S. Saljamon und andere), aber das Niveau der Schriften ist nicht gleich, unter ihnen gibt es bessere und weniger gelungene.

Das höchste Niveau vertreten die Artikel, in denen es um allgemeine Fragen geht, denn sie bezeichnen das Maß in der Entwicklung des sowjetischen fachwissenschaftlichen Denkens auf den betreffenden Gebieten. L. N. Kogan befaßt sich mit den Möglichkeiten und bisherigen Resultaten

der Forschungen unter soziologischen Gesichtspunkten. Aus der Typisierung und Kategorisierung der Künstler, Werke und Zuschauer (Kunstpfeilenden) ergeben sich interessante Folgerungen angesichts der allgemeinmenschlichen und konkreten gesellschaftlichen Funktionen des Kunstwerkes und deren historischen Modifikationen. W. I. Wolkow wirft eine heutzutage immer mehr im Brennpunkt der Diskussionen stehende Frage auf: Die Wertlehre (Axiologie). Er analysiert die soziale Rolle des Kunstwerkes als einer Gesamtheit, seinen gesellschaftlichen Wert. L. S. Saljamon versucht eine sehr exakte Indexziffer suchend, die einzelnen Phasen der Rezeption zu unterscheiden. Er geht von den psychologischen Gegebenheiten und Funktionen des Menschen aus, und durch die Entsprechung zwischen Struktur und Funktion scheidet er die ästhetischen, gnoseologischen, wertenden und Erlebniskomponente voneinander. Er sieht den Grund für die Entstehung des Erlebnisses in der Leistungsfähigkeit der Sinnesorgane und in der Geschwindigkeit der Informationsaufnahme, die zugleich auch den Grund und das Geheimnis der Intensität des Erlebnisses bilden. Der Autor arbeitet aber mit dem nötigen Maß, er hält sich stets vor Augen, daß das künstlerische Erlebnis zum Bereich einer anderen Bewegungsform gehört, als die psychologischen Werte, so daß er sich nicht zur bloßen Zurückführung entschließt. B. M. Runin schreibt über die Anwendbarkeit der Informationstheorie. Er hat recht wenn sagt, daß die Begriffe und Mittel zur Untersuchung und Messung der Information nur als initiale Absichten in der Aufdeckung des Mechanismus des Kunstwerkes anzuwenden seien. Nach unseren gegenwärtigen Kenntnissen können wir den Inhalt der Information, ihre kommunikative Bedeutung und ihre Bedeutung selbst noch nicht genau messen. Die Verfahren, die man zur Bestimmung der Quantität der ästhetischen Information verwendet sind gut und geschickt, aber die allgemeine, menschliche Schätzung gibt momentan noch reichere und genauere Auskünfte darüber. Der Autor äußert sich über die zukünftige Rolle der Informationstheorie auf dem Gebiet der Ästhetik sehr vorsichtig und nicht zu optimistisch, er sieht eher für diese Theorie eine allgemeinere Kommunikationsforschung, größere Anwendbarkeit.

L. I. Beljajewa gruppiert die Kriterien und motivierende Faktoren des Lesens und des wertenden Verhaltens unter soziologischen Gesichtspunkten die gesellschaftliche Verteilung der Leser und ihre Schichtung in Betracht ziehend.

Es ist bedauernd, daß die Studie eher die Methoden und den Verlauf der Untersuchungen bekanntmacht und sich nicht entschließt, deren Resultate zu analysieren. Dadurch ist sie mit ihrem deskriptiven Charakter weniger wert, man kann aber darin die aufgewandte Arbeit ohne Vorbehalte achten. Mit einzelnen Untergruppen der Kunst und ihren spezifischen Fragen befaßt sich die Mehrheit der Schriften, die in erster Linie auf den Empfänger, als Individuum und den Vertreter einer Gesellschaft konzentriert ist. In diesen Schriften werden die differenzierenden Faktoren gesucht (und das ist auch eine kulturpolitische Aufgabe), aber ihre Feststellungen bleiben oft oberflächlich. In ihnen wird z. B. verkündet, das Problem sei vielseitig und kompliziert und das Kunstschaffen und der Kunstgenuß seien ein dynamischer Prozeß usw.

Der Band löst aktuelle moderne fachwissenschaftliche Aufgaben, besonders in dem allgemeinen Teil und er wird die künftigen Folgen der Serie dieser Thematik bereichern und ihr Niveau erhöhen, so kann dieses Unternehmen der auf Einzelfragen eingehenden Entwicklung des marxistischen ästhetischen Denkens große Hilfe leisten, vor allem in dieser Hinsicht ist der schon erschienene erste Band besonders wertvoll und interessant.

L. JAGUSZTIN

Ю. М. Лотман: Анализ стихотворного текста
Ленинград 1972, Просвещение 230 стр.

Der dichterische Text stellt ein System viele Funktionen erfüllender komplizierter und schichtenweise aufgebauter Strukturen dar; zu seiner Bearbeitung und Analyse ist ein entsprechendes System von Gesichtspunkten nötig. Bei der Wahl der entsprechenden und zweckmäßigen Aspekte bietet

das neue Buch von Lotman, einer hervorragenden Gestalt der modernen sowjetischen Ästhetik eine recht gute Unterstützung.

Das größte Verdienst des Buches liegt in seinem praktischen Charakter. Die Gedankenschwerpunkte mehr theoretischen Charakters im ersten Teil, werden im zweiten Teil durch eine Beispielsammlung sowie die Analysen, die auf konkreten Gesichtspunkten beruhen, erleuchtet. Im Buch werden schon fertige Untersuchungsergebnisse und Möglichkeiten dargestellt und mit maßvollen Methoden die Nützlichkeit und Anwendbarkeit der erschlossenen Gedanken bewiesen.

Das Grundziel der Studie: die einzelnen Arten der Analyse voneinander abzuheben, bzw. diese Zielsetzung bietet nur einen bestimmten Teil dieser großartigen Arbeit, nämlich die strukturelle Analyse. Das künstlerische Werk wirkt sehr vielseitig auf den Empfänger und dementsprechend wird jede Wirkungsmöglichkeit als eine von anderen abgesonderte Funktion erscheinen. Die Anzahl dieser Systeme ist der Epoche, der Richtung, dem Autor und dem Text gemäß unterschiedlich, und ihre synthetische Wirkung ist nur durch gründliche Analyse zu erschließen, wobei man eine ganze Reihe von ergänzenden Wissenschaften in Anspruch nimmt. Die strukturelle Analyse versucht die Texte nach Möglichkeit *in sich selbst*, als geordnete Einheit der Teilsysteme zu behandeln. Das dichterische Werk wird also als eine beschränkte Reihe von Strukturen betrachtet, und die Gesetze und Charakterzüge, die es zustande gebracht haben werden herausgesucht und gezeigt. Dazu benutzt der Autor die allgemeinen *Begriffe des Ordnungssystems*, sowie die mit den sprachlichen Systemen in Verbindung stehenden Eigentümlichkeiten. Die wichtigsten Ausgangselemente sind folgendermaßen zusammenzufassen:

1. Das Kunstwerk wird durch diese zweckbestimmte Analyse der auf den Empfänger ausgeübten Wirkung getrennt, und als selbständiges, unabhängiges System betrachtet, natürlich mit Kenntnis, daß im Falle einer Analyse mit anderem Ziel das Werk ein Teil eines größeren Systems ist.

2. Das Werk ist als ein organisiertes Ganzes zu erforschen, das heißt es besteht aus entsprechenden Teilen, und die Teile stehen innerhalb einer gegebenen Struktur in Wechselwirkung, und das ist wichtiger, als ihr selbständiges, isoliertes Wesen.

3. Die Teile schaffen hierarchisch aufeinanderbauende Teil-Systeme, die auch nach Stufen einzeln zu prüfen sind und meistens mit den sprachlichen Gliederungssystemen übereinstimmen.

4. Das Ganze entwickelt sich durch mehrere Stufen zu einer „einheitlichen“ Struktur, daneben sind die allgemeinen Organisationsprinzipien auch wichtig, sogar unabhängig von Material: die homogene Reihe der Elemente, die Möglichkeiten der Wiederholung, die Anfangs- oder Endpositionen, die Schnittpunkte der Organisationsebenen usw.

Die Studie beschäftigt sich nur mit den häufigsten Momenten der dichterischen Texte, und sie beachtet in erster Linie deren Charakterzüge. Die Studie unterscheidet sie genetisch und strukturell von der prosaischen Mitteilungsform, dann untersucht sie, der Reihe nach, die Erfordernisse des Gedichts, des lyrischen Werkes: den Rhythmus, das Versmaß, den Reim, die Verszeile und -strophe, das Werk als ein fertiges Ganzes. In der Studie wird auch ein anderer Aspekt des Entstehungsprozesses eines Werkes untersucht; wie entstehen aus Wörtern, Wendungen Sätze und was für größere Kommunikationseinheiten bilden sie. In wie weit ist das Werk als Mitteilung einheitlich, oder in wie weit ist es abwechslungsreich; das heißt wie ist seine kommunikative Struktur, wer spricht, mit wem; wo, wann und wie. Jedem Themenkreis wird ein selbständiges Kapitel gewidmet, in dem der Verfasser mit reiner Gedankenführung versucht, die wichtigsten Fakten mitzuteilen. Hinter fast jedem Absatz versteckt sich eine ganze Reihe von Untersuchungen und Experimenten, und die nur hingeworfenen Bemerkungen des Autors gelten oft als Ausgangsthesen.

Im zweiten Teil demonstriert Lotman immer an hand des klassischen russischen literarischen Materials aus dem 18—19. Jh. auf Grund einiger Gedichte von Puschkine, Lermontow, Tjutschew, Blok, Majakowski die Geltung eines Aspekts der Analyse. Damit will der Autor unterstreichen, daß es in jedem Werk besser wirkende Faktoren der Organisiertheit und weniger wichtige gibt. Meistens herrschen diejenigen Faktoren vor, die der Künstler bewußt und bevorzugt zur Geltung kommen läßt; die anderen dagegen nur bedienen und vervollständigen jene.

Lotman hat dieses Buch in erster Linie als Hilfsmittel für die Universität gedacht. Er behandelt die Probleme in praktischer und vereinfachter Form, aus seinen Gedanken sind sehr viele, nützliche fachwissenschaftliche Schlußfolgerungen zu ziehen. Das Werk bietet mehr, als die Einführung dem Leser versprochen hat, und es ist deshalb eine würdige Fortsetzung der früheren Werke von Lotman.

Іван Панькевич: Матеріали до історії мови південнокарпатських українців

Прешов 1970. (Annales Musei Kulturae Ukrainiensae Svidnik) [Tomus] 4. [Pars] 2. 221 S. 16 Abbildungen im Text. Mit englischer und deutscher Zusammenfassung. Herausgegeben von: Куримський Андрій.

Über Paňkevyčs Buch eine Buchbesprechung zu schreiben ist eine undankbare Aufgabe, da das Werk, das der Verfasser persönlich nicht mehr redigieren konnte, einerseits postum erschien, andererseits viele Tugenden sowie Fehler besitzt, und diese Widersprüchlichkeit erschwert die Arbeit der Rezensentin.

Paňkevyč war im wahrsten Sinne des Wortes Linguist, vor allem Sprachhistoriker und Mundartforscher. In seinem Buch veröffentlicht er heterogene Sprachdenkmäler zu der Sprachgeschichte der Ukrainer aus der Südkarpaten-Ukraine.

Unter dem Material befinden sich handschriftliche Bücher, die handschriftlichen Marginalien und Possessorverzeichnisse der aus der Ukraine und aus Rußland nach Ungarn und in die Karpaten-Ukraine importierten gedruckten Bücher, kirchliche und profane Urkunden, standesamtliche Aufzeichnungen sowie Ikonen und Gebäudeinschriften. Die Sprachdenkmäler hat der Autor nach dem Fundort, nach den Landschaften (Slowakei, Karpaten-Ukraine, Ungarn, Rumänien) sowie nach der alphabetischen Ordnung der Siedlungsnamen gruppiert. Die Namen der Siedlungen werden ukrainisch und slowakisch angegeben. Da die meisten dieser Sprachdenkmäler aus dem 17/18. Jahrhundert stammen und der größte Teil ihrer Fundorte damals zu Ungarn gehörte, und da es sich außerdem um ein historisches Werk handelt, wäre es nützlich und notwendig gewesen, die Siedlungen auch ungarisch zu bezeichnen.

Paňkevyč erwähnt kurz, daß gedruckte Bücher (vor allem liturgische Bücher, Reden und Disputationsliteratur) aus der Ukraine und aus Rußland regelmäßig in die Karpaten-Ukraine importiert wurden (S. 14.—16.). Die historischen, kirchengeschichtlichen und jene Bezüge, die mit der Geschichte des Buchdruckes zusammenhängen, bleiben aber unerwähnt. Dieses Thema hat eine große Literatur, in der ungarischen Fachliteratur hat diesen Fragen-Komplex mit einer gründlichen Übersicht und anspruchsvoll Antal Hodinka aufgeworfen.² Bei Paňkevyč finden wir nicht einmal einen kurzen Hinweis darauf, warum dieser Bücherimport notwendig war? Wenn auch ganz oberflächlich hätte er jedoch die kirchliche Union, den Bedarf an kirchenslawischen liturgischen Büchern der karpatukrainischen Parochien, die ungarischen Buchdruckversuche in kyrillischen Buchstaben und auch ihre Mißerfolge erwähnen müssen.

Auf den Seiten 22—23. deutet der Verfasser auf die Abstammung des Priestertums des Bistums von Eperjes (Prešov), auf den Seiten 27—29. auf das Kloster der Basilianer in Máriapócs hin. In dem Teil, in dem die Sprachdenkmäler behandelt werden, sind der Reihe nach die Possessorenverzeich-

¹ Auf das Buch machte mich László Dezső aufmerksam, der es mir lieb und dem ich diesen Gefallen danke. Aus technischen Gründen habe ich außer dem Titel des Buches alle Texte von kyrillischen Buchstaben in lateinische Buchstaben transkribiert.

² Hodinka A.: *A munkácsi görög-katholikus püspökség története*. Budapest, 1909, S. 787—814. sowie ebd. Muszka könyvtárosok hazánkban 1711—1771. *Klebelsberg Emlékkönyv*, Budapest, 1925, S. 427—436.

nisse³ der Bücher sammelnden Bischöfe aus Munkács (Munkačevo) aufgeführt. Es gibt aber keinen einzigen Hinweis auf die Gründung des Klosters von Máriapócs und auf die Dismembration des Bistums von Eperjes aus Munkács.⁴

Der andere große Fehler in Paňkevčs Werk liegt darin, daß er kühne Hypothesen auf Grund von sehr belanglosen Quellen, die gleich Null sind, aufstellt. Auf Seite 25. wagt er z. B. die Annahme auf Grund von fünf handschriftlichen Marginalien, daß es im 15/16. Jahrhundert in der Umgebung von Eperjes „Bratsvos“ (Kirchenbrüderschaften) gab. Die Heimat der Bratsvos ist die Ukraine, Weisrußland und Litauen. Heftig wurde über ihre Herkunft debattiert; ihre Rolle in der Kultur- und Kirchengeschichte sowie in der Geschichte des Buchdruckes im 16/18. Jahrhundert ist bekannt; durch die vielfältigen Forschungen gewinnen sie immer mehr an Bedeutung. Wenn wir einige Lexikonartikel über die Bratsvos⁵ nachschlagen, stellt sich aus den Angaben heraus, daß ihre Organisation, ihre Tätigkeit, ihre Rechtsstellung das Ergebnis eines langen geschichtlichen Prozesses ist. Regelmäßige Versammlungen (gewöhnliche und feierliche), die Wahl der Obersten, die Schaffung der finanziellen Basis aus Spenden, aus Bußgeld, das Recht zum Aufrechterhalten von Sondergerichten, die Gründung von Schulen und Druckereien, die Veröffentlichung von Flugblättern die Kontrolle der Meßpriester, der sogenannte stauropogianer Charakter (z. B. Lwów, Wilna) — kann man auf Grund von fünf handschriftlichen Marginalien auf eine solche Institution schließen? Diese Frage kann jetzt verneint werden, obwohl es unbestreitbar ist, daß die von Paňkevč gelieferten Angaben und andere Quellen darauf schließen lassen, daß die Gläubigen den Parochien Bücher schenkten, und einige Laien in den Kirchengemeinden wichtige Ämter bekleideten.

Von den Fehlern und Mängeln der deskriptiven Kapitel werden nur einige hervorgehoben: 1. Obwohl Paňkevčs Buch keine Bibliographie ist, wäre das konsequente Anführen gewisser bibliographischer Angaben notwendig gewesen. Das sind die Benennung der Druckereien, die Pagination der Bücher, die Titeldefinition der Bücher ohne Titelblatt (z. B. S. 75., S. 123.) auf Grund von inhaltlicher Analyse, das Registrieren der Bücher nicht mit Titeln, sondern mit Verfassernamen (z. B. S. 107: Ioannikij Galiatowskijs Buch), die Benennung der Autoren der pseudoanonymen Werke,⁷ die konsequente Aufführung des fehlenden Titelblattes — dies wird einmal angegeben einmal nicht. 2. Die Entstehungsmethode handschriftlicher Bücher ist auch nicht geklärt. Wurden nur die Schriftarten und die Daten in den Manuskripten oder auch andere Faktoren in Betracht

³ Auf Seite 99. Trebniks Aufzeichnungen von Mánuel Olsavszky, auf Seite 111. von Tarasovič Basilios.

⁴ Nur zur Nachlese aus der Primärliteratur: Bidermann H. I.: *Die ungarischen Ruthenen*. Innsbruck, 1862, S. 99—100. Über die religiöse Zugehörigkeit der Ruthenen, mit einer statistischen Tabelle; Pelesz J.: *Geschichte der Union der ruthenischen Kirche mit Rom*. Würzburg—Wien, 1881, Band 2., S. 353.—359., S. 1031—1045. Nilles N. (Soc. Jesu): *Symbolae ad illustrandam historiam ecclesiae orientalis in terris coronae S. Stephani*. Oeniponte, 2. Bd., S. 822—914., ebd.: *Kalendarium manuale utriusque ecclesiae*. Oeniponte, 1886—1897 1. Bd. S. 498; Die Dismembration des Bistums von Eperjes wurde 1818 von Papst Pius VII. durch seine Bulle „Relata semper“ bestätigt. Siehe: Buchberger M.: *Lexikon für Theologie und Kirche*. Freiburg im Bressgau, 1931, 3. Bd. Spalte 707; Über die Union und über die zwei Bistümer vgl.: Wetzer H. J.—Welte B.: *Kirchen-Lexikon*. Freiburg im Bressgau, 1954, Bd. 2. S. 425—426. Stichwort „Unirte Griechen“.

⁵ *Polnyj pravoslavnyj bogoslavskij enciklopedičeskij slovar'*. London, 1971. (Variorum Reprints) Tom 1. 407. Spalte; *Bol'saja enciklopedija* (red. S. N. Južakov) Sanktpeterburg, 1896, Tom III. S. 647—649; *Enciklopedičeskij slovar* (F. A. Brokgauza i I. A. Efrona). Sanktpeterburg, 1903. Tom. XXXVIII. S. 95—99.

⁶ Mikitas' V.: *Davni rukopisi i starodruki*. Opis i katalog. Užgorod—L'viv, 1961—1964.

⁷ Der Verfasser des auf Seite 139. erwähnten „Alfavit Duhovnyj“ ist St. Dmitrij, Rostovs Metropolit, unter dem weltlichen Namen Tuptalo Daniil Savvyč, Siehe: Bolhovitinov E.: *Slovar' istoričeskij*. . . Sanktpeterburg, 1827, 1. Tom. S. 116.—125.

gezogen? (Wasserzeichen?) 3. Auf Grund eines Beispiels kann festgestellt werden, daß nicht einmal bei den Marginalien und Possessorverzeichnissen, d. h. bei den eigentlichen Sprachdenkmälern konsequent methodisch vorging, er „wählte“ aus dem Stoff, was in seine Konzeption hineinpaßte und das wurde veröffentlicht. Was nicht hineinpaßte: das blieb aus.

Auf Seite 153. wird Ioann Maksimovičs Werk betitelt „Featron“ (Černigov, 1708) erörtert, dessen einziges Exemplar das Kloster der Basilianer Máriapócs besitzt.

Vier handschriftliche Aufzeichnungen werden von den nummerierten Blättern 1., 229., 231. und von der Einbanddecke dargestellt. Die Debrecener Universitätsbibliothek besitzt gegenwärtig das Buch unter der Nummer: 720. 714. Erst dann, wenn man das Buch Seite für Seite untersucht, kommt zutage, daß es noch zwanzig verschiedene slawische und lateinische sowie ungarische Aufzeichnungen, unter anderem Gedichte, Glossen und Possessorverzeichnisse enthält.⁸ So könnten noch die Beispiele aufgezählt werden, aber es ist meiner Ansicht nach nicht nötig, weil wir auch auf diese Weise in die Arbeitsmethode von Paňkevč Einsicht bekommen.

A. Kurimskij, der das Buch zum Druck vorbereitet hat, verrichtete eine schwere, genaue philologische Arbeit, seine Anmerkungen und das Nachwort erhöhen das Niveau und den Gebrauch des Buches.

Die Verfasserin dieser Rezension ist keine Linguistin, sie konnte die Bewertung der Sprachdenkmäler nicht als ihre Aufgabe betrachten, diese Bemerkungen machte sie vom Standpunkt der Grenzwissenschaften aus.

E: OTOZI

⁸ Ausführlich komme ich noch darauf in meiner Arbeit, an der ich jetzt schreibe, zurück.

INDEX

Л. Дэже: Синтаксис сложного предложения урбариальных записей XVIII в.	5
З. Немет: Редуцированные гласные и дифтонги в ньередьхазском (тирпацко-словацком) диалекте	21
Gy. SZEGŐ: A Possible Relation between Old Germanic and Old Russian Folkloric Verse Metres	27
Э. Каман: Роль фольклора в преподавании русского языка как иностранного	53
П. Мішлеї: Роль Кисво-Могілянської колегії в оновленні російської літератури кінця XVII ст.	59
Н. Кирай: Культура польского Просвещения в историографии XVIII в.	75
L. LIEBER: Die künstlerische Wahrheit in Lev Tolstoj's Trilogie „Kindheit“ „Knabenjahre“ „Jugend“	101
Ян Орловский: Ференц Лист в письмах А. К. Толстого	121
L. JAGUSZTIN: „Arbeit“ und „Kollektiv“ im sowjetischen Kurzroman	125
Н. Шлитская-Яношка: Ритмико-метрическая структура стихотворения Я. Смелякова: «Если я заболею»	139

Critica et Bibliographia

Ф. П. Филин: Происхождение русского, украинского и белорусского языков (<i>P. Lieli</i>)	147
Liří JIRÁČEK: Интернациональные суффиксы существительных в современном русском языке (<i>I. Molnár</i>)	149
BAZYLI BIAŁOKOZOWICZ: Z dziejów wzajemnych polsko-rosyjskich związków literackich w XIX wieku (<i>I. Molnár</i>)	151
«Художественное восприятие» (ред. Б. С. Мейлаха) (<i>L. Jagusztin</i>)	155
Ю. М. Лотман: Анализ стихотворного текста (<i>L. Jagusztin</i>)	156
Іван Панькевич: Матеріали до історії мови південнокарпатських українців (<i>E. Ojtozi</i>)	158

СОДЕРЖАНИЕ

Л. Дэже: Синтаксис сложного предложения урбариальных записей XVIII в.	5
З. Немет: Редуцированные гласные и дифтонги в ньередьхазском (тирпацко-словацком) диалекте	21
Д. Сегё: Возможная связь между древнегерманскими и древнерусскими фольклорными стихотворными размерами	27
Э. Каман: Роль фольклора в преподавании русского языка как иностранного	53
П. Мишлеи: Роль Киево-Могилянской коллегии в обновлении русской литературы конца XVII в.	59
Н. Д. Кирай: Культура польского просвещения в историографии XVIII в.	75
Л. Либер: Художественная правда в трилогии Льва Толстого: «Детство» «Отрочество» «Юность»	101
Ян Орловский: Ференц Лист в письмах А. К. Толстого	121
Л. Ягустин: «Труд» и «коллектив» в советской повести	125
Н. Шлитская-Яношка: Ритмико-метрическая структура стихотворения Я. Смелякова: «Если я заболею»	139

Критика—библиография

Ф. П. Филин: Происхождение русского, украинского и белорусского языков (<i>P. Lieli</i>)	147
Љиђи Љираќек: Интернациональные суффиксы существительных в современном русском языке (<i>I. Molnár</i>)	149
BAZYLI WIAŁOKOZOWICZ: Z dziejów wzajemnych polsko-rosyjskich związków literackich w XIX wieku (<i>I. Molnár</i>)	151
«Художественное восприятие» (ред. Б. С. Мейлаха) (<i>L. Jagusztin</i>)	155
Ю. М. Лотман: Анализ стихотворного текста (<i>L. Jagusztin</i>)	156
Іван Панькевич: Матеріали до історії мови південнокарпатських українців (<i>E. Ojtozi</i>)	158

TABLES DES MATIÈRES

L. DEZSÓ: La syntaxe des phrases complexes dans les documents municipaux du XVIII ^e siècle	5
Z. NÉMETH: Diphtongues et voyelles réduites dans le dialecte tirpaco-slovaque de Nyiregyháza	21
GY. SZEGŐ: Rapport éventuel entre les formes métriques dans la poésie populaire en vieux russe et en langue germanique ancienne	27
E. KÁMÁN: Le rôle du folklore dans l'enseignement du russe à des étrangers	53
P. MISLEY: Le Collège Mohyla de Kiev et le renouvellement de la littérature russe à la fin du XVIII ^e siècle	59
N. KIRÁLY: La culture des Lumières en Pologne dans l'historiographie du XVIII ^e siècle	75
L. LIEBER: La vérité de l'art dans la trilogie de Lev Tolstoï: Enfance, Adolescence, Jeunesse	101
J. ORLOWSKI: François Liszt dans la correspondance de A. K. Tolstoï	121
L. JAGUSZTIN: Travail et communauté dans des romans soviétiques	125
N. CHLITSKAÏA-JÁNOSKA: Structure métrique et rythmique d'un poème de Ya. Smeliakov: Quand je tombe malade.	139

Critique et comptes rendus

Ф. П. Филин: Происхождение русского, украинского и белорусского языков (<i>P. Lieli</i>)	147
Jiří JIRÁČEK: Интернациональные суффиксы существительных в современном русском языке (<i>I. Molnár</i>)	149
BAZYLI BIAŁOKOZOWICZ: Z dziejów wzajemnych polsko-rosyjskich związków literackich w XIX wieku (<i>I. Molnár</i>)	151
«Художественное восприятие» (ред. Б. С. Мейлаха) (<i>L. Jagusztin</i>)	155
Ю. М. Лотман: Анализ стихотворного текста (<i>L. Jagusztin</i>)	156
Іван Панькевич: Матеріали до історії мови південнокарпатських українців (<i>E. Ojtozi</i>)	158

Kossuth Lajos Tudományegyetem
Felelős kiadó: *Dr. Bognár Rezső*
Felelős szerkesztő: *Iglói Endre*
Technikai szerkesztő: *Lieber László*
A kézirat a nyomdába érkezett 1974
Megjelent: 1974

Készült monoszédéssel ives magasnyomással,
az MSZ 5601—50 és az MSZ 5602—55 szabvány szerint
Példányszám: 700. Terjedelem: 14,7 A/5 iv
74.2532.66-11-2 Alföldi Nyomda, Debrecen

NOS
COLLABORATEURS

N.CHLITSKAĀA-JÁNOSKA
(v. Slavica XII.)

LÁSZLÓ DEZSŐ
maître de conférences
titulaire de la Chaire de linguistique générale
Hongrie, 4010 Debrecen

LÁSZLÓ JAGUSZTIN
(v. Slavica XI.)

ERZSÉBET KÁMÁN
maître de conférences à la Chaire
de philologie russe à l'Université de L. Eötvös
(Hongrie, Budapest V., Pesti Barnabás u. 1.)

NINA D.-KIRÁLY
(v. Slavica VIII.)

LÁSZLÓ LIEBER
assistant à la Chaire de littérature russe
(Hongrie, 4010 Debrecen)

PÁL LIELI
assistant à la Chaire de langue russe
(Hongrie, 4010 Debrecen)

PÁL MISLEY
(v. Slavica XI.)

ISTVÁN MOLNÁR
assistant à la Chaire de littérature russe
(Hongrie, 4010 Debrecen)

ZOLTÁN NÉMETH
professeur adjoint de l'École supérieure
à la Chaire de philologie russe
(Hongrie, Nyiregyháza)

ESZTER OJTOZI
(v. Slavica XII.)

JAN ORŁOWSKI
(v. Slavica XI.)

GYÖRGY SZEGŐ
professeur de lycée
(R.S.R, Cluj, rue Républitz 46)